Б. БУХШТАБ

Н. А. НЕКРАСОВ

Б. БУХШТАБ • Н. А. НЕКРАСОВ



Н. А. Некрасов
Фотография С. Л. Левицкого
Начало 1870-х годов

Б. БУХШТАБ

Н. А. НЕКРАСОВ

ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА



Советский писатель
Ленинградское отделение
1989

ББК 83.3Р I
Б94

Художник Александр Савинов

Бухштаб Б.

Б94 Н. А. Некрасов. Статьи и исследования.— Л.; Сов. писатель, 1989.— 352 с.
ISBN—5—265—00244—8

Книга известного исследователя русской поэзии XIX века Б. Я. Бухштаба является итогом более чем полувекового изучения им творчества Н. А. Некрасова. Его работы о лирике, эпосе и сатире поэта опираются на документальные материалы — архивные источники, письма, воспоминания, прижизненные издания.

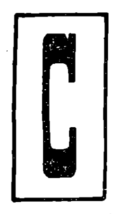
Написанная доступно и ясно, с редкостной увлеченностью, книга интересна не только специалистам, но и широкому кругу любителей русской поэзии.

Б $\frac{4603010101-444}{083(02)-89}$ 465—88 **ББК 83.3РI**

ISBN—5—265—00244—8

НЕКРАСОВ И ПЕТЕРБУРГСКИЕ ФИЛАНТРОПЫ

(К истории стихотворения «Филантроп»)



тихотворение «Филантроп» не привлекало до сих пор специального внимания исследователей Некрасова. Между тем оно имеет большое, можно сказать этапное значение в идейно-художественной эволюции Некрасова. Цель предлагаемой статьи — доказать это и определить основную направленность и идейный смысл стихотворения. «Филантроп» написан в 1853 году, в самую глухую пору николаевского царствования, в эпоху максимального цензурного гнета и полицейского террора. В эту эпоху сатирическая струя в творчестве Некрасова как будто совсем заглохла. Не будем уж говорить о том, что Некрасов за восемь лет — с 1848 по 1855 год — не опубликовал ни одного сатирического стихотворения; это не требует объяснений. Но он почти и не писал сатирических произведений в это время.

Припомним, какое количество зрелых и значительных сатир было создано Некрасовым за четыре года, предшествовавших «эпохе цензурного террора». С 1844 по 1847 год Некрасов написал стихотворения «Чиновник», «Новости», «Послание к другу (из-за границы)», «Колыбельная песня», «Современная ода», «Отрадно видеть, что находит...», «Женщина, каких много», «Псовая охота», «Нравственный человек». И вот за этими четырьмя годами следуют четыре года, в которые Некрасов, угнетенный и подавленный реакцией, совсем отходит от сатирического творчества.

Но следует подчеркнуть, что в последние три-четыре года «лихого семилетия» Некрасов переживает новый идейно-творческий подъем, укрепляется в сознании своего особого пути («Муза», «Блажен незлобливый поэт...») и возвращается к сатире. В 1852 году Некрасов пишет большое сатирическое стихотворение «Пре-

красная партия», а в 1853 году создает две сатиры — «Филантроп» и «Отрывки из путевых записок графа Гаранского», свидетельствующие о том, что он не только не свернул с пути, по которому шел в эпоху Белинского, но и сделал дальнейшие шаги на этом пути, вступил в новую фазу развития своего мировоззрения.

1

В центре стихотворения «Филантроп» — образ «благотворителя», титулованного, сановного, придворного и в то же время «славного любовию к добру», гуманизмом, сочувствием к бедным людям. Стихотворение разоблачает демократичного аристократа. Этот филантроп, наверное, ласков с теми бедняками, которые выказывают ему чувства почтительной и умиленной благодарности; но одно лишь подозрение, что проситель посмел явиться к нему в нетрезвом виде, как рукой снимает всю его прославленную кротость и уподобляет его любому «значительному лицу»: страшно затопав ногами, он приказывает «двум огромным гайдукам» выпроводить из дому вульгарного посетителя, оскорбившего в нем высокое чувство христианской любви к ближнему.

Ряд мотивов усиливает разоблачительную действенность этого сюжета.

Прежде всего — посетитель вовсе не пьян.

Он не мог ничего объяснить, а потом зарыдал от нахлынувших чувств, от жалости к себе, от смущения перед прославленным благотворителем, от сознания значительности этой встречи с человеком, образ которого долго укреплял его нравственные силы и врачевал раны его души.

При этом позорно изгнанным, жестоко оскорбленным оказался именно такой человек, который особенно заслуживал поддержки и помощи,— человек безукоризненной честности, моральной чистоты и стойкости. Провинциальный чиновник на «доходном месте», он «даже с правого не брал», мужественно перенося бедность. Он поступал так по органическому отвращению к пороку, к бесчестности,— отнюдь не под влиянием каких-либо «вредных идей»; он недостаточно развит для того, чтобы подвергнуться их воздействию; принцип своего поведения он формулирует словами, далекими от прогрессивных взглядов: «знал, что значит бог и царь». Нежелание участвовать в круговой поруке взяточни-

ков вызвало неприязнь к нему; в его работе выискивали «упущения», «подвели» и выгнали со службы. Но — полунищий, попрекаемый женой, слыша голодный плач своих детей,— он твердо переносит беду, «каждый день встает ранехонько, достает насущный хлеб». «Голод, холод, одиночество» не могут его сломить.

Острота сюжета стихотворения — в том, что именно прием у «благотворителя» приводит к трагической развязке. Маленький человек, которого не сломили десять лет тяжелой нужды, обид и горя, теперь морально раздавлен. В нем убита вера в человека, в добро и правду. Он называет былую честность «глупою», глумится над своим «бескорыстьем благородным», стыдится того, чем гордился всю жизнь: «Даже стыдно вспомнить старое».

Простосердечный бедняк гибнет. Заподозренный в пьянстве, он в самом деле становится горьким пьяницей. «Дальше нечего рассказывать». Все рушится.

Чувства словно как заржавели,
Одолела страсть к вину;
Дети пьяницу оставили,
Схоронил давно жену.

(I, 169) [1]

«Здесь и «Повесть о капитане Копейкине» (Копейкин у генерал-аншефа), здесь и «Шинель» (Акакий Акакиевич у «значительного лица»), и самая атмосфера происшествия гоголевская»,— справедливо замечает К. И. Чуковский.[2]

«Филантроп» — новелла вполне в духе «натуральной школы» — по типам, по сюжетным ситуациям, по трагикомическому тону. Характеризуя подход «натуральной школы» к жизни, Белинский в письме к К. Д. Кавелину от 7 декабря 1847 года намечает две контрастные сюжетные разработки повести о честном чиновнике: «Вот, например, честный секретарь уездного суда.

---

[1] В настоящей книге ссылки на стихотворные произведения Некрасова даются по изданию: Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений в 3-х т. Л. (Б-ка поэта, Б. с.) 1967. Том обозначается при этом римской цифрой, страница — арабской. Ссылки на прозаические произведения и письма Некрасова даются по изданию: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1948—1953. Том и страница обозначаются в этом случае арабской цифрой. Поскольку в цитатах из литературоведческих работ стихи Некрасова цитируются по разным изданиям, указания на том и страницы нами переведены на вышеуказанные издания.

[2] Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. М., 1971, с. 136.

Писатель риторической школы, изобразив его гражданские и юридические подвиги, кончит тем, что за его добродетель он получает большой чин и делается губернатором, а там и сенатором. Это цензура пропустит со всею охотою, какими бы негодяями ни был обставлен этот идеальный герой повести, ибо он один выкупает с лихвою наши общественные недостатки. Но писатель натуральной школы, для которого всего дороже истина, под конец повести представит, что героя опутали со всех сторон и запутали, засудили, отрешили с бесчестием от места, которое он *портил*, и пустили с семьею по миру, если не сослали в Сибирь, а общество наградило его за добродетель справедливости и неподкупности эпитетами беспокойного человека, ябедника, разбойника и пр. и пр.» (XII, 460).[1]

Некрасов (который не мог знать этого письма Белинского) дает именно такой сюжет, и даже выражения из письма Белинского — «пустили с семьею по миру», «беспокойный человек» — имеются в стихотворении:

И семейство пустишь по миру,
Беспокойный человек!

(I, 164)

Однако и в «натуральной школе» оценка изображаемых жизненных явлений не была единой. В «Бедных людях» Достоевского тоже есть сцена, в которой полураздавленный жизнью маленький человек прекрасной души предстает перед «его превосходительством» в самом жалком виде, и также не может сказать ни слова, и тоже вызывает подозрения в сановнике: «Как же?.. посмотрите, в каком он виде!.. как он!.. что он!..» Но конец тут иной. «Его превосходительство» дает Макару Девушкину сто рублей и на прощание подает ему руку. «...Взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял да потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу». И это рукопожатие вызывает безграничное умиление в бедняке: «...не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили! Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они дух мой воскресили, жизнь мне слаще

[1] Ссылки на сочинения и письма Белинского даются в тексте по Полн. собр. соч. В. Г. Белинского. М., 1953—1959, с указанием тома (римскими цифрами) и страницы (арабскими).

навеки сделали, и я твердо уверен, что я как ни грешен перед всевышним, но молитва о счастии и благополучии его превосходительства дойдет до престола его!..»[1]

Автор, видимо, сочувствует умилению своего героя, но для Белинского это умиление — едва ли не самое ужасное из всего, что Достоевский изобразил в своем романе. «...Всякое человеческое сердце судорожно и болезненно сожмется от этой — повторяем — *страшной*, глубоко патетической сцены... И сколько потрясающего душу действия заключается в выражении его благодарности, смешанной с чувством сознания своего падения и с чувством того самоунижения, которое бедность и ограниченность ума часто считают за добродетель!..» (IX, 561). Достоевскому Белинский говорил о Девушкине: «...он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть «их превосходительство», не его превосходительство, а «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, эта минута целования генеральской ручки,— да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия!»[2]

«В «Филантропе» рассказана история разрушения этого чувства умиления бедняка богатым благодетелем. Если «его превосходительство» «воскресил дух» Макара Девушкина, то «филантроп» угасил дух человека, пришедшего к нему с доверием и надеждой.

Стихотворение Некрасова написано от лица этого «просителя», в той же, характерной для «натуральной школы», манере «чиновничьего сказа», что и «Бедные люди». Эту манеру Некрасов усердно разрабатывал в первой половине 40-х годов и потом оставил.[3] В «Филантропе» он частично возвращается к ней.

Здесь нет былого характерного трехстопного ямба; он заменен четырехстопным хореем, но с прежним чередованием дактилических и мужских окончаний, иногда с составными, комическими рифмами: «Житомиру — по миру», «холопа ли — захлопали», «люди я — правосудия» (в варианте). Что в глазах современников сти-

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1972, т. 1, с. 93.

[2] Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произведений. М.— Л., 1929, т. 12, с. 32.

[3] Подробно об этом — в моей статье «Начальный период сатирической поэзии Некрасова (1840—1845)» («Некрасовский сборник». II. М.— Л., 1956).

хотворение ассоциировалось со стихами прежней манеры, показывает характерная ошибка М. Е. Салтыкова, который в письме к Г. З. Елисееву от 15 июля 1884 года цитирует «Филантропа» именно так, как если бы он был написан трехстопным ямбом, а не четырехстопным хореем:

Голодного от пьяного
Не могут отличить [1]

вместо

А голодного от пьяного
Не умеют отличить.

(I, 169).

Социальный облик и культурный уровень рассказчика обрисованы наивным сочетанием книжно-канцелярских оборотов с просторечными, например:

Все такие обстоятельства
И в мундиришке изъян
Привели его сиятельство
К заключенью, что я пьян.

(I, 168)

Имитируется устная речь, как бы непосредственно обращенная к слушателям («не взыщите!», «свидетель бог!»), с бытовыми эллипсами («подвели и упекли», «и в столицу поскорей», «не пустил — я в нумера», «а о деле — ни аза»), с характерными для чиновника канцеляризмами (например: «при отшествии к родителям») и со следами литературной фразеологии, соответствующей образованию и вкусам рассказчика («В треволненьях жизни сей»).

При этом книжные обороты даются иногда с легкими неправильностями, например:

Что в столице есть отменное
Благородное лицо...

(I, 166)

(вместо «отменно благородное») или:

О народном просвещении
Соревнуя, генерал
В популярном изложении
Восемь то́мов написал.

---

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч., М., 1977, т. 20, с. 55.

Продавал в большом количестве
Их дешевле пятака,
Вразумить об электричестве
В них стараясь мужика.

(I, 166)

(Глаголы «соревновать» и «вразумить» не сочетаются с предлогом «о». Можно вразумить кого-нибудь, можно соревновать кому-нибудь или с кем-нибудь, но соревновать или вразумить о чем-нибудь нельзя. Нельзя также сказать ни «написал в популярном изложении», ни, тем более, «восемь томов в популярном изложении»).

Книжно-канцелярские слова и обороты в этой речи овеяны ореолом особой почтительности рассказчика. Это достигается не только лексическими, но и ритмическими приемами. В стихе комически-торжественно звучат слова, сокращенно произносимые в быту и получающие иной артикуляционно-акустический облик благодаря стиховому ритму. Разным будет стиховое и бытовое произношение деепричастного оборота

В провиантскую комиссию
Поступивши, например...

(I, 164)

В быту слова первого стиха звучали бы «в провьянтскую комисью» и были бы произнесены в гораздо более быстром темпе, а вводное слово «например» сглатывалось бы, а не произносилось под рифму, с особой четкостью, с раскатом двух «р».

«Высокий» произносительный стиль, выражающий почтение рассказчика к сфере «письменности», как бы задан уже первым словом стихотворения:

Частию по глупой честности,
Частию по простоте...

(I, 164)

Здесь — художественное задание, а не автоматический результат стиховой ритмики; поэт мог ведь взять слово «частию» и в обычной форме — «частью» (имеется вариант 1-го стиха: «Частью по излишней честности» — I, 450).

Белинский, как мы видели, отмечал почтительное множественное число, в котором Макар Девушкин говорит о своем генерале. Так же говорит о «его сиятель-

стве» рассказчик у Некрасова: «Вот идут — остановилися», «Изумились, брови сдвинули»,

Экзекутора, холопа ли
Попрекнули, что пустил...

(I, 168)

Но здесь уже не наивная почтительность Макара Девушкина; здесь к изображению былого восторженного благоговения примешивается ирония над собственной наивностью, особенно явная в дальнейших строках:

Жаль, одним не осчастливили —
Сами не дали пинка.

(I, 168)

В финале же стихотворения это множественное число тяготеет к совсем иному значению. Резкий переход от единственного числа к множественному:

Точно: странный *человек!*
Верст на тысячу в окружности
Повестят свой добрый нрав...—

(I, 169)

не допускает возможности понять множественное число иначе как знак обобщенного смысла: «его сиятельство» объединяется со всеми, на кого должно быть распространено обличение,— и сильнее голоса бедняка, от лица которого велось повествование, звучит в этом финале голос самого поэта-сатирика.

2

Кто же эти лица, на которых направлено острие сатиры? В какой общественный круг метит Некрасов? Из сказанного выше естественно заключить, что это круг людей, высоко стоящих на общественной лестнице, готовых любить «младших братьев» и оказывать им материальную помощь, но под тем обязательным условием, чтобы «малые сии» не забывались и отвечали снизошедшим до них господам такой же благоговейной признательностью, с какою реагирует Макар Девушкин на рукопожатие генерала.

В литературе сделана попытка указать и конкретный круг «благотворителей», который непосредственно имел в виду Некрасов. К. И. Чуковский в комментариях к ряду изданий Некрасова указывает, что таким объек-

том являлась благотворительная организация «Общество посещения бедных».

«В 1846 г.,— пишет К. И. Чуковский,— по идее писателя В. А. Соллогуба, в петербургских великосветских кругах возникло благотворительное «Общество посещения бедных». Попечителем общества был герцог Лейхтенбергский, председателем — князь В. Ф. Одоевский, в числе членов были: наследник престола, будущий Александр II, граф Д. Н. Шереметьев, граф И. И. Воронцов-Дашков, князь М. Ю. Виельгорский и др. В обывательской журналистике того времени было принято восхвалять это общество в таком гиперболическом тоне: „Всюду является оно, чтобы поднять на ноги упавшего, отереть слезы плачущего и утешить страждущего“» («Заметки петербургского жителя».— «Библиотека для чтения», 1855, № 4, с. 110—127). «Филантроп» — явная насмешка и над этим обществом и над его председателем» (1, 545—546).

В доказательство последнего положения К. И. Чуковский приводит следующие аргументы:

1) «В одном из беловых автографов «Филантропа» есть следующая надпись Некрасова: «Члену Общества Посещения Бедных, Его Высокородию Мих⟨аил⟩у Ник⟨олаевичу⟩ Лонгинову отставного Коллежского Секретаря Пучина всенижайшее донесение о причинах, доведших означенного Пучина до крайней степени нищеты, бродяжничества и пьянства».

2) «В лице филантропа поэт отчасти изобразил В. Ф. Одоевского».

3) Для журнального текста Некрасову пришлось «замаскировать направленность своей сатиры против «общества благотворителей» в «особом вступлении», имеющем вид „апологии этого общества“» (1, 546—547).

Действительно, журнальный текст открывается таким вступлением:

Бедных петербургских жителей,
Стариков, сирот и вдов,
Общество благотворителей
Приняло под свой покров.

(1, 551)

Причем это вступление явно дисгармонирует с дальнейшим текстом и по содержанию, и по тону.

Помимо аргументов, приводимых К. И. Чуковским, можно указать еще на то, что сам В. Ф. Одоевский воспринимал стихотворение «Филантроп» как направленное и против него лично, и против руководимого им общества. В письме к Некрасову от 10 января 1860 года Одоевский отводит обвинения не только от себя, но и от общества: «...следы действий этого Общества до сих пор здравствуют и в оставшихся заведениях (довольно, однако, замечательных) и в нескольких сотнях лиц, им призренных, возращенных, воспитанных и у которых не худо было бы спроситься, если уже на то дело пошло, действительно ли кто выходил от нас без рубля (когда он был) или без ласкового слова...».

«„Да с чего же, однако же, взялся весь анекдот?“—„А я почему знаю? в массе 18 тысяч семейств, на которых распространялось действие Общества в продолжение 9-ти лет, было не без негодяев, и неблагодарных, и нахальных, и лживых“».

«...Общество, которое, смело могу выговорить, заслужило не упреков, но сохранило навсегда право на *полное и безусловное уважение* со стороны всех мыслящих и добрых людей, как по трудам своим, так и по страшным страданиям, им вынесенным, что, как то, так и другое,— осталось незамеченным для нашей прозорливой литературы».[1]

«Общество посещения бедных» было благотворительной организацией с несколько необычной программой. Главной его задачей была проверка подлинности нужды и степени бедности просителей, обращавшихся к богатым людям с просьбами о пособии. В уставе общества читаем: «Общество посещения бедных имеет главным предметом действий своих удостоверение в настоящем положении жителей С.-Петербурга, которые обращаются с просьбами о пособии к разным благотворительным лицам. Посему, входя в посредничество между благотворителями и нуждающимися, оно содействует, чтобы благотворения достигали своего назначения».[2]

Общество, как указывается в его первом отчете, должно было избавить обращавшихся к его услугам филан-

---

[1] Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. М., 1916, с. 133, 134, 135.

[2] Устав Общества посещения бедных в С.-Петербурге. СПб., 1851, с. 1.

тропов от возможности «холодною, слепою, бессознательною милостынею поощрить нищенство и дать порочному нахальству новые средства для еще большего развращения».[1] По словам одного из следующих отчетов, «контора Общества посещения бедных ⟨...⟩ сделалась грозою для ложных бедных. Обличенные в обмане, они уже не смеют являться в те дома, где привыкли получать незаслуженное пособие».[2]

Таким образом, формула, которою заканчивается стихотворение Некрасова:

А голодного от пьяного
Не умеют отличить,—

(I, 169)

получала особую остроту в применении к организации, основной целью которой и было «отличать голодного от пьяного».

Насколько справедливым было такое обвинение в отношении «Общества посещения бедных»? Отчеты общества, писанные его руководителем В. Ф. Одоевским, отвергают подобную возможность: «Мы могли иногда ошибиться *в пользу* бедного, но никогда *против* него».[3] Словно предвидя обвинения Некрасова, Одоевский утверждает, что общество оказывало беднякам не только материальную, но и моральную помощь, состоящую иногда «в простом нравственном ободрении, в тех нередких случаях, где нищета преимущественно происходит от уныния и упадка духа после долгих бедствий и неудач».[4]

Но надо сказать, во-первых, что Некрасов знал дела «Общества посещения бедных», как мы увидим ниже, не только по печатным известиям или понаслышке, а во-вторых, организация проверки просителей и персонал, производивший ее, вызывают естественное подозрение в возможности идеально справляться с такой задачей.

Во главе общества стояла небольшая группа «членов-распорядителей»; все остальные назывались «членами-посетителями». Задачей «членов-посетителей» и являлась проверка бедности просителей посредством

---

[1] Отчет Общества посещения бедных. Первое полугодичное заседание.— «С.-Петербургские ведомости», 1847, № 42.

[2] Отчет высочайше утвержденного Общества посещения бедных за 1849 г. СПб., 1851, с. 6.

[3] «С.-Петербургские ведомости», 1847, № 46.

[4] Там же, № 42.

посещения их жилищ и личных бесед с ними. На основании этих-то посещений и бесед общество «ставило преграды тунеядству и обличало промысл нищенством».[1]

В «Обществе посещения бедных» подвизались, как мы уже знаем, важные господа. Можно себе представить изумление и испуг бедняков, в лачугах которых появлялись такие посетители. Отчет, на который мы уже ссылались, прямо говорит: «Замечено, что бедный сначала пугается вопросов, ему делаемых».[2] Сильно испугавшись, бедняк мог оказаться «пред сиятельным лицом» в положении, описанном Некрасовым. А из сиятельных лиц, взявших на себя экспертизу, многие, вероятно, никогда раньше не видали нужды, являлись с достаточно произвольными представлениями о ее симптомах и, может быть, не всегда удовлетворительно выполняли свою миссию.

Все это — для современников, достаточно осведомленных в делах столичной благотворительности,— могло входить в «подтекст» стихотворения. Тем не менее вопрос о роли «Общества посещения бедных» в замысле «Филантропа» отнюдь не ясен. Ни о каком благотворительном обществе в стихотворении не сказано ни слова (если не считать вынужденных, внесенных при переделке, строф в начале журнальной редакции), нет в стихотворении и самой темы посещения бедняка благотворителем,— темы, естественно напрашивающейся при изображении *данного* общества и заключающей богатые сатирические возможности. А главное, хотя в стихотворении и выведен знатный филантроп, но охарактеризован он такими чертами, которые никак не могли быть типичными для великосветских благотворителей вообще.

Некрасовский герой — не только важная персона и знаменитый филантроп, он в то же время — энергичный деятель в области народного просвещения и писатель, посвятивший свое перо созданию книг для народа. Наставительные книжки он пишет, видимо, не только для крестьян. Рассказчик ведь говорит ему:

---

[1] Путята Н. Князь Владимир Федорович Одоевский и Общество посещения бедных просителей в Петербурге.— В кн.: «В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском. Заседание Общества любителей российской словесности 13 апреля 1869 г.». М., 1869, с. 20.

[2] «С.-Петербургские ведомости», 1847, № 44.

Я горе мыкаю,
Я работаю за двух,
Но не чаркой — вашей книгою
Подкрепляю слабый дух.

(I, 167)

Тут, очевидно, имеется в виду уже не копеечная брошюрка для «мужика», а какая-то назидательная книга для читателя более высокого социального круга.

Далее: филантроп имеет репутацию не только «сердца ангельски незлобного», но и «умнейшей головы», человека смелой мысли, стремящегося

...свет весь заново
К общей пользе изменить.

(I, 169)

Все это очень усложняет образ филантропа, затрудняет понимание его как типического образа. При этом невозможно не считаться с тем, что характеристика главного персонажа связана с чертами определенного прототипа. «Филантроп» в творчестве Некрасова — первая сатира, в герое которой описано определенное, хорошо известное в столице лицо. В дальнейшем метод создания сатирических типов на основе описания реальных «оригиналов» будет играть большую роль в сатире Некрасова.

3

По своему общественному положению, общественной репутации, взглядам, занятиям, интересам образ некрасовского филантропа ассоциируется с В. Ф. Одоевским. «Филантроп в самом широком смысле этого слова»,[1] без участия которого не обходилось ни одно благотворительное предприятие тех лет, человек глубокого и разностороннего образования, с философским направлением мысли, с пытливым интересом к общественным вопросам, к проблеме социальных реформ, Одоевский часть своей многосторонней деятельности отдал составлению и изданию дешевых и действительно расходившихся «в большом количестве» книг для крестьянства и вообще для «простонародья», причем, как мы

---

[1] Боцяновский В. Ф. Кн. В. Ф. Одоевский и Общество посещения бедных в С.-Петербурге.— «Трудовая помощь», 1899, № 4—5, с. 318.

увидим дальше, и проповедь «терпенья», и стремление «вразумить мужика об электричестве» являются отличительными признаками его писаний для народа.

Современники вспоминали о доброте, кротости, равной для всех приветливости Одоевского. Самые эпитеты, примененные к филантропу, видимо, отражают привычную фразеологию, принятую в обществе в отношении Одоевского. В. А. Инсарский в своих воспоминаниях называет Одоевского «ангельской личностью», прославленной «чистой любовью к добру и к людям».[1] Ср. стих 43 («Сердца ангельски незлобного») и 48 («А любовию к добру»).

Филантроп в стихотворении назван «его сиятельством»,[2] генералом, говорится о его «приезде ко двору», то есть придворном звании,[3] о «станиславской звезде». Все это соответствует положению В. Ф. Одоевского. «Сиятельство» по княжескому титулу, Одоевский был с 1845 года «штатским генералом» (действительным статским советником), еще с 1836 года имел придворное звание камергера, в 1852 году был награжден орденом Станислава 1-й степени («со звездой»).[4]

Все эти прямые соответствия имеются как в тех автографах и рукописных копиях, в которых стихотворение расходилось до его опубликования, так и в собраниях стихотворений Некрасова начиная с издания 1861 года. Но в журнальной публикации (в «Современнике» 1856 года) и в сборнике 1856 года стихотворение напечатано с изменениями, имеющими явную цель ослабить сходство с Одоевским. Это было сделано, очевидно, чтобы стихотворение не производило впечатления личного памфлета; могли тут играть роль и цензурные соображения, поскольку цензура охраняла престиж сановных лиц.

Некрасов убрал строфу, в которой говорится о титуле, ордене и «приезде ко двору», по всему тексту снял слова «его сиятельство» и «генерал», исключил все, что говорило о «благотворителе» как чиновнике; так,

---

[1] Инсарский В. А. Общество посещения бедных.— «Русский архив», 1869, № 6, стлб. 1015 и 1020.

[2] Правда, графом, а не князем.

[3] Термин того времени. Ср.: «А. Н. Карамзин не имел приезда ко двору».— Инсарский В. А. Записки. СПб., 1898, ч. 2, с. 292.

[4] Эти данные извлечены нами из формулярного списка В. Ф. Одоевского (Рукописное отд. Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Архив В. Ф. Одоевского. Опись 1, т. 101, № 3).

«экзекутор» заменен «камердинером». Не ограничиваясь этим, Некрасов применил своеобразный прием камуфляжа: в том месте, где указание на Одоевского особенно явно — в характеристике филантропа как писателя для народа,— Некрасов вставил строфу, намекающую на другого известного писателя для народа:

В русском духе, молодецкая,
Как по маслу речь текла,
Хоть фамилия немецкая
У особы той была.

(I, 450)

Это — очевидный намек на В. И. Даля, писания которого «для народа» охарактеризованы очень метко. Рассказ от лица балагура-краснобая, молодцеватый тон, нарочитая, можно сказать гипертрофированная, имитация народной лексики — все это как нельзя более характерно для произведений «Казака Луганского», предназначенных для народного чтения.

Вставленная строфа давала возможность Некрасову утверждать, в случае каких-либо претензий, что он описал не одно какое-то лицо, а использовал, создавая тип, черты различных известных ему лиц.

Между тем сама история текста стихотворения показывает, что с Далем образ филантропа непосредственно не связан. Намеков на Даля или каких-либо свойственных Далю черт нет, как свидетельствуют рукописи, в тексте, созданном в 1853 году; нет их и в печатных текстах, кроме двух публикаций 1856 года, в которых переделка явно вызывалась цензурными или личными мотивами и была сделана на скорую руку, весьма небрежно.

В самом деле, цитированная выше строфа, начинающаяся словами «о народном просвещении», получила в публикациях 1856 года такой вид:

О народном просвещении
Соревнуя, пять частей
В популярном изложении
Напечатал повестей.

(I, 552)

Повести — жанр более характерный для Даля, чем статьи. Но в тексте остается и тема «электричества», и «популярное изложение» — все это никак не вяжется с жанром повести. Притом новая редакция дефектна

и грамматически: предложение лишено подлежащего, не согласовано и с подлежащим предыдущего предложения.

Интересно, конечно, что для диссимуляции прототипа Некрасов избрал не другого «благотворителя», а другого писателя для народа; это показывает, насколько данный вид деятельности Одоевского был существен для замысла стихотворения, но все же основная его тема — филантропия, которою Даль, насколько мы знаем, не занимался, а поэтому в прототипы филантропа не годился.

Хотя в тексте 1856 года прямых намеков на Одоевского уже почти не было, последний все же воспринял это произведение как памфлет на себя, дающий основание для протеста. В письме к Некрасову от 10 января 1860 года Одоевский выставил основанием для идентификации героя стихотворения с собой занятия «*публичною* благотворительностию» и то, что «хоть и не об электричестве, но, грешен, писал именно для мужиков, и именно о *химических и физических предметах* и NB NB писал *один* во всей русской литературе».[1] Рассматривая стихотворение как персональный памфлет, Одоевский «по пунктам» опровергает возводимые на филантропа обвинения:

«Есть ли гайдуки?», «Есть ли передняя?», «Топал ли ногами?», «Кричал ли?», «...голодного от пьяного ⟨...⟩ отличить ⟨...⟩ сумею безошибочно» и т. п.[2]

Тут-то и пригодилась Некрасову его уловка — подмена Одоевского Далем. В ответном письме Одоевскому Некрасов просто заявил, что «решительно не имел его в виду», и дал следующую версию возникновения замысла «Филантропа»:

«Когда я хотел издавать «Петерб⟨ургский⟩ сборник», со мной было вот что: я пришел к Далю, который жил в 8-м, кажется, этаже, просить у него статьи. Я очень запыхался и, может быть, сконфузился. Я был тогда начинающий. Даль мне в просьбе моей отказал; а через несколько дней сказал Тургеневу: *«Что за человек Некрасов? Он пришел ко мне пьяный?»* и проч. Тургенев, я думаю, это помнит. Я не был ни пьян, ни го-

---

[1] Возможно, конечно, что Одоевский знал рукописный текст «Филантропа»; эту возможность Некрасов как будто учитывает в своем ответе (см.: 10, 412).

[2] Архив села Карабихи, с. 133—134.

лоден, это меня заставило подумать, как Даль дошел до такого заключения обо мне,— вышло стихотворение «Филантроп». Но, по-моему, я и Даля тоже в нем не изобразил — я вывел черту современного общества — и совесть моя была и остается спокойна» (10, 412).[1]

Таким образом, замысел «Филантропа», по объяснению Некрасова, возник по довольно далекой аналогии. Робкий, начинающий издатель явился с просьбой о сотрудничестве к известному писателю; сильно запыхавшийся и сконфуженный, он был принят за пьяного, в его просьбе ему отказали — и это навело Некрасова на сюжет «Филантропа», где на место известного писателя подставлен барин-благотворитель, а на место начинающего издателя — полунищий отставной чиновник.

Все это весьма малоправдоподобно. В «Петербургском сборнике» действительно нет произведений Даля, но в «Физиологии Петербурга», которую Некрасов издал в предыдущем, 1845 году, напечатан очерк Даля «Петербургский дворник». Может быть, Некрасов и приходил к Далю просить сотрудничества в «Петербургском сборнике», а тот ему почему-либо отказал, но, во всяком случае, Даль к этому времени достаточно коротко знал Некрасова и не мог принять его за пьяного проходимца. Представляя себе эту ситуацию, трудно поверить и тому, чтобы на Некрасова напала вдруг такая робость перед Далем, что он не в силах был толком объясниться и поэтому был принят за пьяного. Если же ничего этого не было, то воспоминание о приеме у Даля не могло послужить отправной точкой для возникновения сюжета «Филантропа». Скорее всего, Некрасов, чтобы выйти из неприятного положения, просто сочинил этот эпизод, воспользовавшись нали-

---

[1] Очень странно указание Некрасова, что Даль «жил в 8-м, кажется, этаже». В Петербурге 40-х годов не только не было восьмиэтажных домов, но почти не было даже пятиэтажных; Даль же, согласно мемуарам А. Д. Шумахера, жил на четвертом этаже (Шумахер А. Д. Поздние воспоминания.— «Вестник Европы», 1899, № 3, с. 122). Это соответствует указанию П. И. Мельникова: «В. И. Даль, служа при графе Л. А. Перовском, имел казенную квартиру в том же доме у Александринского театра, где жил и сам министр» (Мельников П. И. Владимир Иванович Даль. Критико-биографический очерк.— В кн.: Даль В. И. Полн. собр. соч. СПб., М., 1897, т. 1, с. 55). Дом этот (на углу ул. Островского и улицы Зодчего Росси) — четырехэтажный.

чием в издании 1856 года строфы, намекающей на Даля.

Итак, ссылки на Даля лишь маскировали тот факт, что прямым прототипом филантропа был В. Ф. Одоевский. Тогда возникает вопрос: для чего Некрасов объединил в образе филантропа черты, свойственные определенному лицу, но не типичные для светского филантропа вообще? Являлось ли в глазах Некрасова сочетание таких черт, как аристократизм, высокое служебное положение, благотворительность, составление книг для народа, реформаторские стремления, только индивидуальным сочетанием, свойственным Одоевскому, или в этом сочетании Некрасов усмотрел признаки известного общественного типа, с которым он счел нужным бороться? В первом случае перед нами — пасквиль, цель которого унизить и скомпрометировать отдельное лицо, во втором случае мы имеем дело с особым методом создания типического образа.

Конечно, правильно второе предположение. Некрасов дорожил своей литературной репутацией, и, если бы он даже и был способен по личным мотивам написать лишенный идейного значения пасквиль, он бы не напечатал такого произведения и уж во всяком случае не включил его в собрание своих стихотворений, к составлению которого отнесся с большой строгостью.

Но никаких личных мотивов тут явно и не было. Одоевский — один из старейших литературных знакомых Некрасова, участник «Отечественных записок» и «Литературной газеты», в которой он вел в 1844—1845 годы кулинарный фельетон под псевдонимом доктора Пуфа; темы этого фельетона Некрасов постоянно подхватывал и обыгрывал в своих фельетонах. В ту же пору Некрасов стал посещать Одоевского. В конце 1845 года Одоевский просил Некрасова познакомить его с Достоевским (см.: 10, 48). Одоевский участвовал в «Петербургском сборнике» Некрасова. В объявлении о переходе «Современника» под руководство Некрасова и Панаева Одоевский значится в числе сотрудников обновленного журнала (см.: 12, 110). Личные отношения с Одоевским Некрасов продолжал и после написания «Филантропа». 27 июня 1856 года он сообщает Тургеневу, что посетил Одоевского на даче в Ораниенбауме (см.: 10, 281).

Белинский, оценки которого были так важны для Некрасова, относился к Одоевскому с неизменным

уважением и симпатией, хотя и не скрывал идейных расхождений с ним. Суммируя печатные отзывы Белинского об Одоевском, В. С. Спиридонов пишет: «...все вообще отзывы критика о князе Одоевском, идущие непрерывно от «Литературных мечтаний», проникнуты глубоким уважением к последнему».[1]

Заканчивая специальную статью о сочинениях Одоевского, Белинский характеризует его не только как писателя, но и как человека: «Что же касается до его лучших произведений,— они обнаруживают в нем не только писателя с большим талантом, но и человека с глубоким, страстным стремлением к истине, с горячим и задушевным убеждением,— человека, которого волнуют вопросы времени и которого вся жизнь принадлежит мысли» (VIII, 323).

О том, что Некрасов считал «Филантропа» произведением идейно значительным и ценным, свидетельствуют строки в его письме к Тургеневу от 17 ноября 1853 года: «Посылаю тебе «Филантропа» — скажи мне о нем свое мнение. Этой вещи я не почитаю хорошею, но дельною» (10, 198). Это терминология Белинского. В последние годы своей жизни Белинский неоднократно говорил о «*дельной* поэзии, то есть такой поэзии, которою не стыдно заниматься как делом» (X, 35). «Дельными» Белинский называл произведения прогрессивной идеологии, выдвигающие социальные проблемы. «...Будь повесть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное — сколько-нибудь *дельна* — я не читаю, а пожираю с жадностью собаки, истомленной голодом,— пишет он Боткину в декабре 1847 года.— Для меня дело — в деле. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление. Если она достигает этой цели и вовсе без поэзии и творчества, она для меня *тем не менее* интересна, и я ее не читаю, а пожираю ⟨...⟩. Разумеется, если повесть возбуждает вопросы и производит нравственное впечатление на общество при высокой художественности,— тем она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки в деле, а не в щегольстве. Будь повесть хоть расхудожественна, да если в ней нет дела-то, братец, дела-то: je m'en fous»[1] (XII, 445). Эпитет «дельные» Белинский часто применял к стихам Некрасова: «Они проникнуты мыслью; это — не стишки к деве и луне; в них много

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Л., 1948, т. 13, с. 265.

умного, *дельного* и современного» (IX, 573; ср. IX, 218). Цитированные слова Некрасова из его письма к Тургеневу означают, очевидно, что он не высокого мнения о стихотворении «Филантроп» в художественном отношении, но считает его идейно значительным произведением.

Не только в эту пору, но и позже Некрасов продолжал считать «Филантропа» значительным стихотворением. В 1860 году на первом публичном чтении только что основанного Литературного фонда Некрасов намеревался прочесть «Филантропа», о чем уже было объявлено в афишах. Это и послужило поводом к цитированному выше письму В. Ф. Одоевского к Некрасову.[1]

Стихотворение было очень популярно в 60-е годы. «„Филантроп“ пользовался весьма широкой популярностью в самых разнообразных кругах, мало кто не знал его наизусть»,— вспоминает Л. Ф. Пантелеев.[2] «Столь известный всем „Филантроп“»,— говорит о стихотворении в своих воспоминаниях Е. Я. Колбасин.[3] Писарев, перечисляя в 1861 году лучшие произведения Некрасова, первым называет «Филантропа».[4] Славянофильский критик Е. Н. Эдельсон в статье 1864 года причисляет «Филантропа» к «горячо прочувствованным и глубоко созревшим стихотворениям».[5]

Все это свидетельствует об идейной значительности произведения, а следовательно, и о том, что в нем описано типическое явление. За светской ложью письма Некрасова Одоевскому стоит большая правда, выраженная в следующих словах письма: «Я вывел черту современного общества — и совесть моя была и остается спокойна» (10, 412).

Сатирически воспроизводя как будто бы очень индивидуальное сочетание свойств, Некрасов отражает и обличает в стихотворении черты, характерные для какого-то круга людей. Но для установления этого круга единственной нашей твердой опорой является прямая связь образа филантропа с Одоевским. Таким образом,

---

[1] Одоевский просил Некрасова не читать публично «Филантропа». Некрасов согласился и прочел на вечере другие стихи.

[2] Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 723.

[3] Колбасин Е. Тени старого «Современника».— «Современник», 1911, № 8, с. 232.

[4] См.: Писарев Д. И. Сочинения. М., 1955, т. 1, с. 196.

[5] Цит. по: Зелинский В. Сборник критических статей о Н. А. Некрасове, ч. 1, изд. 3-е, М., 1906, с. 215.

дальнейшее исследование должно строиться на анализе деятельности Одоевского в тех сферах, которые затронуты в стихотворении Некрасова, и установлении круга единомышленников и соратников Одоевского, сходных с ним чертами типа.

4

В связи с сатирой Некрасова Одоевский может интересовать нас как филантроп, как социальный мыслитель и как писатель для народа. Все эти стороны его деятельности тесно связаны между собой.

«В сороковых и пятидесятых годах Одоевский много думает о вопросах социальной жизни, усердно читает книги по политической экономии, изучает и социалистов».[1] Основное направление мысли Одоевского можно было бы определить как поиски таких мероприятий, которые улучшали и облегчали бы жизнь людей, устраняя при этом угрозу революции.

В архиве Одоевского сохранился ряд набросков под заглавиями: «О пауперизме», «Пауперизм и бедность», «Пауперизм, бедность и филантропия. Опыт о возможности благотворительности как науки» и т. п. Видно, что проблема пауперизма — центральная проблема, занимающая Одоевского. Одним из основных путей борьбы с пауперизмом он считает благотворительность.

С середины 40-х годов Одоевский большую часть своих незаурядных сил отдает практическому воплощению своих идей. На первом плане — борьба с нищетой. Основная задача благотворительной деятельности Одоевского (в которой «Общество посещения бедных» — только одно из звеньев) — помощь в отыскании работы, стимуляция выхода из нищеты к бедной, но самостоятельной трудовой жизни.

Одоевский много думает не только о целях и формах материальной помощи, но и о повышении жизненного уровня бедных людей без помощи извне (и, разумеется, без кардинального изменения социального строя). Его интересуют не только вопросы борьбы с разоряющими пороками (леность, пьянство), но и вопросы

---

[1] Сакулин П. Н. Русская литература и социализм. М., 1922, ч. I, с. 453.

домашнего устройства, домашнего хозяйства, рационального использования жизненных ресурсов.[1]

Но, чтобы препятствовать развитию революционных настроений, недостаточно было бороться с нищетой, недостаточно было и давать бедным людям советы экономического характера. Самое важное было — убедить бедных людей в том, что они должны быть довольны своей участью. В некрасовской формуле «нам терпенье проповедуя» схвачен основной мотив наставлений Одоевского. Для того чтобы люди не бунтовали, нужно, с одной стороны, избавить их от невыносимых мук нищеты, а с другой — внушить им преданность власти, закону, религии, убедить в естественности и необходимости социального и экономического неравенства как фундамента любого общества, научить кротко и терпеливо переносить бедность и социальную приниженность. Стремление пропагандировать эти мысли — основной стимул к выходу Одоевского на поприще писателя для народа.

В области литературы для народа главным делом Одоевского был сборник «Сельское чтение», четыре книжки которого вышли на протяжении 1843—1848 годов, а затем многократно переиздавались. «Сельское чтение» составлялось и издавалось В. Ф. Одоевским и А. П. Заблоцким-Десятовским при постоянном сотрудничестве В. И. Даля и спорадическом участии нескольких других литераторов (А. Ф. Вельтмана, М. Н. Загоскина, В. А. Соллогуба и др.). Это издание весьма целенаправленное и продуманное. На первый план выдвинуты хозяйственные советы в области агрономии и животноводства. Специальные популярные статьи рассказывают «О том, какой хлеб какую землю любит», «Как надобно пахать землю, чтоб хорошо хлеб родился», «О том, как с домашнею скотиною надобно обращаться», о вредных насекомых, о пользе картофеля, о противопожарных мероприятиях в деревенских усло-

[1] В 1844 г. при «Литературной газете» стало выходить особое приложение «Записки для хозяев», под редакцией А. П. Заблоцкого-Десятовского. В этом издании, как указано в объявлении «Литературной газеты», «особое внимание ⟨...⟩ обращено на домоводство — предмет ⟨...⟩, который так тесно связан с успехами гражданской жизни». Здесь Одоевский повел кулинарный фельетон под псевдонимом доктора Пуфа. Согласно его разъяснениям, «лекции доктора Пуфа» предназначались преимущественно для людей, не имеющих повара (а лишь неквалифицированную прислугу) и экономных («Записки для хозяев», 1844, № 2, с. 14).

виях и т. п. Имеются статьи и рассказы на медицинские, санитарно-гигиенические, ветеринарные темы. Практически, в связи с потребностями крестьянской жизни, излагаются начатки физики, биологии. Даются сведения о мерах, весах, календаре, кое-какие знания по истории и географии и т. п.

Но еще больше, чем продвижением в крестьянскую среду элементарных знаний и хозяйственных навыков, заняты издатели «Сельского чтения» морально-политическим воспитанием своих читателей. Им внушается уважение к религии и священникам, к царю и начальникам, к законам и собственности, к хозяевам и к старшим в семье, к богатым людям, разжившимся «своим трудом». Очерки и рассказы призывают к богобоязненности, трудолюбию, бережливости, трезвости, опрятности, повиновению начальству, довольству своей жизнью. «Трудящемуся бог никогда не отказывает», «Трудись и будешь хоть не богат, но сыт и одет» [1]— вот афоризмы, настойчиво продвигаемые в народ. Нет и намека на то, что несчастья и горести крестьянина могут зависеть от чего-нибудь еще, кроме его собственных пороков или стихийных бедствий.

Большой интерес представляет отношение к «Сельскому чтению» Белинского. Он настойчиво пропагандировал это издание. Каждому из четырех выпусков он посвятил отдельную рецензию и, кроме того, откликался особыми заметками на многочисленные переиздания книжек. Белинский неизменно квалифицирует «Сельское чтение» как «прекрасное издание» (X, 371), как «первую *удачную* попытку» «заохотить простой народ к чтению» (IX, 301), ставит это издание «в разряд тех *классических* книг, в похвалах которым бесполезно распространяться» (VIII, 295). Белинский указывал на «колоссальный успех» «Сельского чтения» в народе и причину его видел в «глубоком знании быта, потребностей и самой натуры русского крестьянина» и в «таланте, с каким умели издатели воспользоваться этим знанием» (IX, 302). «Явление такой книжки, как «Сельское чтение», должно радовать всякого *истинного* патриота, всякого друга общего добра»,— писал Белинский

---

[1] Кн. Одоевский В. Ф. и Заблоцкий А. П. Что крестьянин Наум твердил своим детям, наставляя их на добро.— «Сельское чтение», кн. 1, СПб., 1843, с. 21.

в 1843 году в рецензии на первый выпуск «Сельского чтения» (VI, 682).

Вслед за Белинским и Некрасов писал в 1844 году о «Сельском чтении», защищая его от нападок реакционеров.[1]

Странной может показаться систематическая пропаганда «Сельского чтения» Белинским, который ясно видел, что это издание «внушает простому человеку правила религии, преданность и благодарность престолу» (VI, 683). На отношение Белинского, очевидно, влияло то, что «Сельское чтение» было первым изданием для крестьян, авторы которого добросовестно стремились сообщить своим читателям хотя бы начатки серьезных знаний. В «Сельском чтении» систематически велась энергичная пропаганда грамотности и хозяйственных нововведений, борьба с предрассудками, с застойностью крестьянского быта. Книги «Сельского чтения» злобно встречались реакционерами, считавшими, «что крестьянину нужны щи да каша, а грамота бесполезна» (VI, 689).[2]

Главным же, что определяло отношение Белинского к «Сельскому чтению», была связь этого издания с людьми и учреждениями, пытавшимися содействовать подготовке крестьянской реформы. Правда, в самом тексте четырех выпусков «Сельского чтения» эта связь сказывается лишь в демонстративном воздержании от пропаганды крепостного права. Крепостное право не осуждается, но и не оправдывается,— оно игнорируется. Об отношениях помещиков и крестьян не поминается ни единым словом. Читая «Сельское чтение», можно было подумать, что в России есть только государственные крестьяне. Правда, «Сельское чтение» и предназначалось в первую очередь для государственных крестьян, но не для них одних. Да и предназначение для тех или иных читателей не объясняет умолчания

---

[1] В фельетоне «Письмо ***ского помещика о пользе чтения книг, о вредности бараньих бурдюков с кашей и о русской литературе» (5, 432—443).

[2] «Крепостники смотрели на Одоевского с насмешкой, как на чудака, измышляющего какую-то литературу для их холопов. Славянофилы принципиально отвергали интеллигентную литературу для народа, усматривая в ней неуважение к народной мудрости и подозревая влияние гнилого Запада» (Сумцов Н. Ф. Князь В. Ф. Одоевский. Харьков, 1854, с. 23). О враждебном отношении славянофилов к «Сельскому чтению» см. у Белинского (IX, 589; X, 260; X, 368—371).

о таком существеннейшем факте русской жизни, как крепостное право. В те годы такое умолчание было достаточно красноречивым свидетельством отношения издателей к крепостному праву.

Свидетельство это не обманчиво. В письме 1865 года Одоевский утверждает: «Мои убеждения — не со вчерашнего дня; с ранних лет я выражал их всеми доступными для меня способами: пером — насколько то позволялось тогда в печати, а равно и в правительственных сношениях, изустною речью не только в частных беседах, но и в официальных комитетах,— везде и всегда я утверждал необходимость уничтожения крепостничества и указывал на гибельное влияние *олигархии* в России; более 30 лет моей публичной жизни доставили мне лишь новые аргументы в подкрепление моих убеждений». [1]

Невозможно было ставить целью развитие в народе довольства своим положением и в то же время поддерживать крепостное право, все более, даже по официальным признаниям, лишавшееся «патриархальности», то есть становившееся все более бесчеловечным и грозившее взрывом. «Лишь вовремя произведенными реформами можно остановить насильственное вторжение гибельных, фантастических нововведений» [2]— вот основная мысль Одоевского.

5

Итак, Одоевский — либерал, враг крепостного права. Но это определение еще очень общее. История русского либерализма 40-х годов изучена плохо. Говоря о либералах этого времени, мы обычно представляем себе «лишних людей», осуждающих крепостное право и самодержавие, а поэтому не идущих на чиновничью или военную службу и не хозяйничающих всерьез в своих имениях; это люди, не признающие революционного пути и не верящие в возможность реформы сверху при данном режиме, а значит, не находящие вообще практических путей к осуществлению своих идей. «Либерал-идеалист», «созерцающий, читающий», но «для

---

[1] См.: Пятковский А. П. Князь В. Ф. Одоевский. Литературно-биографический очерк в связи с личными воспоминаниями. СПб., 1880, с. 46—47.

[2] Цит. по: Цехновицер О. В. «Силуэт. В. Ф. Одоевский».— В кн.: Одоевский В. Ф. Романтические повести. Л., 1929, с. 37.

действительности скованный»[1] — любимый герой литературы 40—50-х годов.

Одоевский принадлежал к другой ветви русского либерализма 40-х годов. Это — либерал, не только теоретически считавший единственным приемлемым путем изменения социального строя путь правительственных реформ (это общая позиция всех либералов), но и практически возлагавший большие надежды на правительство Николая I, веривший и надеявшийся на освобождение им крестьян и старавшийся действовать в этом направлении. Таких губернаментальных либералов было не так мало среди столичного чиновничества 40-х годов.

Наши историки не всегда осознают, что это тоже либералы, перенося более поздние критерии на эпоху 40-х годов. Но в эту эпоху, когда, по словам Ленина, «*все* общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом»,[2] отношение к крепостному праву и являлось критерием отличия реакционеров от либералов; враждебное отношение к крепостному праву было признаком либерализма, отчуждало от лагеря реакционеров и в какой-то мере сближало с лагерем демократов, какими бы робкими и половинчатыми ни были взгляды, стремления и действия либералов.

В 40-е годы в Петербурге были даже департаменты и министерства, слывшие либеральными. Подобную репутацию имело прежде всего министерство государственных имуществ, созданное и руководимое П. Д. Киселевым. Чиновников этого министерства, по свидетельству Салтыкова-Щедрина (в «Пошехонской старине»), помещики называли «эмиссарами Пугачева».[3] В этом министерстве — конечно, не случайно — и служил Одоевский в качестве члена Ученого комитета, где он работал бок о бок со своим другом и соиздателем по «Сельскому чтению» А. П. Заблоцким-Десятовским, редактором «Журнала Министерства государственных имуществ», одним из основных идеологов этого министерства.

«Теперь ни для кого не тайна,— писал К. Д. Кавелин в некрологе Заблоцкого-Десятовского,— что учреждение Министерства государственных имуществ

---

[1] Выражения взяты из «Медвежьей охоты» Некрасова.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 520.

[3] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. М., 1975, т. 17, с. 161.

было как бы прологом к отмене крепостного права. Поборники его ⟨...⟩ знали это и потому относились крайне недоброжелательно к графу Киселеву, его министерству и главнейшим его сотрудникам, между которыми особенно выдавался А. П. Заблоцкий-Десятовский своим умом, обширными познаниями, талантом, трудолюбием и искренней приверженностью идее освобождения крестьян».[1]

Учреждение министерства государственных имуществ было связано с идеей освобождения крестьян следующим образом: предполагалось дать личную свободу государственным крестьянам, обязав их при этом рядом повинностей по отношению к государству, а затем постепенно изменить и положение помещичьих крестьян по аналогии с государственными и на основе введения нового статуса. Помещичьи крестьяне должны были в конце концов стать лично свободными, но обязанными нести такие же повинности в пользу помещиков, каких от государственных крестьян требовало дворянское государство; административное управление ими должно было перейти в той или иной степени к тому же министерству государственных имуществ. «В плане задуманного двуединого преобразования Министерство государственных имуществ должно было стать «министерством реформы», могущественным рычагом для очищения и регулирования феодальных отношений»,— пишет академик Н. М. Дружинин в своем исследовании о государственных крестьянах николаевской эпохи.[2]

Очень ясно и откровенно высказался о своих намерениях и стимулах П. Д. Киселев в дружеском письме к М. С. Воронцову от 3 января 1852 года: «Никогда не было речи об абсолютном освобождении, а только единственно о регулировании крепостного права ⟨...⟩. Я могу сказать, что этого и до сих пор желаю из страха, потому что чем более я всматриваюсь, тем более страшусь жакерии, грозящей спокойствию России и существованию дворянства».[3]

Культурные мероприятия своего министерства Киселев планировал исходя из того, что необходимо ждать улучшения хозяйственного быта государственных крестьян

---

[1] «Русская старина», 1882, № 2, с. 549.

[2] Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. М.— Л., 1946, т. 1, с. 504.

[3] См.: Там же, с. 274.

от распространения «образования, приличного и соответственного их состоянию»; нужно увеличить количество волостных училищ и составить для крестьян морально-политическое наставление «в виде гражданского катехизиса, в котором показать обязанности крестьян к государю и властям, обязанности семейные и, наконец, главнейшие постановления полицейские и уголовные». [1]

Организацией воспитания и образования крестьян в этом духе и должен был заниматься Ученый комитет министерства, в котором наиболее выдающимися чиновниками были Заблоцкий и Одоевский. Задачей комитета являлось идеологическое руководство государственными крестьянами, составление учебников для создаваемых министерством крестьянских школ и книг для крестьянского чтения.

П. И. Мельников-Печерский в биографии В. И. Даля утверждает, что П. Д. Киселев «поручил служившим при нем князю В. Ф. Одоевскому и А. П. Заблоцкому-Десятовскому составить „Сельское чтение“». [2]

Установки «Сельского чтения» — это и есть установки министерства государственных имуществ. Повышение уровня сельскохозяйственных знаний крестьянства, улучшение домоводства и распространение сведений, «полезных в быту» крестьянина, борьба с разоряющими пороками — прежде всего с ленью и пьянством, возбуждение доверия к власти и преданности царю при скрытой оппозиции крепостному праву, все это на почве

---

[1] См.: Там же, с. 483.

[2] Мельников П. И. Владимир Иванович Даль. Критико-биографический очерк.— В кн.: Даль В. И. Полн. собр. соч., СПб., 1897, т. 1, с. XIV. Советский исследователь на основе архивных материалов указывает, что «на заседании Ученого комитета (министерства государственных имуществ.— *Б. Б.*) по предложению Одоевского было принято решение издавать для русских поселян несколько книжек в год под названием „Сельское чтение“» (Тарасов Д. Ф. Народные и учебные книги В. Ф. Одоевского.— Уч. зап. Коломенского гос. пед. ин-та, 1961, т. V, с. 78). Отмечу, что «Сельское чтение» печаталось в типографии министерства государственных имуществ и распространялось в значительной степени через его аппарат. Белинский сообщает, что из общего тиража двух первых изданий 1-й книги «Сельского чтения» в 9000 экземпляров «4000 было взято Министерством государственных имуществ» (VIII, 139). В архиве Одоевского (в Гос. Публичной б-ке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) хранится его «Предварительное объяснение о ручной книжке для крестьян, которая бы в небольшом объеме содержала изложение важнейших обязанностей селянина,— во исполнение предписания Господина Министра» (Опись 1, переплет 87, № 9).

укрепления религии и нравственности,— такова, как мы видели, программа «Сельского чтения», полностью реализующая пожелания Киселева.

Второй, не менее активный, чем Одоевский, издатель «Сельского чтения», А. П. Заблоцкий-Десятовский, так же типичен для круга людей, против которых направлено стихотворение Некрасова,— круга барственных и сановных либералов, филантропов и «просветителей» народа. Он тоже либерал в генеральском чине (к 1853 году — действительный статский советник), из старинного дворянского рода, активный сторонник реформ, трудолюбивый автор поучительных книжек для народного чтения и филантроп-благотворитель. В последнем качестве Заблоцкий, правда, особенно проявил себя уже после написания «Филантропа».[1]

А. П. Заблоцкий-Десятовский — выдающийся деятель антикрепостнического движения 30—40-х годов. Ему принадлежит один из самых замечательных документов николаевской эпохи, направленных против крепостного права,— записка «О крепостном состоянии в России», составленная в 1841 году по поручению Киселева для подачи царю, но не поданная из-за ее резкости и напечатанная лишь в 1882 году.[2] Однако осуждая крепостное право последовательно и решительно, Заблоцкий рекомендует меры для его устранения лишь очень осторожные и постепенные, в духе киселевских проектов, и, разумеется, предпочитает сохранение крепостнических порядков любым переменам революционного характера.

В советской историографии имя А. П. Заблоцкого привлекает все большее внимание как имя вождя школы экономистов-либералов, доказывавших несостоятельность крепостного права и необходимость его ликвидации. В «Истории русской экономической мысли», издаваемой Институтом экономики Академии наук СССР, читаем: «Экономическую программу дворянского либерализма наиболее полно и развернуто обосновала группа экономистов министерства государственных имуществ, возглавлявшаяся А. П. Заблоцким-Десятовским. ⟨...⟩

---

[1] В 60-е годы он был одним из инициаторов и председателем Литературного фонда, в 70-е — инициатором и председателем «Общества вспоможения бедным» в приходе Андреевского собора на Васильевском острове.

[2] В четвертом томе монографии А. П. Заблоцкого-Десятовского «Граф П. Д. Киселев и его время» (СПб., 1882).

Дальнейшее сохранение крепостнического строя Заблоцкий-Десятовский признавал невыгодным для общества. По его обоснованному заключению, крепостной труд менее производителен, нежели вольнонаемный. ⟨...⟩ В произведениях Заблоцкого-Десятовского уделялось много внимания доказательству отрицательного влияния крепостного права на качество, производительность труда, на возникновение и рост капиталов в стране, на развитие промышленности и торговли. ⟨...⟩ Следует отметить, что либеральные экономисты не ограничивались только общими рассуждениями о крестьянской земельной собственности, а собирали статистические данные о крестьянских земельных наделах, производили исследования бюджета крестьянской семьи и даже определяли, сколько земли и сколько скота необходимо для безбедного существования средней крестьянской семьи. ⟨...⟩ Публиковавшиеся в «Журнале министерства государственных имуществ» расчеты и выводы либеральных экономистов приобретали значение прямого осуждения всей существовавшей тогда крепостнической системы хозяйства ⟨...⟩. При оценке экономических взглядов либерального дворянства и их проектов решения аграрного вопроса следует обязательно учитывать, что во второй четверти XIX в. царское правительство все еще откладывало решение крестьянского вопроса до более далеких времен ⟨...⟩, в 40-х годах все еще преобладала крепостническая, а не либеральная концепция. В этих условиях нельзя не подчеркнуть прогрессивного значения антикрепостнических идей Заблоцкого-Десятовского и его единомышленников».[1]

По-видимому, Заблоцкий в своем понимании общественных отношений и будущего России был прогрессивнее и дальновиднее Киселева. Некоторые советские исследователи характеризуют его не как дворянского, а как буржуазного либерала,[2] другие отмечают его сочувствие капиталистическому развитию России. Но подобные тенденции не мешали ему идти рука об руку

---

[1] История русской экономической мысли. М., 1958, т. 1, ч. 2, с. 245—249.

[2] См.: Пиксанов Н. К. Белинский в борьбе за Гончарова.— Уч. зап. Лен. гос. ун-та. Серия филологических наук, вып. 11. Л., 1941, с. 63—65 (речь идет о влиянии Заблоцкого-Десятовского на кружок Майковых, в частности на Гончарова); Оксман Ю. Г. Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ.— В его кн.: От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника». Саратов, 1959, с. 213—214.

с Киселевым — бесспорным представителем дворянского либерализма. Стремясь к капиталистическому развитию России, экономисты типа Заблоцкого не порывали при этом с интересами дворянства: они полагали, что русская буржуазия образуется, в основном, из помещиков, и были убеждены, что вольнонаемный труд в сельском хозяйстве будет приносить помещикам бóльшие доходы, чем крепостной, повысив производительность труда и содействуя установлению более твердых цен на хлеб. Доказательству последней мысли посвящена статья Заблоцкого «Причины колебания цен на хлеб в России», напечатанная в «Отечественных записках» 1847 года и отнесенная Белинским к «замечательнейшим явлениям нашей ученой литературы» этого года (X, 354).

Статья эта находится в преемственной связи со статьей К. С. Веселовского «О ценах на хлеб в России», напечатанной в «Журнале Министерства государственных имуществ» 1845 года. К. С. Веселовский, которого академическая «История русской экономической мысли» выделяет рядом с Заблоцким как виднейшего экономиста министерства государственных имуществ, занимался не только проблемами, связанными с крестьянским вопросом; в своей статье «Статистика недвижимых имуществ в С.-Петербурге», напечатанной в «Отечественных записках» 1848 года, Веселовский дает описание ужасных, нищенских бытовых условий жизни рабочего класса исходя из собственных наблюдений убогих жилищ петербургских рабочих.

В. М. Штейн в своей интересной, хотя и спорной, книге «Очерки развития русской общественно-экономической мысли XIX—XX веков» говорит о группе экономистов-просветителей 40-х годов, которые «определили новое лицо русской политической экономии», признав «внутреннюю порочность крепостного режима»; к этой группе он относит экономистов министерства государственных имуществ — А. П. Заблоцкого, К. С. Веселовского, Я. А. Соловьева, а также В. Н. Майкова, В. А. Милютина, Д. П. Журавского. [1]

Мы, естественно, не будем решать здесь вопрос, правомерно ли объединять в одну группу либерально-дворянских и таких либерально-буржуазных, притом

[1] Штейн В. М. Очерки развития русской экономической мысли XIX—XX веков. Л., 1948, с. 69—70, 102—104.

с колебаниями в сторону демократической мысли, просветителей, как В. Н. Майков и В. А. Милютин. Советские исследователи отмечают, во всяком случае, что В. Н. Майков «боялся революции и видел в реформе единственный способ расширения социально-экономических задач, а в соответствии с этим — и единственно возможный путь отмены крепостного права»,[1] «в имущественном неравенстве видел необходимый стимул экономического развития общества»,[2] особенно интересуясь проблемой пауперизма, «выступил с собственным филантропически-утопическим планом устранения нищеты при сохранении фундамента буржуазного общества — частной собственности на средства производства».[3] В учении В. А. Милютина отмечается «отрицательное отношение к активности народных масс и вообще к революционным методам разрешения общественных противоречий»,[4] надежды на «просвещенное правительство» и на его «образованных деятелей»,[5] на ликвидацию пауперизма и других бед капитализма путем «установления какой-то мифической общности интересов между капиталом и трудом».[6] Эти мотивы, во всяком случае, сближают Милютина и Майкова с другими либеральными экономистами 40-х годов.

Названные В. М. Штейном экономисты — все это профессиональные статистики, во главе с Д. П. Журавским — «крупнейшим статистиком середины XIX столетия, которым поистине может гордиться наша Родина»,[7] автором проектов освобождения крестьян и активнейшим филантропом, тратившим все свои скромные сбережения на выкуп крепостных людей из неволи.

В 40-е годы русские либеральные экономисты более всего стремились к конкретному исследованию экономического положения народа, считая основной базой

---

[1] Мартыновская В. С. Буржуазные идеологи 30—40-х годов.— В кн.: История русской экономической мысли. М., 1958, т. 1, ч. 2, с. 265.

[2] Кийко Е. И. В. Н. Майков.— В кн.: История русской критики. М.— Л., 1958, т. 1, с. 432.

[3] Мартыновская В. С. Указ. ст., с. 268.

[4] Блюмин И. Экономические воззрения В. А. Милютина.— В кн.: Милютин В А. Избранные произведения. М., 1946, с. 36.

[5] Макашин С. Салтыков-Щедрин. Биография. М., 1949, с. 194.

[6] Блюмин И. Указ. ст., с. 34.

[7] Птуха М. В. Д. П. Журавский. Жизнь, труды, статистическая деятельность. М. 1951, с. 54.

для объективных суждений об этом положении данные статистики. Под словом «статистика» понимали при этом «не один только подбор бездушных чисел, не одну количественную статистику, но и описательную, или качественную, то есть все соизмеримые стихии общественной жизни»,[1] как сказано в докладной записке 1845 года (вероятно, писанной В. И. Далем) «Об основании Русского географо-статистического общества» (утвержденного под названием Императорского русского географического общества). Естественно, что при подобном понимании статистики она сливалась с этнографией. В словоупотреблении того времени «статистика» и «этнография» имеют синонимическое значение. «В деятельности Русского географического общества,— пишет историк русской статистики,— ⟨...⟩ география, этнография и статистика довольно долгое время переплетались причудливым образом».[2] Можно сказать, что экономическая география, статистика и этнография мыслились как единый комплекс народоведения и что активная работа в этой области была связана с антикрепостнической идеологией.

Либеральные народоведы стремились подорвать позиции крепостников конкретными и напрашивающимися на обобщение фактами, в то же время бронируясь от цензуры объективностью и научностью своих статистических и этнографических исследований и даже выполняя эти исследования на казенный счет и по поручению казенных учреждений.

Реакционеры это хорошо понимали. П. П. Семенов-Тян-Шанский осторожно пишет в официальном издании о тогдашней статистике: «Специальных статистических органов, кроме небольших статистических отделений в министерствах внутренних дел и государственных имуществ, не существовало. На исследования и объяснения явлений национальной экономической и общественной жизни органы администрации, и в особенности цензурные, смотрели даже несколько подозрительно».[3]

---

[1] Берг Л. С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. М.—Л., 1946, с. 33.

[2] Птуха М. В. Указ. соч., с. 19.

[3] Семенов П. П. История полувековой деятельности Императорского русского географического общества. 1845—1895. СПб., 1896, ч. 1, с. 40—41.

Министерство внутренних дел недаром названо здесь рядом с министерством государственных имуществ. При министре Перовском оно тоже стало приобретать репутацию либерального министерства. «Примерно с середины 1842 года,— пишет Ю. Г. Оксман,— вскоре после крушения в Государственном совете проекта коренных реформ крепостных отношений, над которым в течение нескольких лет работал, по личному заданию Николая I, министр государственных имуществ П. Д. Киселев, главным штабом по подготовке освобождения крестьян становится министерство внутренних дел. Новый шеф этого министерства Л. А. Перовский, в молодости член подпольных декабристских организаций — «Военного общества» и «Союза благоденствия», пользовался репутацией активного антикрепостника, человека независимого и исключительно энергичного. С конца 1842 года в Особенной канцелярии министерства внутренних дел, руководимой В. И. Далем, начинается собирание и разработка материалов о положении «дворовых людей, как составляющих домашнюю прислугу помещиков, так и обслуживающих ремесленные и фабрично-заводские предприятия, а равно и частных лиц». В этой же Особенной канцелярии шла подготовка законопроектов, о масштабе которых мы можем судить хотя бы по докладной записке Л. А. Перовского «Об уничтожении крепостного состояния в России», представленной Николаю I в 1845 г. 〈...〉 О ненависти к Перовскому в реакционных помещичьих кругах красноречиво свидетельствует и одно из позднейших секретных донесений Булгарина на имя начальника III Отделения: „В Москве появилась карикатура — идет тень Пугачева, опираясь одной рукой на плечо Перовского, а другою — на плечо Киселева“».[1]

Помимо Особенной канцелярии, руководимой Далем, центром либерализма в этом министерстве был хозяйственный департамент, директором которого был один из главных будущих деятелей крестьянской реформы Н. А. Милютин. В этом департаменте еще в 30-е годы, до основания министерства государственных имуществ, служили и Одоевский с Заблоцким. Мемуаристы указывают на В. И. Даля, Н. А. Милютина

---

[1] Оксман Ю. Г. И. С. Тургенев на службе в министерстве внутренних дел.— Уч. зап. Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского, т. LVI, 1957, с. 176.

и Н. И. Надеждина — редактора «Журнала Министерства внутренних дел» — как на чиновников, наиболее приближенных к министру.[1]

В работах дореволюционных и советских авторов Далю этой поры часто приписываются реакционные взгляды. Думается, что причиной этого являются: 1) перенесение более поздних взглядов и высказываний Даля на эпоху 40-х годов, 2) недоучет общей направленности и смысла народоведения той эпохи, 3) неразработанность материалов, освещающих позицию Даля как крупного и влиятельного чиновника, 4) недостаточно четкое представление исследователей о пограничной линии между реакционерами и умеренными либералами того времени.

Среди либеральных чиновников обоих названных министерств имелись выдающиеся ученые: экономисты-статистики и этнографы. Большой победой либеральных народоведов было основание в 1845 году Русского географического общества.

Организация общества произошла в квартире Даля; среди нескольких членов-учредителей — В. Ф. Одоевский, «самый близкий» человек к Далю в эту пору,[2] А. И. Левшин — председатель Ученого комитета министерства государственных имуществ, впоследствии видный деятель крестьянской реформы, К. И. Арсеньев — либеральный профессор, удаленный еще при Александре I из университета за издание «крамольного» учебника статистики России, а в эту пору — начальник статистического отделения министерства внутренних дел. Разрешение царя на основание общества и отпуск средств из казны на его исследования выхлопотал Л. А. Перов-

---

[1] «Даль и Надеждин,— пишет П. И. Мельников-Печерский,— вели самые важные дела в министерстве под личным руководством самого министра, вели их весьма нередко помимо подлежащих департаментов. Мне самому, перед отъездом в одну командировку, случилось выслушать такое приказание графа Перовского: „О прямой цели поручения никому ни слова не говорите, кроме Даля, Надеждина и Милютина“» (Мельников П. И. Владимир Иванович Даль. Критико-биографический очерк.— В кн.: Даль В. И. Полн. собр. соч. СПб., М., 1897, т. 1, с. LII—LIII). О влиянии и значении в министерстве В. И. Даля и Н. А. Милютина см. также в «Поздних воспоминаниях» А. Д. Шумахера («Вестник Европы», 1899, № 3, с. 121—127).

[2] Мельников П. И. Указ. соч., с. XXXVII. В архиве В. Ф. Одоевского в Гос. Публичной б-ке им. Салтыкова-Щедрина хранится написанный его рукой «Временный устав Русского географического общества».

ский — первый почетный член общества и — одно время — его председатель. К 50-м годам, как видно из истории общества и мемуаров, наиболее влиятельными членами общества, фактическими руководителями отделений этнографии и статистики были Н. А., В. А. и Д. А. Милютины, Н. И. Надеждин, В. И. Даль, А. П. Заблоцкий-Десятовский, К. С. Веселовский, К. Д. Кавелин. В отделении этнографии председательствовал Н. И. Надеждин, в отделении статистики — Заблоцкий (при помощнике председателя К. С. Веселовском и секретаре В. А. Милютине). Все эти деятели, по словам П. П. Семенова-Тян-Шанского, «жаждали не только сближения с русским народом и изучения его быта и национальных особенностей, но и освобождения его от крепостной зависимости» и поэтому «обратили усиленное внимание на изучение русского народного быта и аграрных отношений между помещиками и крестьянами». [1]

В 1847 году общество разослало во все губернии свыше семи тысяч экземпляров программы собирания этнографических сведений, составленной Н. И. Надеждиным. Приводимые в книге Л. С. Берга пункты, исключенные в корректуре этой программы, показывают, в какую сторону были направлены этнографические интересы общества. Надеждин пытался получить ответы на вопросы о том, как раскладывается и выполняется барщина, какую часть крестьянского бюджета составляет оброк помещику и т. п. [2] Значение этих вопросов ясно без комментариев.

Любопытно также, что «начиная с 1847 г. в Отделении статистики неоднократно возникал вопрос об углубленном изучении положения рабочих в России». [3]

Русское географическое общество (в особенности отделение этнографии и статистики) было цитаделью либерализма 40-х годов, но включало и более «левые» элементы. Историк Географического общества перечисляет следующих членов его, «замешанных в деле

---

[1] Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары. Пб., 1915, т. 3, с. 13, 17.

[2] См.: Берг Л. С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. М., 1963.

[3] Птуха М. В. Очерки по истории статистики в СССР. М., 1959, т. 2, с. 71.

петрашевцев: Н. А. Спешнев, А. И. Европеус, Н. С. Кашкин, П. А. Кузьмин, В. А. Милютин, П. П. Семенов, А. П. Баласогло, Н. Н. Колошин и В. И. Романович».[1]

6

Репутацией «либеральных» пользовались в 40-е годы и некоторые великосветские салоны: таким был в особенности двор великой княгини Елены Павловны, поддерживавшей дружеские отношения с П. Д. Киселевым, В. Ф. Одоевским, Н. А. Милютиным и другими видными либералами. Более широкий круг имел возможность постоянного общения на многолюдных «четвергах» Даля, «субботах» Одоевского и других еженедельных сборищах, посещаемых литературной, научной и чиновной интеллигенцией Петербурга 40-х годов.

Одним из центров петербургского либерализма конца 40-х — начала 50-х годов было и «Общество посещения бедных». Характеристика его в цитированных выше комментариях К. И. Чуковского к «Филантропу» как чисто аристократического, великосветского общества — неверна. Нам известны три печатных списка членов «Общества посещения бедных» — за 1847,[2] 1850[3] и 1852 годы.[4] Эти списки свидетельствуют о том, что Общество было смешанным по своему социальному составу: были в нем и князья, и графы, но они отнюдь не составляли большинства. Много было чиновников — в особенности из министерства государственных имуществ и министерства внутренних дел. В Обществе участвовал ряд членов Русского географического общества. В особенности интересно участие в Обществе многих писателей, из которых отметим прежде всего самого автора «Филантропа», значащегося в списке 1852 года, то есть незадолго до написания этой сатиры.

В Общество входила значительная часть петербургского окружения Белинского и Некрасова, ряд писателей «натуральной школы», сотрудников «Современника». В списках мы находим имена П. В. Анненкова, В. П. Гаевского, Е. П. Гребенки, А. В. Дружинина,

---

[1] Вальская Б. А. Первые попытки описания России Географическим обществом.— «Вопросы географии», сб. 31, М., 1963, с. 135.

[2] «С.-Петербургские ведомости», 1847, № 195.

[3] Список гг. членов Общества посещения бедных. 1-го мая 1850 года. СПб., 1850, 15 с.

[4] «Русский архив», 1869, № 6, стлб. 1039—1046.

В. Р. Зотова, А. А. Краевского, М. Н. Лонгинова, А. В. Никитенко, И. И. Панаева, В. А. Соллогуба, А. Н. Струговщикова, И. С. Тургенева. Любопытно отметить, что более половины участников «Петербургского сборника», изданного Некрасовым в 1846 году, были членами «Общества посещения бедных». Входили в Общество и люди, не участвовавшие в литературной жизни, но лично близкие к кругу Белинского: А. А. Комаров, А. С. Комаров, В. А. Косиковский, Н. А. Краснокутский, И. И. Маслов, Н. Н. Тютчев, М. А. Языков.[1]

Участие Некрасова в «Обществе посещения бедных» не является нашим открытием. О нем упоминается в основном мемуарном источнике по истории общества — «Записках» В. А. Инсарского.[2] Оно отмечено в единственном биографическом справочнике по Некрасову[3]— со ссылкой на список 1852 года. Тем не менее о нем не упоминает ни К. И. Чуковский в своих комментариях к «Филантропу», ни другие авторы, писавшие об этом произведении или о жизни Некрасова в данный период. Между тем вряд ли правомерно игнорировать этот факт. Судьба рано столкнула Некрасова с жизнью петербургской бедноты и, раскрыв перед ним «бездны темные насилия и зла, труда и голода», дала ему возможность стать певцом «печальных бедняков, рожденных для труда, страданья и оков». Но с изменением материального положения Некрасова непосредственный контакт с петербургской беднотой был разомкнут, прямых и естественных возможностей общения с ней больше не было. Став членом-посетителем

---

[1] К. И. Чуковский односторонне изображает и отношение тогдашней печати к «Обществу посещения бедных»: «В обывательской журналистике того времени было принято восхвалять это общество в гиперболическом тоне» (I, 546). Но вот отзыв из фельетона петрашевца А. Н. Плещеева: «Роман г. Гончарова («Обыкновенная история».— *Б. Б.*) весьма интересен; но отчет «Общества посещения бедных» еще интереснее. Мы особенно порадовались этому призыву к целой массе публики; мы рады всякому соединению, особенно соединению на доброе дело ⟨...⟩. Распоряжения Общества при раздаче вспоможений превосходны и показывают необязанную филантропию, глубоко понявшую свое назначение» («С.-Петербургские ведомости», 1847, № 81. Цит. по кн.: Фельетоны сороковых годов. Ред. Ю. Г. Оксмана. М.— Л., 1930, с. 193).

[2] Инсарский В. А. Записки. СПб., 1898, ч. 2, с. 293. В. А. Инсарский — видный чиновник министерства государственных имуществ, деятельный член-распорядитель «Общества посещения бедных».

[3] Ашукин Н. С. Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова. М.— Л., 1935, с. 120.

«Общества посещения бедных», Некрасов получил новые возможности наблюдений над жизнью обитателей «петербургских углов». Вероятно, эти наблюдения сказались и в его творчестве,— например, в стихотворении «В больнице», где описано посещение автором бедняка, умирающего в больнице, а по первоначальному тексту — в «мрачном подвале». С другой стороны, здесь, в «Обществе посещения бедных», Некрасов впервые познакомился с представителями «высшего общества», ставшего в дальнейшем постоянной мишенью его сатиры.

Зная списки членов «Общества посещения бедных» лишь за три года из девяти (оно существовало с 1846 до 1855 года), мы, очевидно, не обладаем полными данными о составе общества, тем более что этот состав, видимо, был достаточно текучим. В мемуарах встречаются указания на лиц, не обозначенных в трех списках. Особенно интересно указание В. А. Инсарского на участие в обществе А. П. Заблоцкого-Десятовского. [1] В фондах Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина сохранилось несколько печатных избирательных бюллетеней общества, вероятно поступивших туда с бумагами Одоевского. Они содержат ряд имен, не вошедших в известные нам списки. Между ними особенно любопытны имена В. А. Милютина и будущего видного деятеля польского восстания Иосафата Огризко.[2] Среди этих бюллетеней сохранился и тот, по которому баллотировался в общество Некрасов. На этом бюллетене имеется карандашная пометка вверху: «Изб. 26 марта 1851». Таким образом устанавливается дата вступления Некрасова в Общество. Кандидатура Некрасова была предложена М. Н. Лонгиновым, З. Н. Мухортовым [3] и М. А. Языковым.

В связи с тем, что в Общество входил ряд видных лиц либерального толка, естественно встает вопрос: каков же был удельный вес этой группы? Может быть,

---

[1] Инсарский В. А. Указ. соч., ч. 1, с. 200.

[2] Интересны также имена П. Г. Редкина, А. Д. Улыбышева, Г. А. Кушелева-Безбородко, С. Д. Полторацкого, Александра и Владимира Карамзиных и др.

[3] З. Н. Мухортов — агроном, впоследствии вице-президент Вольного экономического общества. Он дважды упоминается в коллективном (Некрасова, Тургенева и Дружинина) «Послании к Лонгинову» (1854), где назван и ряд других членов «Общества посещения бедных».

они тонули в массе аристократов, бюрократов, офицеров, промышленников и т. д.? Чтобы разобраться в этом, скажем несколько слов о структуре общества.

В нем, судя по известным нам спискам, одновременно состояло обычно около полутораста членов-посетителей, но на ход дел они имели мало влияния: дела Общества решались, в основном, «распорядительным собранием», то есть десятком членов-распорядителей. Прием в Общество не был открыт для всех желающих; кандидаты баллотировались общим собранием; но для того, чтобы получить право баллотироваться, надо было иметь рекомендации трех членов общества; во всех известных нам случаях это были рекомендации членов-распорядителей. До общего собрания кандидаты подвергались еще «предварительному рассмотрению» в «распорядительном собрании».

По словам В. А. Инсарского, «огромное число членов-посетителей смотрело на членов-распорядителей как на людей избранных и власть имеющих и находилось под несомненным влиянием Распорядительного собрания».[1]

Всем этим обеспечивался полный контроль «распорядительного собрания» над составом, характером и направлением деятельности общества.

Кто же входил в число членов-распорядителей, определявших лицо Общества и направление его деятельности? Среди них мы видим Соллогуба, Никитенко, Панаева, Краевского, Маслова, Лонгинова — лиц, хорошо известных истории литературы,— и таких людей, как князь Д. А. Оболенский, личный друг Н. А. Милютина и великой княгини Елены Павловны, человек, не чуждый литературе, встречавшийся с Некрасовым, или Д. П. Хрущов, о котором Инсарский говорит как об особенно влиятельном лице в «Обществе посещения бедных», «могущественнейшем члене Распорядительного собрания».[2] Охарактеризуем вкратце эту личность. Блестящий молодой бюрократ, генерал (действительный статский советник) в тридцать пять лет, любимец Киселева, в эту пору — управляющий Петербургской палатой государственных имуществ, а вскоре — товарищ министра государственных имуществ. Камергер импе-

---

[1] Инсарский В. А. Общество посещения бедных.— «Русский архив», 1869, № 6, стлб. 1010.

[2] Там же, стлб. 1009.

раторского двора. Близкий личный друг великой княгини Елены Павловны. Убежденный филантроп, основательно занимающийся благотворительностью. Лишь за несколько месяцев до написания сатиры Некрасова — в декабре 1852 года — в «Современнике» была напечатана статья Д. П. Хрущова «Благотворительные заведения в Лондоне» — подробное описание общественных прачечных, рабочих бань, семейных квартир и тому подобных благотворительных учреждений, специально и тщательно изученных им в Лондоне. Корреспондент герценовского «Колокола».[1] Составитель и издатель (за границей) не утративших и поныне исторического значения «Материалов для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России». Последние годы жизни (он умер в 1864 году) был сенатором, как и Одоевский. Это тоже яркий представитель того круга людей, который имеет в виду Некрасов в «Филантропе».

Текущими делами Общества распоряжались председатель его В. Ф. Одоевский и секретарь-казначей Н. С. Кирилов.

Н. С. Кирилов давно попал в сферу внимания истории русской общественной мысли в качестве издателя «Карманного словаря иностранных слов», составленного в основном М. В. Петрашевским и В. Н. Майковым. Но характерно, что даже в специальных статьях, посвященных «Карманному словарю», нет упоминаний о деятельности Кирилова в «Обществе посещения бедных». [2] И не потому, что этот факт был неизвестен. Еще В. И. Семевский в своей книге о петрашевцах указал, со ссылкой на мемуары В. Р. Зотова: «Кирилов, кроме того, состоял секретарем «Общества посещения бедных», председателем которого был довольно известный писатель кн. Вл. Фед. Одоевский». [3] Но исследователями истории русской общественности «Общество посещения бедных» до такой степени не замечено, что, тщательно

[1] См.: Клевенский М. М. Герцен-издатель и его сотрудники.— «Лит. наследство», М., 1941, т. 41—42, с. 613.

[2] См.: Малеин А. И. и Берков П. Н. Материалы для истории «Карманного словаря иностранных слов» Н. Кирилова.— Труды Института книги, документа и письма. III. Статьи по истории энциклопедий (ч. 2). Л., 1934; Смирнов-Сокольский Н. Рассказы о книгах. М., 1959, с. 372—384.

[3] Семевский В. И. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922, ч. 1, с. 58—59.

собрав скудные сведения о Кирилове, они не считали нужным даже упомянуть о его работе в этом Обществе, не придавая ей никакого значения. В свете того, что сказано выше о составе «Общества посещения бедных», центральное положение Кирилова в этом Обществе заставит, может быть, пересмотреть обычный взгляд на него как на тупицу-офицера, никак не связанного с передовыми кругами общества и не имевшего понятия о том, что он случайно выпустил в свет.

7

Можно, таким образом, указать ряд очагов чиновничьего и даже сановного либерализма в учреждениях, обществах и салонах Петербурга 40-х годов, можно наметить довольно значительный круг видных чиновных либералов. Люди этого круга, происходившие, как правило, из «хороших семейств» — старых культурных дворянских родов,— отлично образованные и воспитанные, заметно отличались от того обычного круга петербургских чиновников разных рангов, который так усердно описывался тогдашней литературой. Верхушка этого круга принадлежала к «большому свету», к придворному обществу, видные представители его были связаны с литературой и наукой, наиболее «левые» соприкасались с петрашевцами.

Положение этих людей было двойственным, что определялось прежде всего отношением к ним их коронованного повелителя.

Николай I не выносил либерального духа. Но нельзя было даже подготовительные работы к освобождению крестьян поручить крепостникам,— значит, надо было терпеть либералов на этом участке высшего бюрократического аппарата.

Не все противники крепостного права были врагами монархии; чиновные либералы, о которых сейчас идет речь, были верны царю. Но все противники монархии были врагами крепостного права. Поэтому принадлежность к либеральному, антикрепостническому лагерю непременно внушала подозрение в политической неблагонадежности — подозрение, всемерно раздуваемое крепостниками, врагами каких бы то ни было реформ, людьми, которым царь доверял безусловно.

Третье отделение, в секретных отчетах сравнивая «крепостное состояние» с «пороховым погребом под

государством» и убеждая царя начать подготовку крестьянской реформы,[1] в то же время бдительно следило за толками об освобождении, занося в «неблагонадежные» тех, кто высказывал подобные стремления в печати, лекциях, письмах, разговорах. В частности, в крамоле изобличалось министерство государственных имуществ; так, во «всеподданнейшем отчете» за 1841 год Бенкендорф инсинуирует (якобы со слов «публики»), «что учреждением сего министерства нарушена крепость основания российской монархии ко вреду самодержавия, что это — государство в государстве 〈...〉 — пример, вредный для крепостных людей; уважение дворянства к властям и крестьян к помещикам потрясено».[2]

Лично Киселеву, так же как и Перовскому, царь, видимо, доверял, несмотря на изъян в биографии каждого из них. «В блестящей и быстро развертывавшейся карьере Киселева,— пишет Н. М. Дружинин,— было одно расплывчатое и темное пятно — его заподозренные и невыясненные отношения с декабристами».[3] Что до Перовского, он даже значился в «Алфавите членов бывших злоумышленных тайных обществ» — настольном справочнике Николая I.[4]

Вообще же чиновные либералы были у царя на постоянном подозрении и, в сущности, совмещали положение крупных и влиятельных чиновников с положением лиц не вполне легальных.

Эту ситуацию можно иллюстрировать колоритным эпизодом. При обыске по делу Петрашевского у В. А. Милютина была изъята рукопись записки А. П. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России». П. П. Семенов-Тян-Шанский описывает в своих воспоминаниях, какой переполох это вызвало в семье Милютиных — племянников П. Д. Киселева, боявшихся, чтобы обнаружение этой записки «не послужило к аресту многих лиц», и как все кончилось благополучно благодаря тому, что председатель «особенной комиссии для разбора всех бумаг арестованных лиц» А. Ф. Голицын, будучи «страстным любителем редких манускриптов», предпочел не сообщать членам

---

[1] Крестьянское движение 1827—1869 годов. Вып. 1. М., 1931, с. 31—32.

[2] Там же, с. 44—45.

[3] Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. 1, с. 504.

[4] Восстание декабристов. Материалы. Л., 1925, т. 8, с. 149.

комиссии об изъятой рукописи, а присвоил ее и присоединил к своей коллекции.[1] Таким образом, сочинение преуспевающего видного чиновника, любимца и друга министра, написанное по поручению министра для представления царю, могло, в зависимости от ситуации, трактоваться и как опасная нелегальщина, обнаружение которой могло грозить арестом не только автору, но «многим лицам».

Другой иллюстрацией своеобразного положения группы либеральных филантропов может служить запись в дневнике В. Ф. Одоевского от 9 марта 1862 года: «Я нечаянно узнал, чего мне в голову не приходило, что император Николай Павлович считал меня самым рьяным демагогом, весьма опасным, и в каждой истории (напр., Петрашевского) полагал, что я должен быть тут замешан».[2]

Такое отношение царя к людям типа Одоевского ярко сказалось и на судьбе созданного и руководимого Одоевским «Общества посещения бедных». Вот что рассказывает об этой судьбе близкий друг Одоевского, член-распорядитель общества Н. В. Путята:

«Успехи общества, свидетельствуя о предпочтительном доверии к нему благотворительных лиц и публики, доставили ему также многих недоброжелателей и, странно сказать, возбудили зависть соперничества. Стали внушать, что под покровом благотворительности во многих обществах и прежде таились политические замыслы и заговоры; что трудно поверить, чтоб столько людей, большею частию занятых службою или имеющих иные обязанности, употребляли свое свободное время на отыскание и посещение бедных по разным трущобам в отдаленных кварталах столицы или просиживали до глубокой ночи в душной конторе, для распределения и раздачи им чужих денег и приискания к тому средств, единственно из какой-то человеколюбивой цели, без всякой задней мысли; что значительные средства, коими располагает Общество, не имея никаких основных капиталов, представляют также что-то загадочное и многое т. п. Февральская революция во Франции, учреждение там демократическо-социальной республики и народные волнения во многих столицах Европы подали повод усилить распускаемые про

---

[1] См.: Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары. Пг., 1917, т. 1, с. 206—207.
[2] «Лит. наследство». М., 1935, т. 22—24, с. 146.

«Общество посещения бедных» слухи. Многие видели даже что-то угрожающее в том, что Общество имело у себя более 8 тысяч адресов бедных... Такие слухи, как бы ни были они ложны и нелепы, не остались без последствий. Общество было заподозрено. Над ним сбирались тучи, и оно ожидало своего закрытия». Николай I, однако, ограничился тем, что в 1848 году поставил общество под бдительный контроль и мелочную опеку «Императорского человеколюбивого общества», которое «состояло из чиновников на государственной службе, получающих жалованье и награды, управлялось бюрократическим порядком и действовало в этом духе». «Человеколюбивое общество» стало упорно и планомерно душить «Общество посещения бедных», из которого, к тому же, приказано было выйти всем военным. «В один день выбыло из Общества более 70 человек, из коих многие были самыми ревностными и полезными его членами».[1] «Мы,— пишет Инсарский,— оборванные, стесненные, обиженные, привязанные к мертвому трупу, именуемому «Императорским человеколюбивым обществом», с отвращением влачили свое тяжелое существование и не умирали потому только, что боялись собственным самоубийством разгневить грозного Николая».[2] Окончательно захирев, общество было упразднено в 1855 году.

Состав «Общества посещения бедных» показывает неверность цитированного выше утверждения, будто бы «Филантроп» — «явная насмешка над этим обществом», в которое входил почти весь круг Белинского, в котором Некрасов и сам принимал участие, если не в пору создания стихотворения (даты выхода Некрасова из Общества мы пока не знаем), то, во всяком случае, незадолго до написания его. Но в этом Обществе Некрасов получил возможность наблюдать изображенных в его сатире чиновных либералов, филантропов и народолюбцев, обычно высокородных и светских, с «сиятельными» титулами и придворными званиями.

Стихотворение «Филантроп» показывает, что Некрасов в 1853 году относился к этому кругу людей не так, как Белинский и он сам в 40-е годы. Это не значит, что Некрасов изменил заветам Белинского—

[1] Путята Н. Князь Владимир Федорович Одоевский и Общество посещения бедных просителей в Петербурге.— В кн.: В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском. М., 1869, с. 19, 28.
[2] Инсарский В. А. Указ. соч., с. 276.

напротив, это значит, что он остался им верен, ибо сохранение прежних оценок в изменившихся исторических условиях называется эпигонством, а не верностью заветам.

Выше уже говорилось об отношении Белинского к Одоевскому, к его и Заблоцкого «Сельскому чтению». В работе Ю. Г. Оксмана «Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ» не только фиксирована исключительно высокая оценка Белинским трудов Заблоцкого-Десятовского, но и придано большое значение «встречам и беседам Белинского с А. П. Заблоцким-Десятовским на самые острые политические темы» и доказано, что Белинский опирался «на материалы устной информации этого влиятельного и широко осведомленного бюрократа» в своих оценках деятельности П. Д. Киселева и его соратников.[1]

Прозорливо понимая, что в тогдашней ситуации крестьянская революция не могла бы иметь шансов на успех (тема горячих споров Белинского с Бакуниным в Париже в 1847 году), и в то же время страстно стремясь к освобождению крестьян из-под власти помещиков, Белинский считал нужным поддерживать любые, даже недалеко идущие, стремления и усилия в этом направлении. Понимая, конечно, как далеки от его взглядов взгляды людей типа Одоевского и Заблоцкого, Белинский всегда оказывал им в печати полную поддержку. Стремясь поддержать силой общественного мнения антикрепостнические элементы в правительстве Николая I, Белинский шел даже на то, чтобы печатно хвалить правительство за обращение им «особенного внимания на положение и быт народа», за публикацию «статистических сведений, заключающих в себе драгоценные факты для изучения даже нравственного состояния быта и характера народа», в особенности за «учреждение Министерства государственных имуществ» (X, 366—367). Характерно, что эти похвалы мы находим в рецензии Белинского на очередную книжку «Сельского чтения»,— рецензии, являющейся вообще одной из последних работ Белинского.

Идея подрыва крепостнической идеологии путем глубокого этнографического и статистического изучения жизни, положения и нужд народа, в первую оче-

[1] Оксман Ю. Г. От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника», с. 211—214 и 240—241.

редь крепостного крестьянства, находила в Белинском несомненное сочувствие. Связь с этой идеей чувствуется в установках «натуральной школы». Вряд ли нужно оговаривать, что для Белинского, в системе его основных взглядов, эта идея имела гораздо более узкое значение, чем для Заблоцкого, или Журавского, или Надеждина, или Даля. Но ведь на уровне идей Белинского никто в тогдашней России не стоял, идейных соратников у него почти не было, и, стремясь к созданию широкого антикрепостнического фронта, он мог включать в программу этого фронта лишь то, что не отпугивало возможных его участников,— это с большой убедительностью показал Ю. Г. Оксман в своем анализе письма Белинского к Гоголю. Это характерно и для той пропаганды этнографического изучения России, которую Белинский ведет в 1844—1848 годах. В написанном им «Вступлении» к «Физиологии Петербурга» с наибольшим пафосом выражается мысль о том, что «у нас совсем нет беллетристических произведений, которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России, которая заключает в себе столько климатов, столько народов и племен, столько вер и обычаев и которой коренное русское народонаселение представляется такою огромною массою, с таким множеством самых противоположных и разнообразных пластов и слоев, пестреющих бесчисленными оттенками» (VIII, 376—377). Характерна необычно высокая оценка Белинским в последние годы его жизни творчества Даля. «После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе»,— пишет он о Дале в обзоре «Русская литература в 1845 году» (IX, 399), во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» объявляет выведенные Далем типы беспардонных кутил-офицеров «созданиями гениальными» (X, 348); в рецензии 1847 года называет «физиологические очерки» Даля «перлами современной русской литературы» (X, 83). Главным достоинством Даля, наряду с умением схватывать характерные черты различных групп народа, «лицо типическое сделать представителем сословия» (IX, 399), Белинский считает «деятельную, практическую любовь» к «простому русскому человеку» (X, 80) и глубокое знание его жизни: «Изо всех наших писателей, не исключая и Гоголя, он особен-

ное внимание обращает на простой народ, и видно, что он долго и с участием изучал его, знает его быт до малейших подробностей, знает, чем владимирский крестьянин отличается от тверского, и в отношении к оттенкам нравов, и в отношении к способам жизни и промыслам» (X, 260); «Г-н Даль — это живая статистика живого русского народонаселения» (X, 82).

Показ бесчеловечности и экономической несостоятельности крепостного права, с одной стороны, показ столичного пауперизма — с другой, особенно сближают «натуральную школу» с тенденциями, описанными выше.

Реакция 1848 года кардинально изменила ситуацию. Либералы, признавшие единственным путем ликвидации крепостного права отмену его «монаршею волей», немедленно отступились от всякой антикрепостнической деятельности, как только эта воля отвергла «эмансипацию». Более всего они старались теперь, чтобы их не притянули к ответу за недавние увлечения, ныне задним числом твердо признанные «заблуждениями». «В условиях усилившейся реакции внутри страны,— пишет советский исследователь истории русской экономической мысли,— либералы во главе с Заблоцким-Десятовским изменили тематику своих статистических исследований 〈...〉. Сам Заблоцкий-Десятовский отказался от прежних выступлений против крепостников и, став редактором «Земледельческой газеты», занялся пропагандой идеи рационализации помещичьего хозяйства, основанного на крепостном труде. Некоторые статистики совершенно прекратили свою исследовательскую работу. К. С. Веселовский 〈...〉 вместо политической экономии стал заниматься анализом статистических данных о петербургской погоде и ее колебаний в течение многих лет».[1]

[1] Каратаев Н. К. Русская экономическая мысль в период кризиса феодального хозяйства (40—60-е годы XIX века). М., 1967, с. 41. Сам К. С. Веселовский в позднейшем письме к И. И. Янжулу откровенно объяснил причину перемены специальности: «Когда за статью, напечатанную мною в 1848 году в «Отечественных записках» о «Статистике недвижимых имуществ в С.-Петербурге», я чуть было не подвергся административной ссылке в места не столь отдаленные обширного нашего отечества〈...〉, то, каюсь, не ощутил в себе охоты разыграть роль мученика за идеи и разом повернул на такие исследования, в которых можно было говорить безопасно всю правду, а именно на исследование климата России и его влияния на человека и его быт» (Янжул И. И. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864—1909 гг. Вып. 2. СПб., 1911, с. 75).

Какая паника охватила людей, причастных к кругу либералов, показывает поведение В. И. Даля. После перелома 1848 года он прекратил свои «четверги», на которых собирался цвет петербургской интеллигенции,[1] сжег свои многолетние записки и вскоре, можно сказать, бежал из столицы, где находился в центре административной, научной и литературной жизни, в Нижний Новгород, на скромную должность управляющего удельной конторой. Сожженные записки В. И. Даля П. И. Мельников-Печерский характеризует как «драгоценный материал для нашей истории 30-х и 40-х годов» и сообщает, что «впоследствии Даль часто жалел об их утрате, но всегда прибавлял: „В то тяжелое время поступить иначе мне было нельзя, я должен был беречь не себя, а министра; у него тогда было много врагов, стремившихся устранить его от государственной деятельности. Попадись тогда мои записки в недобрые руки, их непременно сделали бы пунктом обвинения Льва Алексеевича“».[2]

А сам Лев Алексеевич быстро раздул дело петрашевцев — с очевидной целью убедить царя в своей преданности ему и неповинности в либерализме.

Либералы, не занимавшие высоких постов или совсем не служившие, начали, по позднейшему выражению Щедрина, «годить». Такие люди, как Анненков или Боткин, которые не стояли на уровне идей Белинского, но все же составляли его ближайшее окружение, до последних дней были его интимными корреспондентами и собеседниками, теперь совершенно слиняли. Люди круга «Современника» увлекались гастрономией, чернокнижием, карточной игрой, незатейливыми похождениями... Ко всему этому Некрасов имел такое же отношение, как Дружинин, Боткин, Панаев или Лонгинов. Если судить по быту Некрасова, по его дружеским связям и времяпрепровождению, даже по составу авторов и характеру его журнала в эти годы, можно думать, что Некрасов вполне свой в этом кругу. Но у поэта есть область гораздо более глубокая и значимая, чем быт: это его поэзия. И поэзия Некрасова показывает, что в глубине его сознания совершается большой

---

[1] Очевидно, в это же время были ликвидированы «субботы» Одоевского. См. его «Письмо приятелю-помещику».— «Русский архив», 1879, т. 1, с. 525.

[2] Даль В. И. Полн. собр. соч. СПб., 1897, т. 1, с. LVIII.

сдвиг, назревает отчуждение от либерального круга,— отчуждение, которому еще не скоро, но обязательно суждено закончиться полным разрывом.

Отношение Некрасова к либералам еще не базируется на твердо осознанной общественно-политической платформе, но в его творческом воображении уже вырисовывается отрицательный тип либерала, первый абрис которого дан в «Филантропе». Начавшаяся переоценка пока захватывает круг либеральных бюрократов-народолюбцев, так позорно отступившихся и опустившихся в эпоху реакции, так ясно показавших жалкую негодность своего курса, своего политического и общественного поведения.

8

Сатирическое острие «Филантропа» направлено против либералов-благотворителей, проповедующих терпение и смирение; против писателей для народа, базирующихся на религиозно-монархической идеологии и обывательской морали; против мыслителей, стремящихся свет весь заново «к общей пользе изменить»,— но лишь посредством моральных наставлений, утилитарных советов, доброхотных даяний и начальственных предписаний.

Некрасов избирает героем сатиры либерального и сиятельного сановника, знаменитого благотворителя, признанного народолюбца. И не потому Некрасов восстановил первоначальную характеристику этого героя в изданиях после 1856 года, что хотел уязвить и обидеть Одоевского, а потому, что в других редакциях раскрытие типа было неполным.

В следующем, 1854 году Некрасов пишет повесть «Тонкий человек», в которой зло высмеивает тип либерального «говоруна», любителя гуманистических бесед, бесконечно далекого от народа и относящегося к нему с высокомерным пренебрежением. Это, в сущности, та же «черта современного общества», которую Некрасов вывел в «Филантропе», но теперь речь идет уже не о либеральной бюрократии, а о круге людей, гораздо более близких Некрасову. Вспомним, что среди «говорунов» названы имена «Горновский» и «Лодкин», вряд ли случайно столь созвучные Грановскому и Боткину (см.: 6, 423).

Тип либерального говоруна («Как Сократ красноречив») и барина-псевдодемократа Некрасов впервые нащупывает в «Филантропе». Придуманный Некрасовым тип ярко разоблачал чисто внешний, показной характер демократизма либерального барина, о котором молва твердит, что,

Словно с равными беседуя,
Он и с нищими учтив.

(I, 166)

Однако этот образ, видимо, не соответствовал характеру и манере поведения В. Ф. Одоевского. Первый опыт использования прототипа в сатире Некрасова не был вполне удачным в том отношении, что большое сходство героя с прототипом как бы заставляло приписывать последнему дурной поступок, в котором он, видимо, не был повинен. Против этого, как мы видели, и протестовал Одоевский. Это давало недоброхотам Некрасова возможность говорить о пасквиле, о том, что сатира «неблагородна и обидна».[1] Некрасов пренебрег этими попреками ради возможности рельефно выразить идею стихотворения. Успех «Филантропа», разумеется, ни в какой мере не был связан с наличием прототипа, который все более уходил в неизвестность, в то время как стихотворение становилось все более популярным.

Стремление дать образную характеристику и оценку барского «народолюбия» не завершилось в творчестве Некрасова созданием «Филантропа». В ближайшие годы Некрасов делает несколько набросков другого стихотворения, также посвященного «русским филантропам». В редакции, относящейся к 1855 году, стихотворение называется «Карета» и читается так:

О филантропы русские! Бог с вами!
Вы непритворно любите народ,
А ездите с огромными гвоздями,
Чтобы впотьмах усталый пешеход

[1] «Поэт и гражданин», стих 51. Конечно, «гражданин», в уста которого вложена эта характеристика,— друг и почитатель «поэта»; но необходимость как можно строже оценить свое творчество (без чего вступительное стихотворение к сборнику могло бы быть воспринято как автопанегирик) заставила Некрасова повторить здесь отзывы своих недоброжелателей. Подробнее об этом — в моей статье «Заметки о текстах стихотворений Некрасова» (сб.: Издание классической литературы. Из опыта «Библиотеки поэта». М., 1963, с. 248—254).

Или шатун мальчишка, кто случится,
Вскочивши на запятки, заплатил
Увечьем за желанье прокатиться
За вашим экипажем...

(I, 412)

Тема эта получит свое завершение в конце первой части стихотворения «О погоде» (1859). Предшествуют же приведенному тексту «Кареты» два наброска, видимо еще не отпочковавшиеся от какого-то более обширного замысла. Первый набросок начинается словами:

Хотелось бы кой-что сказать и тем,
Которые о бедняках хлопочут...

Второй:

Хотелось бы и тем сказать словечко,
Которые жалеют бедняков.

(I, 505)

Для характеристики существеннейшей черты филантропов Некрасов находит выражение не сразу. «Те, которые о бедняках хлопочут»,— это простое обозначение деятельности филантропов, не раскрывающее их сути. «Те, которые жалеют бедняков»,— это еще неполное выражение той мысли, которая в третьей редакции выражается словами: «Вы непритворно любите народ». Что значат эти слова? Может быть, «непритворно» употреблено иронически вместо «притворно»? Такая ирония не только была бы аляповата для Некрасова, она просто обессмыслила бы стихотворение, сняв лежащее в основе его противопоставление. Нет, речь идет о людях, действительно жертвующих для бедняков и досугом, и деньгами и непритворно, нелицемерно считающих себя человеколюбцами, подлинными христианами. А гвозди на запятках карет не противоречат их филантропическим понятиям: гвозди эти охраняют те привилегии, сохранение которых и являлось главной пружиной либерально-филантропической деятельности. Эта филантропия ведь основана на идее законности социального неравенства всех видов, недаром Одоевский в «Русских ночах» считает, что идею равенства внушает человеку дьявол.[1] Карета и выезд для той эпохи — символ богатства и знатности.[2] Тот, кто не име-

[1] См.: Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975, с. 77.
[2] Ср. рассказ Некрасова «Карета» или стихотворение Добролюбова «Когда, среди зимы холодной...».

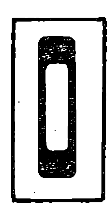
ет «наследственного» или «благоприобретенного» для покупки кареты, не должен претендовать на место даже на ее запятках. Одной из основных целей «Общества посещения бедных», по мысли его вдохновителя, было ограждение богатых благотворителей от «порочного нахальства» развращенных нищих. Гвозди на запятках так же ограждают от «порочного нахальства», как и изгнание пьяного просителя; стихотворение «Карета» выражает ту же идею, что и стихотворение «Филантроп».

Написанный в 1853 году, «Филантроп» был напечатан лишь в 1856-м, в преддверии новой эпохи. Крепостничество, указывает В. И. Ленин, «порождало солидарный протест и борьбу всей интеллигенции, создавая иллюзию об особом демократизме нашей интеллигенции, об отсутствии глубокой розни между идеями либералов и социалистов».[1] Решение правительства отменить крепостное право ликвидировало и ту степень солидарности, которая еще могла существовать между демократами и либералами в качестве сторонников «эмансипации». Теперь вопрос стал уже не о том, быть или не быть крепостному праву, а о том, как будет проведено освобождение; теперь сказалась солидарность либералов с реакционерами в их стремлении провести отмену крепостного права безболезненно для материальных интересов помещиков; теперь одной из важнейших идеологических задач революционно-демократической пропаганды стала борьба с либералами. В эту пору стихотворение «Филантроп», вскрывающее «барство дикое» в либеральном гуманисте, пришлось как нельзя более кстати и недаром быстро приобрело популярность.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 305.

ПАРОДИЯ НЕКРАСОВА НА ФЕТА



существленное в советское время всестороннее изучение Некрасова как великого художника слова привело, в частности, к тому, что исследователи поэта обратились и к тем его жанрам, которые ранее оценивались как «прозаичные», в том числе к сатире. Стали изучаться приемы некрасовской сатиры, среди которых одним из важнейших является пародирование. О пародиях Некрасова много говорится в статьях о его сатире, а две статьи специально посвящены его пародиям. Это статьи А. М. Гаркави «Некрасов-пародист»[1] и Н. А. Портновой «Пародия Н. А. Некрасова».[2]

Наиболее поздней пародией Некрасова является стихотворение «Лето». Н. А. Портнова называет его «замечательным образцом пародии, передающей «дух» автора»,[3] но уделяет ему лишь минимальное внимание; А. М. Гаркави только называет эту пародию, другие же исследователи вообще ничего не пишут о ней.

Приведем текст стихотворения по единственному автографу, хранящемуся в Рукописном отделе Государственной библиотеки им. В. И. Ленина:

ЛЕТО

Умирает весна, умирает,
Водворяется жаркое лето.
Сердит муха, комар снововляет
Укусить все роскошно одето!

Осязательно зреющий колос
Возвышается вровень с кустами.
По росе долетающий голос
Из лесов словно пахнет грибами...

---

[1] О Некрасове. Статьи и материалы. Ярославль, 1968, с. 65—87.
[2] Научные труды Барнаульского пед. ин-та, т. 20, 1972, с. 39—56.
[3] Там же, с. 52—53.

По утрам продолжительны росы,
А к полудню жары чрезвычайны...
. . . .
. . . .

От шмелей ненавистных лошадки
Забираются по уши в волны.
Вечера соблазнительно сладки
И сознательной жаждою полны.

Прикликает самец перепелку,
Дергачи голосят сиповато,
Дева тихо роняет иголку
И спешит, озираясь, куда-то.

А. Фет

Две строки, обозначенные здесь точками, соответствуют двум ненаписанным строкам, место для которых Некрасов оставил. Незаконченность стихотворения (как и явно пародийный характер его) ясно свидетельствует о том, что это собственные стихи Некрасова, а не переписанное им стихотворение Фета.

Впервые это стихотворение было опубликовано в посмертной подборке «Из бумаг Николая Алексеевича Некрасова» в «Отечественных записках» (1879, № 1, с. 61) без подписи «А. Фет» и без третьей строфы, что придавало стихотворению вид законченного.

В собрания стихотворений Некрасова «Лето» стало включаться лишь в советскую эпоху; оно печаталось в том же виде, как в первой публикации, а два стиха 3-й строфы приводились в комментарии. Только в издании Большой серии «Библиотеки поэта» стихотворение напечатано в том виде, какой оно имеет в рукописи.

Во всех изданиях, в которые включено стихотворение, оно датируется 1854 годом (в издании «Библиотеки поэта» — предположительно). К. И. Чуковский, впервые включивший стихотворение в собрание сочинений Некрасова, датировал его так на том основании, что тогда была пора дружеской близости Некрасова с Фетом и время, когда Некрасов писал много дружеских эпиграмм. Такая датировка может быть подкреплена и другими аргументами. В пародии выявлены те особенности поэзии Фета, которые стали характерными примерно с 1853 года и в 1854-м могли быть подмечены и пародийно воспроизведены. Как мы убедимся далее, основные объекты некрасовской пародии — стихи Фета 1854 года. Возможна датировка стихотворения и следующим, 1855 годом.

В этом году поэзия Фета подверглась тщательному изучению со стороны основного ядра тогдашнего «Современника» — под руководством Тургенева и при участии Некрасова, Дружинина, Боткина. С середины 1855 года по предложению Тургенева, принятому Фетом, кружок «Современника» занялся скрупулезной (и очень самоуправной) редактурой стихов Фета для их нового собрания, которое и вышло в начале 1856 года. Редакторы Фета пристально всматривались в его стихи, осваивали его поэтику и старались ее преобразовать исходя из своих эстетических понятий.

Переходя к анализу пародии, замечу прежде всего, что по сюжету и построению она имитирует стихи Фета о природе, нисколько не напоминая стихов самого Некрасова на эту тему. Стихи Фета часто посвящены описанию природы в тот или иной сезон и строятся как перечисления примет наступившей поры. Таковы среди стихов Фета 1854—1855 годов «Еще весны душистой нега...», «Ласточки пропали...», «Первая борозда», «Весна на дворе».

Именно так — как перечисление примет наступившего лета — построена и пародия Некрасова.

Для Фета характерно стремление описывать не просто весну, лето, осень или зиму, но более короткие и тем самым более определенные отрезки сезона; Фет особенно любит описывать переходные, пограничные периоды от весны к лету, от осени к зиме и т. п. Характерны для Фета в описаниях природы противопоставления, выделяющие приход нового периода: еще — но, вчера — сегодня:

Еще весны душистой нега
К нам не успела низойти,
. . . .
Но возрожденья весть живая
Уж есть в пролетных журавлях.[1]

Еще леса стоят в дремоте,
Но тем слышнее в каждой ноте
Пернатых радость и задор.

(с. 139)

[1] Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1959, с. 136. Далее в этой статье при ссылках на это издание страницы указываются в тексте.

Еще вчера, на солнце млея,
Последний лес дрожал листом.
Сегодня вдруг исчезло лето;
. . . .
Бело, безжизненно кругом.

(с. 160)

Вчера — уж солнце рдело низко —
Средь георгин я шел твоих,
И как живая одалиска
Стояла каждая из них.
. . . .
А нынче утренним морозом
Они стоят опалены.

(с. 284—285)

В пародии Некрасова никакого перехода от сезона к сезону нет — описывается чрезвычайно жаркое лето,— тем не менее он начинает стихотворение по-фетовски — формулой перехода от весны к лету:

Умирает весна, умирает,
Водворяется жаркое лето.

Фет дает признаки наступающей поры частично как сменяющие друг друга приметы определенной части суток:

Еще зарей гремит телега
На замороженном пути.
Едва лишь в полдень солнце греет...

(с. 136)

Это конец зимы, когда снег только на дневном солнце подтаивает.

А вот приметы наступающей осени:

А вчера зарей
Всё грачи летали.

. . . .
С вечера все спится,
На дворе темно.
. . . .
Ночью ветер злится
Да стучит в окно.

(с. 149—150)

И в тех стихах о природе, где нет установки на точную фиксацию примет сезона, Фет любит рисовать картину не одномоментную, но как бы движущуюся

во времени на протяжении какой-то части суток. Вот стихи, в которых вечер переходит в ночь:

Клубятся тучи, млея в блеске алом,—

а в конце:

Луна чиста. Вот с неба звезды глянут,
И, как река, засветит Млечный Путь.

(с. 212)

В стихотворении «Над озером лебедь в тростник протянул...» (1854) сначала мы видим, как лес «зубцами вершин» «в заре потонул», а в конце:

Уж начали звезды мелькать в небесах.

(с. 259)

В «Вечере у взморья» (1854), где сначала

День бледнеет понемногу,—

а в конце

Ночь светлеет и светлеет,
Под луною море млеет.

(с. 241)

В пародии Некрасова учтен этот метод — те приметы, которые связаны с определенным временем суток, даны пародистом в последовательности:

По утрам продолжительны росы,
А к полудню жары чрезвычайны...

Вечера соблазнительно сладки.

Отмеченные выше особенности поэтики Фета 50-х годов связаны с основным свойством его стихов этого времени о природе. Как я уже писал, «явления природы у него описываются детальнее, предстают более конкретными, чем у его предшественников. В стихах Фета мы встретим, например, не только традиционных птиц, получивших привычную символическую окраску, как орел, соловей, лебедь, жаворонок, но и таких, как лунь, сыч, черныш, кулик, чибис и т. п. И каждая птица

показана в ее своеобразии. Когда Фет в стихотворении «Степь вечером» пишет:

И слышу я, в изложине росистой
Вполголоса скрыпят коростели —

здесь в поэзию входят наблюдения человека, который определяет по голосу не только то, какая птица поет, но и где она находится, и какова сила звуков в отношении к обычной силе ее голоса, и даже каково значение услышанных звуков. Ведь в другом стихотворении («Жду я, тревогой объят...») в непроглядной тьме ночи коростель „хрипло подругу позвал“».[1]

О том, что эта особенность привлекла большое внимание современников, свидетельствует не только работа кружка «Современника» над текстами Фета, но и пародии на них.

Систематическое участие Фета в «Современнике» началось с 1854 года. В февральском номере этого года была помещена большая подборка — десять его стихотворений. Но в том же номере «Современника» в юмористическом приложении «Литературный ералаш» была помещена пародия «Нового поэта» «На дороге»,[2] в которой звучит насмешка над стихами Фета, помещенными в этой же книжке журнала: «Старый парк», «Степь вечером», «Лес», «Не спрашивай, над чем задумываюсь я...».

«Новый поэт» — псевдоним преимущественно И. И. Панаева; однако под этим псевдонимом печатались и стихи Некрасова,[3] и данная пародия могла принадлежать и ему. Стихам Фета из «Старого парка»:

Однообразный свист лишь слышен снегиря,
Да раздражает писк насмешливой синицы...

(с. 265)

соответствуют в пародии стихи:

Пронзительно кричит нахальная желна,
Трещит болтливый дрозд, и свищет трясогузка.

---

[1] Бухштаб Б. Я. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974, с. 92—93.

[2] См. текст этой пародии в кн.: Поэты 1840—1850-х годов. Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1972, с. 374.

[3] См. об этом мою ст.: «Некрасов в стихах „Нового поэта“».— Бухштаб Б. Я. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966, с. 78—90.

Однако снегирь и синица — птицы достаточно традиционные в поэзии: вспомним снегиря у Державина и синицу у Пушкина. Здесь пародист, вероятно, вспоминает луня («Вот лунь проплыл, не шевеля крылом»), перепела («Там перепел откликнулся вдали») и коростелей из «Степи вечером». Подобные стихи пародирует и Некрасов в «Лете»:

Прикликает самец перепелку,
Дергачи голосят сиповато...

Интересны слова «желна», «дергачи». Желна — это вид дятла (дятел упоминается в «Лесе» Фета), а дергач — вид коростеля. Здесь, помимо необычных в лирической поэзии названий птиц, быть может, высмеивается та детализация фауны и флоры по видам и разновидностям, которая не одобрялась «пестунами» Фета, требовавшими замен, в результате которых китайская роза превращалась просто в розу («Фантазия»), а «роза центифольная» заменялась «лилией стыдливой» («Купальщица»).

Как и у Фета, в пародии Некрасова описаны голоса птиц и значение издаваемых ими звуков.

С детализацией связаны и прозаизмы Фета, часто поражавшие в его стихах и сами по себе, и соседством с заведомыми поэтизмами. В пародии мы не случайно находим такие слова, как «водворяется», «сноровляет», «прохладительны», «чрезвычайны», «самец», «голосят сиповато». И тут же — «вечера соблазнительно сладки», «все роскошно одето». Ср. в пародии «На дороге»:

Роскошный чернозем подернул падший лист...

У Фета в самом деле конкретность наблюдений и, соответственно, прозаические слова сочетаются с поэтизмами. «Можно отметить постоянное употребление таких эпитетов, как «волшебный», «нежный», «сладостный», «чудный», «ласкательный» и т. п. Этот узкий круг условно-поэтических эпитетов прилагается к широкому кругу явлений действительности. Вообще эпитеты и сравнения Фета нередко страдают нарочитой «красивостью». 〈...〉 Но это не оправдывает распространенного определения поэзии Фета как «эстетского» искусства. Поэзии Фета нельзя понять, если не видеть, что элементы условной красивости спаяны в ней с живым, конкретным и сильным отражением реальности».[1]

---

[1] Бухштаб Б. Я. А. А. Фет.— В кн.: Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1959, с. 60—61.

Эпитет «роскошный» находим у Фета в стихотворении 40-х годов «Свеж и душист твой роскошный венок...».

Непосредственно после строк о перепелке и дергаче в пародии следуют строки о деве:

Дева тихо роняет иголку
И спешит, озираясь, куда-то.

Тут пародируется свойственная Фету постановка человека в один ряд с явлениями природы, как бы охваченного теми же чувствами и побуждениями, столь же бессознательно и мощно, как и живая природа. Так, весеннее возрождение, разливающееся повсюду, захватывает в финале стихотворения «Еще весны душистая нега...» (1854) и девушку. А в стихотворении (все того же 1854 г.) «Первый ландыш» сравнение девушки с ландышем подчеркивает бессознательность, инстинктивность ее переживаний:

Так дева в первый раз вздыхает —
О чем — неясно ей самой,—
И робкий вздох благоухает
Избытком жизни молодой.

(с. 138)

Эта неосознанность, инстинктивность стремлений девушки выражены в пародии бессознательным движением («Дева тихо роняет иголку») и заключительным словом пародии — «куда-то». Один из центральных в мировоззрении Фета мотивов «бессознательной силы» природы, действующей в человеке, как и во всем органическом мире, приводит к постоянным в его стихах «не помню», «не знаю», к тем «где-то» и «что-то», которые пародировал и Тургенев в не вполне пристойном отрывке, начинающемся словами «Где-то что-то веет, млеет...».[1] Возникающее поэтому впечатление «смутности» переживаний лирика вместе с пресловутой «непонятностью» стихов Фета высмеяны в последних строках пародии «На дороге»:

И все мне кажется, как будто бы сквозь сон,
Что сразу угадать мой стих никто не может!..

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. М.— Л., 1963, т. 6, с. 292.

Инстинктивное, стихийное усматривается Фетом и в живой природе, и в человеке. Природа у Фета очеловечена, как ни у одного его предшественника или современника. Это отмечено в пародии словами: «Вечера... сознательной жаждою полны». Жаждой чего? Дополнения к слову «жаждой» нет — как и у Фета в раннем (1843) стихотворении:

...лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой.
(с. 254)

И в позднем (1879):

Я рад, когда с земного лона,
Весенней жажде соприсущ,
К ограде каменной балкона
С утра кудрявый лезет плющ.
(с. 142)

Наибольшей остротой отличается, несомненно, вторая строфа пародии. Наблюдение, что колосья «возвышаются вровень с кустами» — очевидно, на краю поля,— само по себе не пародийно, но оно типично фетовское: недаром несколько лет спустя (в 1859 г.) Фет начал стихотворение аналогичным наблюдением:

По ветви нижние леса
В зеленой потонули ржи.
(с. 477)

Но останавливает внимание эпитет к колосу — «осязательно зреющий». Это, я полагаю, пародийная критика такого места из «Степи вечером»:

Все степь да степь. Безбрежная, как море,
Волнуется и наливает рожь.

«Рожь волнуется» и «рожь наливает» однородные, одномоментные, связанные впечатления. Эпитетом «осязательно зреющий» Некрасов хотел подчеркнуть, что созревание зерна — это процесс длительный, а не такое явление, которое взгляд прохожего может «осязать».

Два последних стиха второй строфы наиболее парадоксальные в пародии:

По росе долетающий голос
Из лесов словно пахнет грибами.

Тут пародируются «эстетические» образы Фета, слияние звука с цветом и светом, типа:

Уноси мое сердце в звенящую даль,
В этих звуках на жаркие слезы твои
Кротко светит улыбка любви.

(с. 182)

Или:

И, на волне ликующего звука
Умчася вдаль, во мраке потонуть.

(с. 281)

Ср. в пародии Минаева:

Грезит он, что в руки
Звук поймал,— и вот
Он верхом на звуке
В воздухе плывет,
Птицы ж щебетали:
— Спой-ка нам куплет
О «звенящей дали»,
Афанасий Фет.[1]

Фет сливает зрительные ощущения с термическими («горячий свет», «мороз сияет») и — формально — даже слуховые с обонятельными («благовонные речи»).

Некрасов также сливает слуховые ощущения с обонятельными («голос... пахнет грибами») и как будто еще и со зрительными («голос летит по росе»).

Середина 50-х годов — это время, когда Некрасов особенно высоко ценил поэзию Фета. В 1856 году по поводу выхода собрания стихотворений Фета он писал: «Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе после Пушкина не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет» (9, 279).

Тем самым Некрасов ставит в эту пору Фета как художника выше Лермонтова и Тютчева.

С 1854 года Фет становится ведущим поэтом «Современника». В течение четырехлетия (1854—1857) его

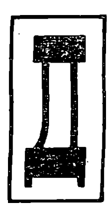
---

[1] Поэты «Искры». Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1955, т. 2, с. 134.

стихи по количеству значительно преобладают в журнале над стихами других поэтов, в том числе и самого издателя, не говоря уже о трех других авторах, постоянно печатавшихся в «Современнике»,— Полонском, Майкове, Алексее Толстом.

Пародия «Лето» показывает, что при всем восхищении поэзией Фета Некрасов остро ощущал те черты его художественного метода, которые были чужды его собственной поэтике, и подсмеивался над ними. Пародия раскрывает перед нами тонкость художественного восприятия Некрасова, критическую проницательность и дар пародиста, тем более удивительный, что мы ведь имеем здесь дело с незавершенным, недоработанным наброском.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В ПОЭМЕ «САША»



Для анализа произведений, в центре которых — «герои времени», представители современных, часто лишь нарождающихся общественных формаций, особенно существен вопрос о датировке действия. Некоторые писатели дают указания, позволяющие очень точно датировать описываемые события. Не у всех писателей соблюдена такая точность, но ясно, что долг исследователя — установить фабульное время подобных произведений с той степенью точности, какая в каждом случае возможна. Ведь от этого в большой мере зависит понимание проблематики произведения.

Однако этот существеннейший вопрос не поднимается исследователями поэмы Некрасова «Саша», бесспорно принадлежащей к типу произведений о «современном герое». Ни в специальных статьях, ни в посвященных этой поэме диссертациях, ни в общих трудах о Некрасове такой вопрос не ставится. Мне известно только два высказывания о времени действия поэмы, оба — в несколько строк: одно — в подстрочном примечании в книге М. М. Гина «Н. А. Некрасов — литературный критик», другое — в комментарии к «Саше» в 3-м издании стихотворений Некрасова в Малой серии «Библиотеки поэта». Эти мнения резко расходятся.

М. М. Гин пишет: «Время действия «Саши» можно датировать довольно точно. Во вступлении Некрасов говорит о своей мучительной болезни и о близкой смерти. Известно, что он тяжело болел и ожидал смерти в 1855 г. Эта дата подтверждается и другими указаниями: о спящих в могиле виновных тенях, то есть, по-видимому, намек на Николая I, умершего в начале 1855 г., и о даром сгинувших молодых силах, то есть о жертвах, понесенных в Крымской войне. Первый

приезд рассказчика в усадьбу родителей Саши состоялся «третьего года», тогда же состоялось знакомство героя с героиней. Следовательно, их взаимоотношения протекают в первой половине 50-х годов, а развязка этих взаимоотношений относится к середине 50-х годов».[1]

Исследователь, вероятно из осторожности, не определяет время действия поэмы более точно: ведь если беседа повествователя с отцом Саши происходит в 1855 году, знакомство Саши с Агариным состоялось за два года до того («В третьем году наконец прикатил Барин в усадьбу и нас посетил», «В два-то последние года на диво Сашенька стала пышна и красива»),— значит, основное действие поэмы развертывается между 1853 и 1855 годами.

Другой названный нами источник предлагает совсем иную хронологию. «Предположительно, первый приезд Агарина приходится на 1848—1849 годы ⟨...⟩. Второй приезд Агарина приходится, по-видимому, на 1851 год, то есть после поражений европейских революций 1848—1849 годов ⟨...⟩. Перемена взглядов Агарина характерна для значительной части дворянских либералов, которые под влиянием поражения европейских революций 1848—1849 годов и наступившей затем реакции отказались от своих прежних, социалистических симпатий и, взамен отвлеченного демократизма, взамен сочувствия народу, стали проповедовать пессимизм и неверие в общественный прогресс».[2]

Такое определение времени совершающихся в поэме событий также допускает некоторое уточнение. Вернее, может быть, при такой концепции датировать первый приезд Агарина, когда он еще увлеченно проповедовал прогрессивные идеи, 1847 годом, а второй — 1849-м. Переломный 1848 год кажется слишком поздним для радужных надежд и слишком ранним для полного разочарования.

Как же все-таки датировать события поэмы: 40-ми или 50-ми годами? Отметим прежде всего, что соображения М. М. Гина целиком зиждутся на лирическом вступлении к поэме. Вступление это, как известно,

---

[1] Гин М. Н. А. Некрасов — литературный критик. Петрозаводск, 1957, с. 159.

[2] Некрасов Н. А. Стихотворения. Л. (Б-ка поэта. М. с.), 1956, т. 2, с. 315—316.

написано после окончания всей поэмы, вовсе не предполагалось ее планом и отражает новые впечатления, связанные с наступлением новой эпохи. Соображения М. М. Гина основаны на невысказанном убеждении, что фабульное время этого вступления строго согласовано с фабульным временем всей поэмы. Между тем это вовсе не разумеется само собой. Подобные части, приписанные к готовому произведению, нередко оказываются в хронологическом несоответствии с основным текстом. Это имеет место даже у такого точного в отношении хронологии писателя, как Тургенев. Комментаторы «Рудина» в академическом издании Тургенева указывают, что введенный Тургеневым впоследствии эпизод гибели Рудина на парижской баррикаде хронологически не вписывается в роман, «участие и смерть Рудина в июньском восстании 1848 года не укладывается в хронологические рамки романа», поскольку самым концом 40-х годов должен датироваться предыдущий эпизод — встреча Рудина с Лежневым в гостинице.[1]

Основное преимущество датировки сюжета «Саши» 40-ми годами перед датировкой 50-ми состоит в том, что первая вполне объясняет эволюцию Агарина, между тем как при второй эта эволюция совершенно непонятна. 1848 год — это последний год «самой либеральной эпохи николаевского царствования»,[2] по выражению Герцена; это время высокого подъема прогрессивной мысли в русском обществе. 1849—1850 годы — это время, когда не только наступившая в России правительственная реакция, но и ход европейских революций, появление на сцене истории пролетариата напугали недавних прогрессистов, мирных поклонников социальных утопий. Измена фразера Агарина прогрессивным идеям, переход его на реакционные позиции в этих условиях исторически типичны. Но если датировать время действия поэмы 1853—1855 годами, эволюция Агарина становится парадоксальной. Проповедовать либеральные идеи в разгар жесточайшей реакции и отрекаться от них в эпоху, когда новое правительство пошло либеральным курсом,— это слишком уж нети-

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. М.— Л., 1963, т. 6, с. 569.

[2] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1954, т. 2, с. 86.

пично и совершенно противоречит всему облику Агарина, всегда поющего с чужого голоса.

Как уже сказано, только в двух названных источниках прямо поставлен вопрос о времени происходящих событий. В других работах ясной постановки этого вопроса нет, однако все авторы книг и статей, в которых речь идет о «Саше», явно относят, без доказательств, как само собой разумеющееся, время действия к 50-м годам, сдвигая притом это время на самый поздний срок, возможный для датировки произведения. Эта тенденция, как и связанная с ней общая трактовка поэмы, особенно ясно проявляется в статье А. М. Гаркави «Поэма Некрасова „Саша"»,[1] и мы, для сокращения места, будем пользоваться лишь этой статьей, хотя аналогичный взгляд встречаем, например, и в посвященной «Саше» диссертации В. С. Маслова,[2] и в книге Е. Н. Опришко,[3] и в других статьях и общих работах о творчестве Некрасова.

Вопрос о фабульном времени произведения обычно требует привлечения данных о времени его создания. Когда написана «Саша»?

Во всех изданиях, где стихотворения датированы, Некрасов печатал «Сашу» с датой «1852—1855». Дата эта не вызывала сомнений у издателей и исследователей Некрасова до появления упомянутой статьи А. М. Гаркави, который отказал авторской датировке в авторитетности на том основании, что в ряде случаев даты, проставленные Некрасовым, оказывались неверными и что «нет никаких данных, которые подтверждали бы это (авторское.—*Б. Б.*) указание. Первые бесспорно достоверные сведения о работе Некрасова над поэмой относятся лишь к осени 1854 года; к этому времени была написана какая-то (видимо, небольшая) часть поэмы, которую Некрасов в одном из писем назвал «началом рассказа» ⟨...⟩. Что касается основной части поэмы, то, очевидно, Некрасов написал ее весной 1855 года (ср. в цитированном письме его к Тургеневу от 30 июня 1855 года: «весной нынче... я этот рассказ написал»). ⟨...⟩ В течение остальной части 1855 года

[1] «Некрасовский сборник». II. М.— Л., 1956, с. 151—170.

[2] Маслов В. С. Первая поэма Некрасова («Саша»). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Л., 1956 (Машинопись).

[3] Опришко Е. Н. Поэма Н. А. Некрасова «Саша». Днепропетровск, 1958.

Некрасов, очевидно, перерабатывал свою поэму. В январской книжке «Современника» за 1856 год она появилась уже в окончательном виде. 〈...〉 Итак, наиболее правильной представляется датировка работы Некрасова над «Сашей» промежутком времени приблизительно с осени 1854 года по осень 1855 года, с той необходимой оговоркой, что основная часть работы была выполнена весной 1855 года».[1]

На датировку А. М. Гаркави можно возразить, что наличие неверных дат не означает, что мы не должны доверять никаким авторским датам, если они не подтверждены добавочными свидетельствами или соображениями.

В более поздней работе — комментарии к «Саше» в Большой серии «Библиотеки поэта» — А. М. Гаркави уже не столь категоричен. Он допускает возможность того, что 1852 год — «это дата возникновения замысла» поэмы (I, 629).

Но, по нашему мнению, как бы ни решать вопрос о времени написания «Саши», любое решение говорит скорее в пользу приурочения событий поэмы к более раннему, а не к более позднему времени. В самом деле, если работа над поэмой началась в 1852 году или хотя бы в этом году возник замысел поэмы, действие ее, очевидно, должно заканчиваться не позже чем в 1852 году. Если же авторская дата неверна, неверность ее должна иметь свою причину. Вряд ли такой причиной может быть простая забывчивость. Можно спутать год написания произведения, но указать четырехлетний срок работы над ним вместо годичного, да еще в отношении первой своей поэмы, притом произведения, для понимания которого так важна хронология,— это очень странная забывчивость. Тут уж вернее предположить не забывчивость, а мистификацию. В чем же могла бы быть цель такой мистификации? Очевидно, лишь в том, чтобы читатель относил основное действие поэмы ко времени не позже 1852 года, пусть даже в лирических признаниях повествователя чувствуются более новые впечатления жизни, на что указывает и конечная дата — 1855 год.

---

[1] Гаркави А. М. Указ. ст., с. 154—156. 1-м мая 1855 года датированы 3-я и 4-я главы поэмы (в которых только и фигурирует Агарин) в рукописной редакции, «близкой к окончательному тексту».

А. М. Гаркави пишет: «С большой политической остротой и реалистической беспощадностью он (Некрасов.— *Б. Б.*) показал эволюцию «лишнего человека» в условиях нового подъема освободительного движения».[1] Изображенный в поэме «отказ от стремления к борьбе и деятельности на благо народа, связанный с политическим ренегатством, был весьма характерен для многих представителей русского либерализма в середине 50-х годов: он был предопределен резкой политической дифференциацией среди русских деятелей и усилившейся борьбой между революционными демократами и либералами».[2]

Такая трактовка вопроса противоречит датировке поэмы — даже в том варианте, какой дал сам А. М. Гаркави. Если поэма в основной части написана в 1854-м и начале 1855 года, то есть еще в царствование Николая I, то о каком «новом подъеме освободительного движения» может идти в ней речь? Не было в эту пору резкой политической дифференциации и усиленной борьбы между революционными демократами и либералами, не было по той причине, что основная борьба велась тогда между сторонниками и противниками освобождения крестьян, а не внутри антикрепостнического лагеря. Крепостничество, указывает В. И. Ленин, «порождало солидарный протест и борьбу всей интеллигенции, создавая иллюзию об особом демократизме нашей интеллигенции, об отсутствии глубокой розни между идеями либералов и социалистов».[3] Обострение дифференциации и борьбы демократов и либералов началось, когда вопрос о том, освобождать ли крестьян, сменился вопросом о том, как их освобождать.

Хронологическую неувязку А. М. Гаркави стремится устранить, приурочивая окончательную концепцию поэмы к самому концу работы над ней. Он утверждает, что авторская оценка Агарина и самый характер первоначально пропагандируемых Агариным идей претерпели в окончательной редакции поэмы существенные изменения.

«Работая над поэмой,— пишет А. М. Гаркави,— Некрасов последовательно усиливал критику либерализма в образе Агарина. В ранних (черновых) редак-

---

[1] Гаркави А. М. Указ. ст., с. 158.

[2] Там же, с. 152—153.

[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 305.

циях образ Агарина был нарисован более светлыми красками; его мечты о прекрасном будущем человечества были представлены здесь как благородные мечты, выдержанные в духе утопического социализма:

Да,— говорит,— не теряю надежды:
Переведутся глупцы и невежды,

Будут разумны и чисты душой
Люди одною великой семьей...

Некрасов писал в черновиках поэмы об Агарине:

Это прекрасный и вечный ребенок...

Он по природе своей благороден,
Только заносчив и к делу не годен.

⟨...⟩ Однако эти варианты так и остались в черновиках; в основной текст они не перешли. Некрасов отказался от них, так как они оказались несовместимыми с отрицательной характеристикой Агарина».[1]

Стихи, приведенные А. М. Гаркави, действительно не вошли в окончательный текст поэмы. Однако делать из этого вывод об изменении характеристики и оценки Агарина можно было бы, лишь сравнив первоначальный текст с окончательным. Такое сравнение не дает оснований согласиться с утверждениями А. М. Гаркави. Если в приведенном им тексте Агарин «по природе своей благороден», то в окончательном:

Всё, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно и сродно...
(I, 222)

Сеет он все-таки доброе семя...
(I, 223)

При наличии таких строк очевидной вульгаризацией является утверждение, будто Некрасов говорит об Агарине «с нескрываемой ненавистью и презрением».[2]

Неверно и то, что мечты Агарина лишь в первой редакции «выдержаны в духе утопического социализма». Вот окончательная редакция:

---

[1] Гаркави А. М. Указ. ст., с. 158—159.
[2] Опришко Е. Н. Указ. соч., с. 28.

Словно брала их чужая кручина,
Всё рассуждали: какая причина,

Вот уж который теперича век
Беден, несчастлив и зол человек?

Но,— говорит,— не слабейте душою:
Солнышко правды взойдет над землею!

(I, 218)

Можно согласиться с тем, что этот текст (быть может, по цензурным условиям) менее конкретен, чем первоначальный, поскольку в нем нет упоминания о единой семье будущего человечества. Но направление мысли Агарина в новой редакции не изменилось.

Основная тема бесед Агарина с Сашей («всё рассуждали») — обсуждение коренного вопроса, стоявшего перед социалистической мыслью домарксовой эпохи: почему человеческое общество страдает от социального зла, если человеческая натура влечет людей к добру, к общественной пользе, к общему благу?

Обратим внимание на полное совпадение формулировки этого вопроса в поэме с той, которую дает в ответе на него Чернышевский в позднейшем письме:

«Чепуха в голове у людей, потому они и бедны и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить».[1]

Интересно, что первоначально Некрасов дал такие варианты стиха 324:

Беден, несчастлив и дик человек?

Беден, несчастлив и слаб человек? —

(I, 479)

и лишь в печатном тексте появилась окончательная формула:

Беден, несчастлив и зол человек? —

почти буквально совпадающая с позднейшей формулировкой Чернышевского.

Соответствует мысли Чернышевского и приведенная фраза из ранней редакции «Саши»: «Переведутся глупцы и невежды»,— но новая формулировка: «Солнышко правды взойдет над землею» — общая. «Солнце

---

[1] Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской от 5 октября 1862 г.— Полн. собр. соч. М., 1949, т. 14, с. 456.

правды», «луч правды», который разгонит морок «мира призраков»,— обычные символы в литературе утопического социализма. Ср. хотя бы у Плещеева:

Была пора — огонь горел в крови;
И думал я, что песнь моя сильна,
Что правды луч, что луч святой любви
Зажжет в сердцах озлобленных она,—

(«Странник»)

или у Щедрина: «Я понимаю очень хорошо, что с появлением солнечного луча призраки должны исчезнуть...» [1]

Более четкую формулировку получила и противоположная идея, проповедуемая Агариным во второй его приезд:

Род человеческий низок и зол.

(I, 219)

В первоначальных набросках, в которых образ Агарина, по мнению А. М. Гаркави, «нарисован более светлыми красками», этому стиху соответствуют отнюдь не более мягкие, а, напротив, более грубые выражения:

Это-де звери — скоты, а не люди.
Нет благородства — в их рабс⟨кие⟩ груди...

(I, 465)

Если эта незаконченная сентенция относится не к роду человеческому вообще, а к народу, к крестьянству — это не делает ее менее реакционной.

Но лапидарная формулировка «Род человеческий низок и зол» — гораздо более обобщена и философски содержательна. В двух выступлениях Агарина Некрасов противопоставляет центральные мысли прогрессивного и реакционного мировоззрения того времени.

В домарксистский период какие бы то ни было надежды на улучшение социального строя — путем ли революции, реформ или даже незаметного, постепенного прогресса — опирались на просветительское мировоззрение. Центральная идея этого мировоззрения — идея естественного человека, естественных стремлений, естественных потребностей. Естественный человек изначально добр, естественные стремления ведут

---

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. М., 1972, т. 13, с. 424.

его к счастью, а счастье он может находить лишь в общем счастье. Первый признак естественного человека в том, что его, как Агарина с Сашей в поэме, «берет чужая кручина». Цитат, подтверждающих это положение, можно привести неограниченное количество.

Но почему же тогда

> Вот уж который теперича век
> Беден, несчастлив и зол человек?
>
> *(I, 217)*

Он беден, несчастлив и зол потому, что дурные, неестественно сложившиеся социальные условия делают его таким, искажая подлинное естество человека. Просвещение, развитие приведут человечество к пониманию его подлинных, естественных интересов и стремлений и в конце концов «Солнышко правды взойдет над землею» и вместо царства «глупцов и невежд» установится разумный общественный порядок, в котором естественные стремления, в том числе стремление к общему счастью, будут находить свое полное удовлетворение.

Все реакционные мыслители, боровшиеся с просветительским мировоззрением, старались бить по главному пункту: по вере в добро и благородство, изначально свойственные человеку и прогрессивно нарастающие в ходе истории. Их основная мысль: человек от природы вовсе не «естественный человек», а злое животное, которым владеют инстинкты, а не разум. Это воззрение Некрасов сжимает в окончательной редакции в кратчайшую формулу:

> Род человеческий низок и зол.
>
> *(I, 219)*

Это значит, что моральный, а стало быть, и социальный прогресс невозможен и мир всегда останется таким, каков он есть. В черновике «Саши» эта мысль выражена в такой форме:

> Мир как и был, так и будет окован,
> Я-де насчет его разочарован...
>
> *(I, 576)*

Итак, Некрасов находит и противопоставляет наиболее лапидарные формулы просветительского и антипросветительского мировоззрения. Но такой замысел присутствует уже с начала работы над поэмой, а не является лишь в конечной редакции. Ни уменьшения прогрессивности в первой проповеди Агарина, ни усиления реакционности во второй не произошло; только формулировки стали более четкими. Основная концепция «Саши» создалась не в новую, либеральную, а еще в николаевскую, реакционную эпоху.

Однако если бы мы даже могли считать концепцию поэмы возникшей лишь в конце работы над ней, так ведь и первые месяцы царствования Александра II были временем не подъема, а, скорее, спада революционных настроений, возбужденных ожиданием реформ, объем и глубина которых еще не были известны. Либералам же в это время, при новом либеральном курсе правительства, совершенно незачем было, как уже сказано выше, отрекаться от либеральных идей. Новое их отречение, связанное с новым, реакционным курсом правительства, резкая дифференциация и усиленная борьба между ними и революционными демократами, подъем освободительного движения — все это относится к эпохе, заведомо более поздней, чем время написания «Саши». Вот если бы можно было датировать первый приезд Агарина, скажем, 1858 годом, а второй — 1860-м, тогда исторические условия, о которых говорил А. М. Гаркави, соответствовали бы фабульному времени поэмы. Такая его датировка, в сущности, и сквозит за обычными рассуждениями о поэме, но, конечно, не высказывается, поскольку фабульное время поэмы при такой датировке приходится на несколько лет позже ее написания.

Если поэма является художественным изображением борьбы революционной демократии с либерализмом, революционная демократия должна, очевидно, быть представлена в ней образом Саши. Но, в связи со сказанным, такое понимание возможно лишь при передвижении образа в будущее.

Нет, кажется, советского исследователя, который, говоря о Саше, не предрекал бы ей с большей или меньшей категоричностью будущности революционной деятельницы. Она «несомненно найдет себе место в освободительном движении эпохи»,— пишет, например,

Ф. Я. Прийма.[1] Но ведь когда писалась поэма, еще и эпохи этой не было, и движения этого не было, и женщин-революционерок не было. В рамках же поэмы Саша не выходит за пределы первоначальной проповеди Агарина.

В разных редакциях «Саши» немало говорится о прямой деятельности Саши в период между приездами Агарина:

Бедные все ей приятели-други:
Кормит, ласкает и лечит недуги...

(I, 219)

Правда, ходила к старухам больным...
Стала услужлива к людям простым.

Бедного кормит, поит и голубит,
Словно как брата родимого любит.

К мужу письмо за простую бабенку
Рада писать [на чужую сторонку.]

Грамоте учит мальчишек простых.

(I, 579)

Эти поступки свидетельствуют о важнейшей для концепции поэмы черте характера Саши, именно о том, что Саше свойственна деятельная любовь к людям. Однако в поэме деятельность героини не выходит за пределы либеральной филантропии, над которой подтрунивает Агарин, но которая позже стала предметом постоянных насмешек и со стороны демократической литературы (вспомним хотя бы «Трудное время» Слепцова). Поэтому вряд ли основательны слова А. М. Гаркави: «Саша порывает с дворянским либерализмом».[2]

Есть в характеристике Саши одна черта, действительно присутствующая лишь в ранних редакциях и устраненная из окончательной: это религиозность Саши — религиозность не изначальная, внушенная домашним воспитанием, а проявляющаяся в моменты сильных душевных потрясений — после первого отъезда Агарина:

---

[1] Прийма Ф. Я. Н. А. Некрасов.— В кн.: История русской поэзии. Л., 1969, т. 2, с. 26.

[2] Гаркави А. М. Указ. ст., с. 160.

Стала в молитве усердней, чем прежде,
Вкус получила к красивой одежде...—

(I, 472)

и после его приезда:

Плачет и бога о чем-то все просит.

Бросит работу и молится богу...

(I, 581)

Правда, повторяю, в окончательной редакции этих строк нет, но как же далек образ Саши, задуманный Некрасовым, от образа «нигилистки»-шестидесятницы!

Первоначальную проповедь Агарина, переродившую Сашу, нельзя, конечно, назвать революционно-демократической. Утопические мечтания о том, на что, даже по словам повествователя, «нужны столетья» (I, 222), не выводят Агарина за пределы барского либерализма, не мешают ему проживать за границей крепостные доходы, и если он приехал теперь, впервые в жизни, в свою деревню, так это только потому, что ему доходы высылали «худо».

Некрасов, в 1845 году рецензировавший «Тарантас» В. А. Соллогуба, не забыл, надо думать, образ «русского барина», едущего в свою деревню из любимой заграницы потому, что «бурмистр оброка не высылает; черт их знает, что пишут! Неурожай у них там какой-то, деревня какая-то сгорела. А мне что за дело? Я человек европейский, я не мешаюсь в дела своих крестьян; пускай живут как хотят, только чтоб деньги доставляли аккуратно. Я их наскрозь знаю. Такие мошенники, что ужасти. Они думают, что я за границей, так они могут меня обманывать. Да я знаю, как надо поступать. Сыновей бурмистра в рекруты, неплательщиков в рабочий дом, возьму весь доход на год вперед да на зиму в Рим...».[1]

Разумеется, Агарин действует не такими мерами: он гуманен, он «ласков с прислугой, как будто не барин», но с доходами дело, видно, наладилось, поскольку он смог вскоре уехать и вернулся, опять ненадолго, лишь через два года.

Конфликт Саши с Агариным не отражает борьбу революционных и либеральных идей, поскольку взгляды Саши еще не революционны, а изменившиеся взгляды

---

[1] Соллогуб В. А. Избранная проза. М., 1983, с. 286.

Агарина уже антилиберальны. Либералы той эпохи были солидарны с демократами в вере в прогресс и в просвещение как фактор прогресса, улучшения людей и жизни; Агарин же во второй приезд стремится, как мы видели, подорвать самые основы просветительского, тем самым и либерального, мировоззрения.

Агарин — один из типичнейших героев литературы 40—50-х годов — «лишний человек». В нашем литературоведении понятия «дворянский либерал» и «лишний человек» постоянно отождествляются. Между тем полное отождествление этих понятий неправомерно. С наступлением либеральной эпохи 50-х годов либералы почувствовали возможность деятельности в том направлении и в тех рамках, которые соответствовали их платформе, и, когда, одновременно с «Сашей», появился «Рудин», ведущие либеральные критики Дудышкин и Дружинин напали на героя романа и воплощенный в нем тип за бездеятельность, за вечное философствование, за отсутствие трезвого взгляда на жизнь, желания и способности жить в гармонии с ней, приспособляться к ее требованиям, прилагать руки к живому делу.

В «Саше» современная критика, как известно, увидела чуть ли не пересказ «Рудина» стихами. «...Мы в этой поэме,— писал Дудышкин,— нашли того же Рудина, только переложенного в стихи. ⟨...⟩ Сходство между ним и Агариным до того сильно, что даже выразилось не только в общих чертах, но и в мелочах. ⟨...⟩ Рудин хорошо и много говорит; Агарин ⟨...⟩ тоже хорошо и много говорит. Рудин умен, образован, говорит цветисто, но ни на какое дело не способен; Агарин тоже ⟨...⟩. Г. Тургенев говорит о Рудине как о человеке, который, однако ж, сеял доброе семя,— и г. Некрасов то же говорит о своем Агарине. ⟨...⟩ Ум Рудина сильно действует на развитие Наташи — ум Агарина точно так же действует на Сашу; оба заставляют героинь влюбиться в себя, оба их бросают. Даже объяснение в любви происходит одинаково в обоих произведениях...»[1]

Убежденность чуть ли не в тождестве героев и сюжетов двух произведений приводит Дудышкина к аберрации памяти: на самом деле, в противоположность тургеневскому роману, в поэме Некрасова не герой отка-

[1] «Отечественные записки», 1861, № 12, отд. III, с. 87—88.

зывается от героини, а героиня от героя; сцены же любовного объяснения в поэме вообще нет. Дудышкин не замечает (да и позднейшие авторы не акцентируют) того, что, в отличие от Рудина, Агарин в типичном конфликте слабого мужчины и сильной девушки проявляет слабость характера вовсе не в любовной сфере, а в сфере мысли, в области мировоззрения. При этом и душевная сила героини, и душевная слабость героя получают в поэме необычное и прямо связанное с просветительским мировоззрением Некрасова обоснование.

Обратим внимание на то, что сущность каждого из двух героев поэмы четко раскрывается в описании его наружности. Герой и героиня подчеркнуто противопоставлены друг другу уже внешне.

Красавица Саша — «стройная, величавая», «пышная», с живыми глазами, румяными, полными щеками, круглыми плечами и «упругой грудью». Агарин — «невиден собой»,

Тонок и бледен. В лорнетку глядел,
Мало волос на макушке имел.

(I, 216)

В первоначальной редакции прямо подчеркнута связь физической и духовной «хилости» Агарина:

...не много в нем сил:
Так же, как телом, душою он хил.

(I, 584)

Развитие Саши, выросшей «как цветок полевой», органичное и естественное.

Естественно развившаяся Саша обладает свойствами «естественного человека»: она активно любит людей, народ, родную природу. Агарин — хилое создание искусственных жизненных условий — лишен всего этого. В своей стране он не живет, народа не знает и не любит, над русской природой «подтрунивает», влечения к труду, к деятельности не испытывает, никакие идеи не превращает в дело.

В «Саше», как впоследствии в «Что делать?» Чернышевского, персонажи четко разделяются на живущих «естественной», подлинно человеческой и «искусственной», «фантастической» жизнью. Некрасов трактует как «неестественного» человека одну из центральных фигур тогдашней литературы — «лишнего человека».

Еще с 40-х годов и в критике и в самих литературных произведениях длился спор: что создает «лишних людей» — невозможность приладиться к неприемлемым социальным условиям или помещичья обеспеченность, лишающая стимулов к труду. Некрасов твердо стоит на второй точке зрения.

Еще в 1851 году в стихотворении «Мое разочарование» Некрасов выводит комическую фигуру «лишнего человека», считающего себя мыслителем и говорящего о себе:

Вереницей чудной и беспечной
Предо мной толпился ряд идей,
И витал я в сфере бесконечной,
Презирая мелкий труд людей.
Я лежал, гнушаясь их тревогой,
Не нуждаясь, к счастию, ни в чем,
Но зато широкою дорогой
В сфере мысли шел богатырем.

(I, 131)

Его презрение к «мелкому труду» предвосхищает слова Агарина:

Нет, я души не растрачу моей
В мелких делах и тревогах людей.

(I, 126, 479) [1]

Неправильное развитие человека происходит от противоестественных условий, в которых воспитываются и живут люди, прежде всего — в отсутствие труда, стремление к которому — одно из наиболее естественных стремлений человека. Агарин не трудится,

Благо наследье богатых отцов
Освободило от малых трудов.

(I, 121)

Отметим, что полной обеспеченности Агарина в поэме противопоставлены «убогие средства» семьи Саши.

Программа, намеченная в «Песне Еремушке», все-таки неполна. С точки зрения просветителя, «жизни вольные впечатления» подготовляют почву, но на эту почву должны упасть семена просвещения. Мысленно обращаясь к родителям Саши, Некрасов говорит:

---

[1] Вариант стиха 436 — «На муравьиной работе людей» — впервые появился лишь в издании 1861 года.

Только развить воспитаньем, увы!
Эту головку не думали вы.

(I, 208)

В качестве «сеятеля» является Агарин. Аполлон Григорьев писал даже, что поэма «могла, право, быть озаглавлена так: „Саша, или Сеятель и почва“».[1]

Но своеобразие коллизии «Саши» состоит в том, что «естественные» взгляды, которые для Саши становятся ориентиром на всю жизнь, совсем не таковы для «сеятеля». Оторванный от родины, от народа, от органических основ жизни, хилый книжник, он воспринимает «подлинные», прогрессивные идеи так же, как противоположные, реакционные; для него все это чисто головные теории, которые имеют друг перед другом лишь преимущество новизны, оригинальности, современности.

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет.

(I, 222)

Может возникнуть вопрос: почему Саша, по словам которой Агарин «вразумил ее душу и спас», для которой он высший авторитет, которая так беззаветно проникалась его убеждениями, которая, наконец, любит Агарина, дает затем немедленный отпор его новым взглядам? Она ведь несравненно менее образованна, чем он, и не искушена в философских спорах: «с ним Спорить она не умела». Но ей это и не нужно. Она не спорит с ним, а «молчать его просит», новые же привезенные им книжки читать не желает «и приказала назад отослать», ибо, как «естественный человек», она одарена истинно человеческим отношением к жизни.

Просветительские взгляды автора четко сказываются в оценке как Саши, так и Агарина.

Исследователи, кажется, не обращали внимания на сюжетную особенность, что повествователь никогда не видел Агарина, узнает о нем только из рассказа невежественного старика, не знающего даже, что такое стихи, и предполагающего, что Агарин — это «чернокнижник-губитель» или «сам бес-искуситель» (I, 221). Тем не менее повествователь тут же дает психологичес-

---

[1] Григорьев А. Литературная критика. М., 1967, с. 488.

кую характеристику Агарина, вернее, «современного героя» того типа, к которому он без колебаний относит Агарина:

Веришь, не веришь — ему все равно,
Лишь бы доказано было умно!

Сам на душе ничего не имеет,
Что вчера сжал, то сегодня и сеет;

Нынче не знает, что завтра сожнет,
Только, наверное, сеять пойдет.

(I, 223)

Перед поэтом стояла задача показать, какие же чувства испытывает сам Агарин, разочаровавшись в былых мечтаниях. Радуется ли, что не отстал от последней интеллектуальной моды? Но ведь взгляд на Агарина как на человека, всегда поющего с чужого голоса, это взгляд повествователя, взгляд, внушаемый читателю автором. Сам же Агарин считает себя мыслителем, а не подпевалой и испытывает подобие тех чувств, которыми были охвачены в конце 40-х годов не одни «лишние люди». Вспомним хотя бы «духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848-го года».[1] Агарин, по словам Саши, «стал зол и печален и духом упал». Он не отказывается от новых взглядов, хотя они прямо ведут его к разрыву с любимой девушкой. И все же повествователь не верит искренности чувств Агарина,— может быть, точнее сказать, глубине его искренности. Не верит потому, что человек с подлинно «человеческими стремлениями» не может отказаться от «естественно-разумных» взглядов.

Конфликт Саши с Агариным — это конфликт «естественного человека» с «лишним человеком». Некрасов еще только нащупывает общественный тип «современного героя» и старается дать себе отчет в его ценности, отнюдь не повторяя оценок революционной демократии, которые тогда еще не установились, а участвуя в формировании этих оценок, давая для них жизненный материал, прошедший сквозь горнило творческого сознания. Но в эволюции Некрасова «Саша» явилась

---

[1] Ленин В. И. Памяти Герцена.— Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.

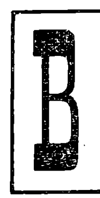
дальнейшим — после «Филантропа»[1] и «Тонкого человека» — этапом на пути к разрыву Некрасова с либералами.

В 60—70-е годы образы «Саши» естественно понимались так, как их понимают (согласно сказанному выше) и до сих пор. Многие либералы, разочарованные и перепуганные в конце 40-х годов и вновь воспрянувшие в середине 50-х, могли напомнить Агарина, снова предавшись разочарованию и пессимизму в годы новой реакции. Сашу же — человека, твердого в идеях «братства, равенства, свободы» и непременно воплощающего мысли в дела,— естественно было воспринимать как человека, перед которым лежит путь революционной борьбы.

---

[1] См. в настоящей книге статью «Некрасов и петербургские филантропы» (К истории стихотворения Н. А. Некрасова «Филантроп»).

О СТИХОТВОРЕНИИ «ПЕСНЯ ЕРЕМУШКЕ»



послевоенные годы в литературоведении проявился значительный интерес к одному из известнейших произведений Некрасова — к «Песне Еремушке». Специальные статьи о нем опубликовали три видных советских литературоведа: Ф. И. Евнин,[1] Н. Н. Скатов[2] и А. М. Гаркави.[3] Интерес к «Песне Еремушке» обусловлен в значительной мере тем, что в этом стихотворении стали находить если не противоречие, то, во всяком случае, неясность. Неясность эта заключается отнюдь не в характере тех взглядов, которые пропагандируются в этом произведении. Напротив, эти взгляды изложены поэтом с тезисной отчетливостью. Но неясно, к какому классу, сословию, социальной группе обращается автор.

Традиционная точка зрения на этот вопрос так сформулирована В. Е. Евгеньевым-Максимовым в его монографии «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова»: «Называя стихотворение «Песней Еремушке», изображая в нем крестьянского ребенка, Некрасов едва ли не хотел тем самым подчеркнуть, что он обращается не столько к крестьянству вообще, сколько к крестьянской молодежи».[4]

---

[1] Евнин Ф. И. «Песня Еремушке» Н. А. Некрасова и идейно-политическая борьба конца 1850-х годов.— «Некрасовский сборник». II. М.— Л., 1956, с. 171—196.

[2] Скатов Н. Н. «Песня Еремушке» Н. А. Некрасова и революционная обстановка в России конца 1850-х годов.— Уч. зап. Лен. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Т. 309. Очерки по истории русской литературы. Л., 1966, с. 172—183.

[3] Гаркави А. М. Возможности лирико-драматического жанра (К спорам о «Песне Еремушке» Н. А. Некрасова).— Жанр и композиция литературного произведения. Межвузовский сборник. Вып. 3. Калининград, 1976, с. 39—49.

[4] Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. М., 1952, т. 3, с. 148.

Ф. И. Евнин присоединяется к этой точке зрения, несмотря на то, что его статья содержит наблюдения, трудно совместимые с ней. Так, он убедительно доказывает, что в песне няни высмеиваются книга Е. Дыммана «Наука жизни, или Как молодому человеку жить на свете» и книга Н. А. Миллера-Красовского «Основные законы воспитания», дающие такие же рецепты жизненного поведения молодежи, какие няня предлагает Еремушке.[1] Однако эти книги адресованы вовсе не воспитателям крестьянской молодежи. Анализируя лексику песни «проезжего», исследователь отмечает, что она «выдержана в чисто интеллигентском речевом стиле». [2] Значит, казалось бы, она не обращена к народной крестьянской среде. Однако Ф. И. Евнин такого вывода не делает.

С традиционной точкой зрения порывает Н. Н. Скатов. По его мнению, не обращены к крестьянской молодежи ни песня няни, ни песня «проезжего». О песне няни он пишет: «Все это: и поучения — поклонись...

Чтобы старшие... в люди вывели —

и пожелания:

...с вельможами
Будешь дружество водить,—

и, наконец, мечта о «праздной» жизни лежат вообще вне опыта народной жизни и поэзии и пришли из каких-то иных общественных сфер. Здесь не народен сам тип мышления».[3] А о песне «проезжего» Н. Н. Скатов пишет: «Право, народный поэт достаточно хорошо знал народ, чтобы не обращаться к нему с лозунгами французской революции, с кодексом революционной морали, с формулами, наконец, ученой диалектики:

Будь счастливей! Силу новую
Благородных юных дней
В форму старую, готовую
Необдуманно не лей!

Своеобразная цельность этих «городских», «интеллигентских» стихов говорит о том, что здесь нет даже малейших попыток непосредственно обращаться к кре-

---

[1] См.: Евнин Ф. И. Указ. ст., с. 185—188.
[2] Там же, с. 180.
[3] Скатов Н. Н. Указ. ст., с. 176.

стьянству».[1] Н. Н. Скатов считает, что «Песня Еремушке» обращена «к молодежи вообще»,[2] но менее всего — к крестьянской.

Таким образом, общее между утверждениями В. Е. Евгеньева-Максимова, Ф. И. Евнина и Н. Н. Скатова заключается лишь в том, что «Песня Еремушке» обращена к молодежи. Однако с этим не согласен А. М. Гаркави. Он пишет о Еремушке: «Это — не символ крестьянской молодежи и не символ молодежи вообще, поскольку грудной младенец не является представителем молодежи. Но, в соответствии с самой формой колыбельной песни, ставится вопрос: каким вырастет Еремушка? Обобщающий смысл этого вопроса, очевидно, таков: каким будет русское крестьянство,— пойдет ли оно по пути, указанному в «песне няни», или по пути, указанному в «песне проезжего»?» [3]

Такое мнение представляется нам неубедительным. Обращение с пропагандистской речью к грудному младенцу есть, конечно, такая же условность, как и подача этой речи под видом колыбельной песни. Впрочем, и сам А. М. Гаркави в дальнейшем указывает, что многие стихи из песни «проезжего» «могли быть восприняты как непосредственное обращение к передовой разночинской молодежи с призывом к революционной деятельности. На такую трактовку, вероятно, рассчитывал и сам Некрасов».[4]

Полагаю, что смысл образа младенца здесь таков: младенец — это представитель нового поколения, входящего в мир в новых условиях, способного бороться с тем злом, которое не может побороть родившееся и сформировавшееся в неблагоприятных условиях поколение. Именно как к представителю новой поросли и обращается автор к младенцу. Некрасов ведь прямо противопоставляет его «нам»:

В нас под кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человеческой
Плодотворное зерно.

Будь счастливей!..

(II, 19)

---

[1] Там же, с. 180.
[2] Там же, с. 177.
[3] Гаркави А. М. Указ. ст., с. 45.
[4] Там же, с. 48.

Думается, что Некрасов обращался не специально к разночинской, крестьянской или дворянской молодежи, но к молодежи с развитыми гуманными понятиями и благородными сердцами. «Мы» — это отживающее поколение интеллигенции, непригодное к борьбе за свободу и счастье народа. Некрасов противопоставляет ему новое, грядущее поколение, в котором появятся подлинные борцы за народное дело. Это не та или иная социальная группа, это пока что «особенные люди»:

Будешь редкое явление,
Чудо родины своей.

(II, 19)

Этих «новых людей», «особенных людей» Некрасов, как и Чернышевский, ждет не из крестьянской среды.

Социальной неопределенности адресата стихотворения соответствует и социальная неопределенность образа Еремушки. До сих пор никто не высказывал сомнения в том, что Еремушка — крестьянский сын. Однако единственный аргумент в пользу этого твердого мнения — то, что «Ерема — специфически крестьянское имя».[1] Но почему же такое специфическое? Носить имя Еремей мог и мещанин, и купец, и попович (Иеремия). Имя это редко только в дворянстве, но вспомним, что в рассказе Тургенева «Чертопханов и Недопюскин» героя, столбового дворянина, зовут Пантелей Еремеевич. Скудные детали «Песни Еремушке» говорят скорее всего об имени дворянского дитяти.

Ведущий рассказ велит ямщику остановиться у постоялого двора и садится на ступеньки крыльца рядом с женщиной, держащей на руках ребенка. Эту женщину он определяет как няню и так к ней обращается: «Няня! дай-ка мне дитя!» Откуда он знает, что это не мать, не другая какая-нибудь близкая ребенку женщина, а именно няня?

Ответ на этот вопрос дают слова женщины: «Покормись, родимый, грудкою». Перед нами, значит, либо мать, либо кормилица ребенка. Почему же «проезжий» сразу определяет второе? Вероятно, она одета так, как одевали кормилиц в барских домах. «Кормилку дюжую» сразу узнают среди княжеской челяди крестьяне из «Кому на Руси жить хорошо» («Последыш», стих 104).

---

[1] Евгеньев-Максимов В. Е. Указ. соч., т. 3, с. 148.

Кормилица в крепостную пору — явление почти обязательное в быту господ, но совершенно исключительное в крестьянском быту. Конечно, и крестьянского ребенка могла вскормить другая женщина вместе со своим — например, при смерти матери от родов,— но это не была бы нянюшка, праздно сидящая с ребенком во время сенокоса, когда «вся деревня на лугу». Что ее привело с ребенком на постоялый двор? Может быть, младенец — сын проезжающих господ, остановившихся на постоялом дворе и отпустивших няньку посидеть с ребенком на воздухе?

Конечно, литературовед не имеет права досочинять сюжет за автора; своими предположениями я только хочу подчеркнуть, что Еремушка — не из крестьянской земледельческой семьи.

Утверждение, что Еремушка — крестьянский сын, но обращенные к нему слова менее всего относятся к крестьянской молодежи,— противоречиво. Противоречие снимается, если Еремушка не крестьянский ребенок.

В связи со сказанным становится более сложным вопрос о связи «песни няни» с народным сознанием. Ф. И. Евнин видит выражение ее в фольклорном обличии этой песни, подчеркивая вместе с тем, что она выражает «не подлинную народную мудрость, а лишь отсталые настроения пассивной части крестьянства». [1] Поддерживая точку зрения Ф. И. Евнина, А. М. Гаркави указывает, что «отсталой в ту пору была очень значительная часть крестьянства». [2]

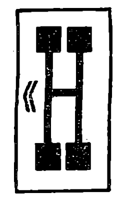
Однако здесь надо учитывать не только кто поет, но и кому поют. Мораль, которую вложил поэт в уста няни, и не должна быть народной, поскольку няня поет не крестьянскому, а господскому ребенку. Что же касается имени младенца, то оно, видимо, символично: раз в этом ребенке воплощена надежда на тех новых, «особенных людей», которые отдадут свои жизни на благо народа, естественно ему и называться народным именем, независимо от происхождения.

Отмечу, что Рахметов — наиболее «символичный» образ романа «Что делать?» — не наделен никаким личным именем, он просто Рахметов; в образе же народного героя он имеет не только фамилию (Ломов), но и имя (Никитушка). Думается, здесь прямая аналогия с Еремушкой.

[1] Евнин Ф. И. Указ. ст., с. 179.
[2] Гаркави А. М. Указ. ст., с. 46.

ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ «КАТЕРИНА»

1



екрасов и фольклор» — одна из излюбленных тем советского литературоведения. Ей посвящено много работ. Но почти во всех этих работах изучается лишь связь с фольклором эпопеи «Кому на Руси жить хорошо» и — в незначительной мере — двух других крестьянских поэм — «Коробейники» и «Мороз, Красный нос». Только в одной работе — статье Н. П. Андреева «Фольклор в поэзии Некрасова» [1]— материал взят шире. Здесь, в частности, две страницы посвящены циклу «Песни», опубликованному Некрасовым в 1868—1869 годах.

В стихотворениях этого цикла Некрасов, по словам исследователя, «создает свои собственные, оригинальные произведения, но тип этих произведений фольклорный; получается своего рода стилизация народных песен».[2] Фольклорный характер создается стихотворными размерами, близкими к фольклорным песням, «многочисленными повторениями различного типа (например, в песнях «У людей-то в дому...», «Катерина», «Сват и жених»), параллельными синтаксическими оборотами, употреблением фольклорных стилистических приемов, употреблением слов и форм, характерных для живой крестьянской речи и для фольклорных произведений». [3] «Фольклор отчасти подсказывает автору темы (отчасти

[1] «Лит. учеба», 1936, № 7, с. 60—85. Цитаты из этой статьи далее приводятся по перепечатке в сб.: Некрасов в русской критике. М., 1944, с. 158—182.

[2] Некрасов в русской критике, с. 162.

[3] Там же, с. 163.

потому... что темы эти существовали в самой жизни)».[1]

По близости к фольклору исследователь выделяет в этом цикле стихотворение «Катерина»: «...песенность «Катерины» настолько велика, что произведение это стало действительной песней и вошло в широкий песенный обиход».[2] Но на чем основана особая близость к фольклору этого стихотворения — исследователь не уточняет; специально «Катерине» посвящен лишь один абзац его статьи, где стихотворение рассматривается в тематическом плане:

«В песне «Катерина» тема семейной жизни взята в обычном для фольклорных песен аспекте: жена страдает в браке с нелюбимым и лихим мужем-пьяницей. Это одна из излюбленных тем семейно-бытового характера, но развивает ее Некрасов самостоятельно».[3]

В сноске Н. П. Андреев указывает на аналогичные темы народных песен по собранию Соболевского: «т.II, №№ 113—115, 138—140, 399—405, 413—427 и мн. др.». Указанные песни сходны с «Катериной» лишь в том, что в них замужняя женщина жалуется на мужа-пьяницу; таких песен в фольклоре действительно немало. Но жалобы Катерины — не просто лирический, ни к кому не обращенный монолог; они даны в конкретной сюжетной ситуации, обращены к брату, родителям и соседям и встречают со стороны всех собеседников однообразный совет: «Потерпи, родная», «Потерпи, сестрица!».

Песни с сюжетом «Катерины», так своеобразно и четко развитым в стихотворении, мы в фольклоре не найдем. Но это не снимает вопроса о том, нет ли народных песен, более близких к стихотворению Некрасова, чем указанные Н. П. Андреевым. Действительно, в том же втором томе собрания Соболевского, откуда Н. П. Андреев почерпнул свои параллели к «Катерине», есть песня, в которой женские жалобы на семейную жизнь обращены к брату; брат в ответ советует сестре смириться и терпеть; при этом он употребляет те самые слова, которым придано центральное значение в стихотворении Некрасова: «Потерпи, сестрица, потерпи, родная!».

Я имею в виду песню «Взойди, взойди, солнце, не низ-

---

[1] Там же, с. 162.
[2] Там же, с. 163.
[3] Там же, с. 162.

ко, высоко», помещенную во втором томе собрания Соболевского в пяти редакциях, под №№ 566—570.[1] Правда, упомянутый стих «Потерпи, сестрица, потерпи, родная» мы находим в позднейших записях 80-х годов; в записи, опубликованной ранее написания «Катерины», дан текст: «Потерпи, моя сестрица, потерпи, моя родима». Однако мы можем утверждать, что стих «Потерпи, сестрица, потерпи, родная» был Некрасову к моменту написания «Катерины» не только известен, но и памятен.

2

В середине 1856 года начал выходить славянофильский журнал «Русская беседа». С первой книжкой этого журнала Некрасов внимательно ознакомился: как известно, в стихотворении «Зеленый Шум» он использовал материал помещенной в этой книжке статьи этнографа М. А. Максимовича «Дни и месяцы украинского селянина».[2]

Из статей, вошедших в первый номер «Русской беседы», наибольший интерес в литературном мире вызвала статья одного из издателей журнала, Тертия Филиппова, о драме Островского «Не так живи, как хочется». Филиппов воспользовался новой пьесой Островского для атаки на взгляды демократических писателей по вопросам свободы чувства, свободы брака и женской эмансипации. Их воззрения он объявляет «западными» и все произведения, в которых отстаиваются свобода и равенство в отношениях между мужчиной и женщиной, считает порождением Жорж Санд. Эта писательница, по его мнению, отвечает и за порчу самих нравов как пропагандистка женской свободы в любви. «С именем этой женщины связано столько зла,— восклицает Филиппов,— что говорить об ее достоинствах приходится с большой осторожностью».[3] И противопоставляет им «русскую точку зрения», которая отождествляется с православным религиозным учением: «Наш народный быт устроен совершенно на основании православных

---

[1] Великорусские народные песни. Изданы проф. А. И. Соболевским. СПб., 1896, т. 2, с. 475—479.

[2] См.: Абрамов И. С. Происхождение стихотворения Некрасова «Зеленый Шум».— «Звенья», V, М.— Л., 1935, с. 476—477.

[3] Филиппов Т. «Не так живи, как хочется». Народная драма в трех действиях. Соч. А. Н. Островского.— «Русская беседа», 1856, кн. 1, с. 87.

мнений, все жизненные отношения, а в том числе и семейные, обсуждаются у нас в народе совершенно сообразно с учением церковным».[1]

Ратуя за нерушимость благословенного богом брака, за подчинение чувства сознанию христианского долга, Филиппов привлекает на помощь фольклор. В ту пору славянофилы были еще почти монополистами в области собирания и изучения фольклора и эксплуатировали собранный ими материал, стремясь доказать, что русскому народу присущи те добродетели, которыми они его наделили: прежде всего религиозность и смирение.

В данном случае Т. И. Филиппов пытается опереться на упомянутую выше песню «Взойди, взойди, солнце, не низко, высоко», цитируя ее, видимо, по собственной записи.

«Есть у нас в народе,— пишет он,— песня, которую всякий может слышать и поныне, если час-другой постоит около любого хоровода. Она начинается так:

Взойди, взойди, солнце, не низко, высоко!
Зайди, зайди, братец, ко сестрице в гости!

Содержание песни такое: сестра, отданная замуж в недобрую семью, просит брата проведать ее и помочь ей советом в ее тяжелом и одиноком положении.

Спроси, спроси, братец, про ее здоровье!
У меня ли, братец, есть четыре горя,
Есть четыре горя, пятая кручина:
Как первое горе — свекор-то бранчивый,
А второе горе — свекры[2] ворчалива,
Как третие горе — деверек насмешник,
Четвертое горе — золовка смутьянка,
Пятая кручина — муж жену не любит.

Что же делает в этом положении русская женщина, оскорбленная, как показывает песня, во всех своих правах, во всех самых естественных чувствах? Восстает ли она против ниспосланной судьбы? Нет! Тени этого намерения не видно в песне. Клянет ли она по крайней мере своих мучителей и с ними свою судьбу, совершенно ничем не заслуженную? Тоже нет! Посмотрите, как просто и кротко, можно сказать, спокойно она говорит о своем несчастии; мужу не придала даже никакого прилагательного. Страдает ли она? Конечно; но что же она

---

[1] Там же, с. 87.
[2] Древняя форма слова: свекровь (*примеч. Т. Филиппова*).

позволяет себе в своем страдании? Какую страду? Одну тихую жалобу, обращенную к брату, и, кроме брата, ее жалобы, наверно, уж никто не услышит. Чужие люди и злые соседи если и узнают об ее несчастии, так уж верно не от нее. Я не знаю, как кому, а мне эта кроткая покорность судьбе, которой переменить нельзя, не нарушив того, что святее всякого личного чувства, представляется трогательнейшею чертою, умиляющею до слез. Что же отвечает брат? Возмутил ли, по крайней мере, он ее покорность, а вместе с тем и мир совести? Стал ли он раскрывать ей силу ее прав? Одним словом, растравил ли он еще более рану ее сердца, как бы сделал непременно всякий брат, который польстил бы минутно ее оскорбленному чувству, изобразив ей яркими чертами несправедливость к ней мужа и поругание ее прав? Нет! Брат не растерялся ни от множества сестриного горя, ни от тайного, неуловимого желания блеснуть силой своего участия; сохраняя полную ясность невозмущенного ума, которую дает только истинное внимание к чужому делу и желание помочь ему (иначе: истинная любовь), он обозрел ее положение и посоветовал трудное, но лучшее:

Потерпи, сестрица! потерпи, родная!

Сколько в этих словах любви! Какой честный, нельстивый, исполненный истинного и прозорливого участия совет! Ведь можно бы и иначе было посоветовать: брось! уйди! или что-нибудь в этом роде. И это показалось бы, может быть, на первых порах любовью и самой сестре! Но какая безумная, если не преступная, любовь! Будто тот нам друг, кто помогает падать, а не тот, кто во время изнеможения поддерживает нас на ногах? Ну, пусть бы она ушла, что же бы из нее вышло? Ни вдова, ни мужняя жена, каких — увы! — довольно в наше время. Но неужели век страдать и не ждать ниоткуда отрады? В чем же пройдет жизнь? Это не наше дело; мы не сами собой получили жизнь и не сами собой распоряжаемся своими обстоятельствами. Наше дело — идти своей дорогой, не сбиваясь с пути добродетели и долга; а там что будет, не узнаешь, да и не нужно; пошлется счастие — благодари, пошлется горе — терпи! Вот все правила для устройства обстоятельств нашей жизни».[1]

[1] Филиппов Т. Указ. ст., с. 88—89.

На статью Т. Филиппова отозвались и либерально-западнические в ту пору «Русский вестник» и «Отечественные записки», и революционно-демократический «Современник». В «Русском вестнике» Ф. М. Дмитриев доказывал, что отдельно взятая песня — не свидетельство народного мнения, что можно привести много других песен — и в том числе опубликованных в том же первом номере «Русской беседы»,— в которых выразилось совсем иное отношение к вопросам семьи и брака, что, собственно, и в ту песню, которую приводит Филиппов, он насильно втиснул славянофильскую мораль, ибо совет брата «потерпеть» основан не на «покорности божественной воле провидения», а на «житейских соображениях или расчетах», что видно из дальнейших слов песни. С другой стороны, неправомерно судить о нравах всех в совокупности западных стран, «за современные требования века признав те мысли, которые выражала в некоторых своих романах Жорж Санд».[1]

Приблизительно то же пишет анонимный рецензент «Отечественных записок». Он особенно нападает на умиление советом брата: «Потерпи, сестрица, потерпи, родная». «Совет брата,— пишет он,— обличающий самую безнравственную апатию, которая в годину бедствий чешет себе затылок и крепка задним умом, дорог для его (Филиппова.— *Б. Б.*) нравственной философии как орудие, служащее к образованию женского идеала».[2]

Чернышевский в «Современнике» посвятил статье Филиппова целый иронический абзац.

«...Не будем говорить — пишет он,— о статье г. Филиппова, называющей грехом все, что происходит в мире не по правилу, предлагаемому стихом из одной русской песни:

Потерпи, сестрица, потерпи, родная!

⟨...⟩ С г. Филипповым мы можем соглашаться только в двух пунктах: в том, что терпение — прекрасное качество, и в том, что смирение — высокая доброде-

---

[1] Ф. Д[митриев]. Несколько слов по поводу статьи г. Филиппова в «Русской беседе».— «Русский вестник», 1856, т. 3, май, кн. 2, с. 149—151. (Криптоним раскрыт в «Жизни и трудах М. П. Погодина» Н. П. Барсукова. СПб., 1901, т. 15, с. 187.)

[2] Литературные и журнальные заметки.— «Отеч. зап.», 1856, т. 107, июль, с. 51. Ср. сходные отзывы в «Сыне отечества» (1856, № 11, с. 230), в «С.-Петербургских ведомостях» (1856, № 130).

тель; но так как эти вопросы принадлежат не литературе, а законам благоустройства и благочиния, то можно, пожалуй, сказать, что мы с ним не сходимся ровно ни в чем, когда речь идет о литературе».[1]

Отклик Чернышевского несколько встревожил Некрасова: он боялся, не сорвалось бы из-за резкости Чернышевского налаживавшееся сотрудничество в «Современнике» Островского. Тем не менее ни на какие уступки в сфере идеологии, ради чьего бы то ни было сотрудничества, Некрасов идти не собирался. 16 июня 1856 года он пишет Боткину:

«Явился Григорович. В числе разных сплетен он сообщил, что Островский будто ужасно сердит за резкое мнение о Филиппове. Напиши, в какой степени это справедливо. Однако если и так, то я все-таки скажу, что «Современник» — по крайней мере пока я в нем — не будет холопом своих сотрудников, как бы они даровиты ни были. Начни вникать, кто кому друг, так зайдешь черт знает куды» (10, 279).

Статья Филиппова не скоро забылась, в особенности в той части, где приводится и комментируется народная песня. Добролюбов в «Темном царстве» (1859) напомнил «о диком безобразии этой статьи, проповедующей, что жена должна с готовностью подставлять спину бьющему ее пьяному мужу». «В публике статья эта была встречена общим негодованием»,— добавляет Добролюбов.[2] В статье «Черты для характеристики русского простонародья» (1860) Добролюбов пишет: «...при всех искажениях крестьянского развития мы видим в народных массах наших много того, что мы назвали «деликатностью». ⟨...⟩ Смирение, покорность, терпение, самопожертвование и прочие свойства, воспеваемые в нашем народе профессором Шевыревым, Тертием Филипповым и другими славянофилами того же закала, составляют жалкое и безобразное искажение этого прекрасного свойства деликатности».[3]

---

[1] Чернышевский Н. Г. Заметки о журналах. Май 1856 г.— Полн. собр. соч. М., 1947, т. 3, с. 653—660.

[2] Добролюбов Н. А. Собр. соч. М.— Л., 1962, т. 5, с. 12. Чернышевский также писал: «Статья г. Филиппова безвозвратно осуждена не нами одними, а всею публикою» («Заметки о журналах. Декабрь 1856».— Полн. собр. соч. М., 1948, т. 4, с. 691).

[3] Добролюбов Н. А. Собр. соч. М.— Л., 1963, т. 6, с. 267.

Я думаю, что откликом на статью Т. Филиппова в той ее части, где речь идет о значении Жорж Санд, является следующее место в стихотворении Некрасова «Папаша» (1859):

Может быть, ведомо вам,
Что за границей местами есть воды,
Где собирается множество дам —
Милых поклонниц свободы,
Дам и отчасти девиц,
Ежели дам, то в замужстве несчастных;
Разного возраста лиц,
Но одинаково страстных,—
Словом, таких, у которых талант
Жалкою славой прославиться в свете
И за которых Жорж Санд
Перед мыслителем русским в ответе.

(II, 40)

В части же воззрений на отраженный в фольклоре народный быт статья Филиппова получила отпор в стихотворении Некрасова «Катерина».

3

Тертий Филиппов выделил в народной песне стих «Потерпи, сестрица! потерпи, родная!» как выражение христианского «смиренномудрия», а Чернышевский со своей стороны утвердил этот стих как формулу того рабского мировоззрения, из-под власти которого он стремился освободить народ. В отличие от славянофилов, революционные демократы не воспринимали народ как единую, «соборную» личность и творчество народа как единый поток. Они старались взрастить в народном сознании ростки революционного протеста и вырвать из него плевелы рабских мыслей и чувств.

Совет «потерпи», обращенный к представителю народа, отвергался Некрасовым как призыв к примирению с рабством. Вспомним контексты слова «терпенье» в стихах Некрасова о крестьянстве:

Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.

(I, 106)

Не холопское терпение
Принесешь ты в жертву ей.

(II, 19)

Их нищета, их терпенье безмерное
Только досаду родит.

(II, 105)

То, что песня, цитированная Филипповым,— действительный продукт народного творчества, не заставило Чернышевского и Некрасова отнестись к ней примирительно. Здесь сказалось отношение революционных демократов к фольклору, хорошо характеризованное А. П. Скафтымовым в применении к Белинскому:

«Демократ и просветитель Белинский, в противовес реакционному фетишизированию фольклора, выдвинул иное, дифференцированное отношение к нему, соединенное с критикой таких его сторон, которые нужно было отвергнуть как патриархальный пережиток и наследие крепостнического порабощения, дикости, невежества... Белинский настойчиво указывал на присутствие в нем таких черт, которые были привнесены рабством и духовной косностью (грубость семейных отношений, дикое обращение с женщиной, отсутствие гражданского самосознания, суеверия и т. п.)».[1]

Некрасов в своей поэтической практике базируется на прогрессивных элементах фольклора, отбрасывая реакционные. В стихотворении «Катерина» он отталкивается от того фольклора, который поднимали на щит славянофилы, отвергает и осмеивает реакционное сознание, сказавшееся в фольклоре, противопоставляет ему новое народное сознание.

Характерно построение стихотворения: оно делится на две равные части по 14 стихов в каждой: в первой части представлен реакционный тезис обыденной морали; во второй — он отвергнут и осмеян.

Содержание первой части — жалобы Катерины и ответы на эти жалобы. Ответы даны троекратным повторением одной и той же формулы. Формула эта частично взята из известного нам песенного стиха «Потерпи, сестрица, потерпи, родная». Но этот стих дан не сплошным текстом, а в виде параллельных начал соседних двустиший. Сплошным текстом он и не мог бы войти в размер «Катерины» с его мужскими рифмами, придающими стиху энергию и отчетливость, соответствующие необыкновенной лапидарности стихотворения. Параллельные начала стихов дают возмож-

---

[1] Скафтымов А. Н. А. Добролюбов о фольклоре.— «Литературный критик», 1936, № 2, с. 97—98.

ность создать варьирующие повторы. Троекратное повторение — традиционный прием народной лирики; Некрасов использует его для того, чтобы совет, обращенный к героине стихотворения, не носил характера случайного мнения, а явился формулой стойких, традиционных взглядов. Песенное обращение с жалобой к брату сохранено; брат назван первым, раньше отца и матери,— но вслед за ним с той же жалобой героиня обращается и к родителям, и к соседям; все они дают один и тот же совет, приобретающий тем самым характер безапелляционного приговора общественного мнения: «Потерпи!»

Это тот совет, который Тертий Филиппов считал выражением подлинного братского сочувствия и которому Некрасов устами Катерины дает противоположную оценку:

Люди не жалеют — ни чужой, ни своей!
(II, 212)

Троекратный совет «потерпи» каждый раз подкрепляется сентенцией, которая до конца вскрывает рабскую основу женской доли в понимании патриархальной «жизненной мудрости»:

«Потерпи, родная,— старики твердят: —
Милого побои недолго болят!»

«Потерпи, сестрица! — отвечает брат: —
Милого побои недолго болят!»

«Потерпи! — соседи хором говорят: —
Милого побои недолго болят!»

И этой же сентенцией — «Милого побои недолго болят», но уже осмеянной, уже данной в ироническом звучании, стихотворение заканчивается. Таким образом, это изречение выдвинуто как основной тезис преодолеваемой и отвергаемой в стихотворении житейской мудрости.

Если Некрасов использовал песенный стих «Потерпи, сестрица, потерпи, родная», ставший в полемике формулой реакционно-славянофильского взгляда на семейные отношения, то естественно, чтобы и изречение, которым троекратно подкрепляется совет «потерпеть», было бы такой же фольклорной формулой, освященной в глазах славянофильствующих реакционеров народностью своего происхождения. Придумать реакцион-

ный афоризм и приписать его народу — вероятно, для Некрасова в этом был бы оттенок поклепа. Естественно предположить, что и вторая часть повторяющейся формулы — тоже фольклорного происхождения.

И в самом деле, так оно и есть. «Милого побои недолго болят» — не придуманная Некрасовым сентенция; это народная пословица, имеющаяся еще в собрании Снегирева[1] и вошедшая в классическое собрание Даля, пристально изученное Некрасовым (как установили исследователи «Кому на Руси жить хорошо»). У Даля, расположившего пословицы по тематическим гнездам, эта пословица включена в раздел «Любовь — нелюбовь» и окружена аналогичными пословицами: «Милый ударит — тела прибавит»; «Милый побьет — только потешит»; «Милого побои не на кости».[2]

Это именно те пословицы, которые выражали рабскую покорность жены мужу и должны были побуждать революционных демократов к борьбе с мировоззрением, вызывавшим к жизни подобный фольклор.

Вероятно, пословица вместе со стихом песни и явились зерном, из которого возник замысел стихотворения «Катерина»; можно думать, что и стиховой размер определен пословицей «Милого побои недолго болят» (прочитанной с ударением на приставке в слове «недолго»).

Здесь то же отношение к пословице, которое ярко сказывается в творчестве Щедрина настойчивой сатирической интерпретацией пословиц, выражающих смирение, терпение, покорность, страх: «выше лба уши не растут», «лбом стены не прошибешь», «плетью обуха не перешибешь», «с сильным не борись, с богатым не тянись», «сила солому ломит», «всяк сверчок знай свой шесток», «не суйся с суконным рылом в калашный ряд», «по одежке протягивай ножки» и т. п.

4

Героиня стихотворения «Катерина» не подавлена ни общими советами, ни пословицами, ни гневом мужа, ни его побоями. Задорным вызовом отвечает она сердитому мужу:

---

[1] Снегирев И. Русские народные пословицы и притчи. М., 1848, с. 223.

[2] Даль В. Пословицы русского народа. М., 1957, с. 743, 744.

— Где была, там нету! так-то, мил дружок!

(II, 213)

Она не раба мужа и поэтому побои его принимает не с «бессмысленным, вечным испугом», а с насмешливым вызовом:

А и поколотит — не велик наклад:
Милого побои недолго болят!

(II, 213)

Это один из тех образов русской крестьянки в творчестве Некрасова, которые показывают ее сильной, мужественной, гордой несмотря на всю тяжесть ее доли. Эти образы появляются в творчестве Некрасова в 60-е годы, с усилением народной струи в его поэзии.

Среди многочисленных стихотворений 60-х годов, целиком или частично посвященных доле русской крестьянки («Коробейники», «Орина, мать солдатская», «Мороз, Красный нос», «В полном разгаре страда деревенская...»), есть одно, изображающее нравственные мучения женщины под гнетом жестокого патриархально-религиозного мировоззрения. Это — «Что думает старуха, когда ей не спится» (1862). Столетняя старуха «мечется на печи, охает, мается» в ужасе от сознания своей греховности. «Грехи» ее иллюзорны или ничтожны, но ей они представляются безмерными. Среди них есть такой:

С Федей-солдатиком чуть не слюбилася.

(II, 143)

Сознательная или бессознательная реминисценция этого в «Катерине»:

Есть солдатик Федя, дальняя родня,
Он один жалеет, любит он меня.

(II, 213)

Катерина слюбилась с «солдатиком Федей», но эта любовь не отравляет ее совести сознанием греховности, а радует Катерину, как просвет в ее печальной жизни. Любовь ее и Феди — это любовь равных людей, а не господина и рабы. В этой любви нет побоев, а есть сердечная искренность и подлинное сочувствие. Эта любовь дает Катерине силу на внутренний разрыв с постылым мужем.

Здесь сказались взгляды Некрасова на любовь и брак, характерные для всех революционных просветителей. Нет надобности останавливаться на них подробно. Они достаточно известны хотя бы по «Что делать?» Чернышевского. Для революционного просветителя в понятие свободы, основанной на «естественно-разумных» началах человеческой природы, входит свобода любви и свобода брака.

Любовь в изображении Некрасова — свободное чувство, сила и прелесть которого связаны с могучим обаянием свободы. Такой показана любовь в особенности в стихах с крестьянскими мотивами, в произведениях фольклорного стиля. Вспомним «Бурю», «На Волге», «Коробейников», «Горе старого Наума»...

Любовь людей из народа показана как любовь свободных и равных людей — и это связано с мировоззрением революционных просветителей. «Человеческие стремления», с которыми человек «рожден природою» и которые называются «братством, равенством, свободою», просыпаются в душе под влиянием «жизни вольных впечатлений» («Песня Еремушке»). В трудовом народе «человеческие стремления» пробуждает сама жизнь, более естественная, чем жизнь образованных классов.

Среди предшествующих «Катерине» стихотворений о любви и браке наиболее замечателен «Зеленый Шум», в котором Некрасов стремится показать, как в душе простого человека, расширяющейся и раскрывающейся навстречу миру по мере возрождения долго скованных сил весенней природы,— как в этой душе берут верх истинные, широкие и гуманные мысли над узкими, злыми, эгоистическими предрассудками.

Тут есть соответствие с идеями, развитыми Добролюбовым в известной статье «Черты для характеристики русского простонародья» (1860): «...следует строго различать в нем (в народе.— *Б. Б.*) последствия внешнего гнета от его внутренних и естественных стремлений, которые совсем не заглохли, как многие думают. Кто серьезно проникнется этой мыслью, тот почувствует в себе более доверия к народу, больше охоты сблизиться с ним, в полной надежде, что он поймет, в чем заключается его благо, и не откажется от него по лени или малодушию. С таким доверием к силам народа и с надеждою на его добрые расположения можно действовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать

на живое дело крепкие, свежие силы и предохранить их от того искажения, какому они так часто подвергаются при настоящем положении вещей».[1]

Если Некрасов и обращается к крестьянской женщине со словами:

Ты вся воплощенный испуг,
Ты вся вековая истома,—
(II, 110)

то в то же время он ищет в народной жизни такие женские типы, которые предвещают исход из состояния «воплощенного испуга», типы, в которых сказывается стремление к свободе и протест против гнета и насилия.

Эти типы жадно искала в литературе революционно-демократическая критика, поднимая на щит и те образы, которые не вполне подходили к идеалам революционных просветителей. Вспомним добролюбовскую интерпретацию Катерины — героини «Грозы» Островского. Эта героиня не обладает и начатками «естественно-разумного» мировоззрения; зато она обладает, по словам Добролюбова, «силой естественных стремлений человеческой природы».[2]

Быть может, по ассоциации со статьей Добролюбова возникло самое заглавие стихотворения Некрасова. В нем ведь есть некоторая странность: в тексте стихотворения Некрасова героиня не названа; к чему же нужно в этом случае сообщать читателю посредством заглавия, что героиню зовут таким-то, а не каким-либо иным именем? Не ассоциировалось ли имя Катерина (именно в этой, народной форме) после статьи Добролюбова с типом новой женщины из народа, «лучом света в темном царстве»?

Обрисованная немногими скупыми штрихами героиня лаконичного стихотворения Некрасова — это тип «нового человека» в народе. Она смело идет против общего мнения, против общества, исповедующего религию терпения, у нее есть убежденность в своей правоте, дающая ей силу на семейный разлад, на свободную любовь, на насмешку над попреками и побоями. В глазах революционных просветителей поведение Катерины — это борьба с несправедливыми, неестественными, насильственными семейными отношениями, являющая-

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. 6, с. 278.
[2] Там же, с. 351.

ся частью революционной борьбы против насилия над человеком вообще. За презрением Катерины к побоям мужа стоит презрение ко всему тому строю жизни, который держится на побоях, основа которого — грубое насилие. Борьба Катерины входит в широкую сферу борьбы угнетенного народа против насилия угнетателей.

Создавая образ Катерины, как и другие свои крестьянские образы, Некрасов отталкивался от реакционного фольклора и опирался на то, что было ему близким в народном творчестве. Ведь в том же собрании пословиц Даля, рядом с пословицами о смирении жены перед мужем, о покорности мужу, помещены и такие: «Под руки свяжет, и голову свяжет, а сердце не свяжет»; «Крестом любви не свяжешь»; «Бояться себя заставишь, а любить не принудишь»; «Всяк страх изгоняет любовь».[1]

Ведь рядом с песнями «о вечном терпении» раздавались задорные песни, полные удали и кипучей, уверенной силы. Ведь и в народной песне женщина далеко не всегда была подавлена волей грозного мужа, о котором пелось:

Хоть косись, не косись, не боюсь я тебя [2]—

или:

Уж я мужнину грозу в узелочек завяжу,
В узелочек завяжу, в уголочек положу,
В уголочек положу, а сама гулять пойду.[3]

Авторитетный исследователь русской песни И. Н. Розанов пишет:

«Достаточно просмотреть хотя бы предметные указатели к томам «Великорусских народных песен» Соболевского, чтобы убедиться, что на одну песню о женщине покорной, терпеливой и пассивной приходится десять о женщинах, не мирящихся с домостроевским укладом, натурах активных, ищущих выхода из своего положения и нередко находящих его. Если героем русской песни является удал добрый молодец, то излюбленной их героиней оказывается не кроткая, молчаливая и терпеливая страдалица, а бойкая, смышленая, энергичная и по-своему удалая молодка, под стать доброму молодцу.

---

[1] Даль В. Пословицы русского народа. М., 1862, с. 822.

[2] Народные русские песни из собрания П. Якушкина. СПб., 1865, с. 144.

[3] Великорусские народные песни. Изданы проф. А. И. Соболевским. СПб., 1896, т. 2, с. 123.

⟨...⟩ Вместо умерщвления плоти, проповедуемого духовно-нравственной литературой, провозглашается радость полнокровного бытия. Жажда личного счастья, желание любить не по указке других, а по собственной воле и выбору — вот основной мотив не только любовной, но семейно-бытовой народной лирики».[1]

Тертий Филиппов умилялся, как мы видели, «кроткой покорностью судьбе» женщины. Катерина называет своего мужа «лихой»,— эпитет, который здесь, как обычно в фольклоре, значит «злой», «вредный». Но Т. Филиппов делает свой тенденциозный вывод на основании случайного варианта песни, которая имеет и варианты с эпитетами, близкими по смыслу к некрасовской песне:

Четвертая зазнобушка — муж удала голова,
Муж удала голова — пьет, гуляет от меня.[2]

Или:

А и третья заботушка:
Муж удала головушка,
Замотайло-замотайлушка,
Замотал мою головушку.[3]

Некрасов недаром назвал «Катерину» песней. Она широко насыщена приемами народной песни, в особенности повторами и параллелизмами. Я уже указывал на троекратное повторение с вариациями центрального двустишия (стихи 9—14). Многие стихи, раздвоенные цезурой, построены по принципу параллелизма полустиший, например:

Пьяный всё колотит, трезвый всё ворчит...
Он один жалеет, любит он меня...

Станет горячиться, станет попрекать...
и т. п.

Это создает песенные интонации.

Но «Катерина» не только песня, но и рассказ, не только лирическое выражение чувства, но и реалистический показ действительности. Ведущееся от лица

---

[1] Розанов И. Н. Борьба с «Домостроем» в народной лирике.— В кн.: Проблемы реализма в русской литературе XVIII века. М.— Л., 1940, с. 190.

[2] Песни крестьян Владимирской и Костромской губерний, собранные Александром Смирновым. М., 1847, с. 18.

[3] Кохановский Н. С. Несколько русских песен.— «Русская беседа», 1860, № 1, с. 95.

крестьянки, стихотворение полно бытовых крестьянских интонаций и фраз. С песенными формулами «вянет красота», «лихой муж», «мил дружок» переплетаются идиомы разговорного просторечия: «нет в дому житья», «что ни попало», «где была, там нету», особенно в конце стихотворения, где целые стихи состоят из таких идиом:

Пусть его бранится, мне не привыкать!..
А и поколотит — невелик наклад...

(II, 213)

В диалоге ярко рисуются образы грубого мужа и смелой жены:

«Где ты пропадала?» — спросит муженек.
«Где была, там нету! так-то, мил дружок!

Посмотреть ходила, высока ли рожь!»
— «Ах ты, дура баба! ты еще и врешь...»

(II, 213)

Прозаизмы не лишили стихотворение песенного характера. Как уже сказано выше, «Катерина» вошла в репертуар народной песни. С начала 80-х годов стихотворение включалось в песенники. Оно положено на музыку Цезарем Кюи, но в народе пелось на более простой мотив неизвестного автора. [1]

Используя в своей поэзии устное творчество народа с такой интенсивностью, как ни один другой русский поэт XIX века, творя новую народную песню, Некрасов смело вводит в нее новые мотивы и способы разработки. По мысли Н. П. Андреева, «задача Некрасова заключается не в том, чтобы следовать за фольклором, воспроизводить фольклорные образцы, а в том, чтобы, пользуясь фольклорными приемами и делая тем самым свои произведения доступными крестьянству, воздействовать на крестьянское сознание, будить и прояснять его, создавать новые произведения, которые могли бы войти в песенный обиход и таким образом сделаться средством пропаганды революционных идей».[2]

---

[1] См. комментарий В. Е. Гусева в кн.: Песни и романсы русских поэтов. М.— Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1965, с. 1039.
[2] Некрасов в русской критике, с. 174.

ЗАМЫСЕЛ ПОЭМЫ «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»

1



Сквозь «хрестоматийный глянец», густо наложенный на поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», трудно разглядеть некоторые ее особенности, прежде всего крайнюю странность ее замысла.

Замысел этот четко намечен в «Прологе» поэмы. Семеро крестьян затевают спор о том, каким группам населения «на Руси жить хорошо», и в совокупности как будто совершенно правильно определяют эти группы. Но, не знакомые с жизнью верхних слоев общества, они решают совместно выяснить, «кому живется весело, вольготно на Руси», и для этого опросить представителей всех названных групп.

Пока здесь нет еще ничего странного, кроме разве того, что все спорящие принимают презумпцию, согласно которой хорошо живется лишь одному из названных кандидатов — то есть либо помещику, либо чиновнику и т. д.,— в результате чего и возникает спор, переходящий в жестокую драку. Но это — условность, мотивирующая дальнейшее путешествие спорщиков и мотивированная фольклорно-сказочным колоритом пролога. Вообще же не было бы, кажется, ничего странного, если бы поэт захотел показать «вольготную» жизнь господствующих классов как бы увиденной глазами самого народа и судимой его судом, подобно тому как это сделал впоследствии Лев Толстой в «Плодах просвещения». Революционно-демократический поэт мог бы воспользоваться таким приемом, чтобы показать контраст между «счастьем» сытых тунеядцев и несчастьем обираемого и унижаемого ими голодного и нищего народа. Это кажется настолько естественным, что иногда первоначальный план поэмы так и характеризуют, как пред-

усматривавший «изображение счастливых представителей дармоедства во всех его видах».[1]

Но Некрасов не пошел по этому пути.

Странность его замысла состоит в том, что никто из опрашиваемых кандидатов в счастливые не признает себя счастливым и каждый убеждает опрашивающих странников в том, что не он тот счастливец, которого они ищут. А поскольку среди низших слоев уже заведомо нет счастливых, их, значит, нет ни в одном слое общества.

Убедимся прежде всего в том, что замысел поэта был действительно таков.

В написанных частях поэмы из предполагаемых счастливцев опрошены лишь поп и помещик, в черновике еще чиновник. Все они считают себя несчастными. Но ведь нелепо было бы предположить, что по замыслу поэмы несчастливая доля попа, помещика и чиновника должна была быть противопоставлена счастливой доле купца, министра или царя. Значит, несчастливы и они.

Замысел Некрасова документирован мемуарным свидетельством Глеба Успенского, не вызывающим никаких сомнений в своей правдивости.

Глеб Успенский так передает свой разговор с Некрасовым:

«Однажды я спросил его:

— А каков будет конец «Кому на Руси жить хорошо»?

— А вы как думаете?

Н. А. улыбался и ждал.

Эта улыбка дала мне понять, что у Н. А. есть на мой вопрос какой-то непредвиденный ответ, и, чтобы вызвать его, я наудачу назвал одного из поименованных в начале поэмы счастливцев.

— Этому? — спросил я.

— Ну вот! Какое там счастье!

И Н. А. немногими, но яркими чертами обрисовал бесчисленные черные минуты и призрачные радости названного мною счастливца.

— Так кому же? — переспросил я.

И тогда Н. А., вновь улыбнувшись, произнес с расстановкой:

[1] Прокшин В. Г. Из творческой истории эпопеи «Кому на Руси жить хорошо» (По материалам рукописей).— В кн.: О Некрасове. Статьи и материалы. Ярославль, 1971, с. 168.

— *Пья-но-му!*

Затем он рассказал, как именно предполагал окончить поэму. Не найдя на Руси счастливого, странствующие мужики возвращаются к своим семи деревням: Горелову, Неелову и т. п. Деревни эти «смежны», стоят близко друг от друга, и от каждой идет тропинка к кабаку. Вот у этого-то кабака встречают они спившегося с кругу человека, «подпоясанного лычком», и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо.

Это окончание поэмы в литературных кругах известно, по всей вероятности, не мне одному. Сообщаю его для провинциальных читателей».[1]

Подобный финал, очевидно, означает, что в стране, где нет подлинного счастья, возможно лишь иллюзорное счастье, символом которого и является счастье пьяного.

Успенский не раскрывает, кого из предполагаемых счастливцев он назвал Некрасову. Прав, я полагаю, С. А. Червяковский, указавший, что «Успенский, по всей вероятности, назвал царя» и что «не случайно «счастливец» здесь прямо не назван», так как это «было рискованным».[2]

Цензурный характер умолчания Успенского очевиден: любой другой кандидат мог быть назван прямо. А уж если и царь несчастлив, что же говорить о прочих кандидатах?

Другой мемуарист — А. А. Шкляревский — вспоминает об аналогичном разговоре с Некрасовым. Он обратился к Некрасову с тем же вопросом, и поэт так же ответил вопросом на вопрос: «А кому, вы полагаете?»

Шкляревский не стал искать кандидата среди указанных в поэме, а сказал, «что лучшего житья никому нет, как лакеям всех сортов и видов». На это Некрасов заметил, что «порою и им крепко достается, так что как порассудить, то на белом свете не хорошо жить никому».[3]

---

[1] Успенский Г. И. «Кому на Руси жить хорошо» (Письмо в редакцию).— Успенский Г. И. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 6, с. 179—180.

[2] Червяковский С. А. Творческая работа Некрасова над поэмой «Кому на Руси жить хорошо».— Труды Горьковского пед. ин-та, вып. 8, 1940, с. 22.

[3] Шкляревский А. Из воспоминаний о Н. А. Некрасове.— «Нива», 1880, № 48, с. 773—774.

По свидетельству Н. К. Михайловского, «Некрасов хотел кончить поэму «Кому на Руси жить хорошо» иронически-скорбным ответом: „хмелю"».[1]

Нелишним будет установить время бесед, в которых Некрасов так намечал конец своей поэмы. В. В. Гиппиус основательно датирует разговор Успенского с Некрасовым периодом 1872—1874 годов.[2] Шкляревский сам датирует свой разговор февралем 1875 года.

Указание Михайловского, ближайшего сотрудника журнала Некрасова «Отечественные записки», сделано после смерти поэта. Таким образом, намерение Некрасова закончить поэму символом всеобщего несчастья не является ранним, вскоре отпавшим намерением.

Даже начиная работать над «Пиром на весь мир», Некрасов еще держался такого направления заключительной мысли. Л. А. Евстигнеева справедливо пишет о «Пире»: «Как показывают черновые наброски, вначале он был связан с мыслью о невозможности счастья на Руси.

Нет на Руси счастливого,
Напрасно вы измучитесь.
Да и не может быть,—

уверяют вахлаки странников. Начиная работать над главой, Некрасов исходил из общей для всех предыдущих глав мысли: нет и не может быть счастливого на Руси».[3]

Итак, Некрасов положил в основу поэмы мысль о том, что сильные мира сего, включая самого царя,— совсем не счастливые люди. В чем же смысл такого тезиса? Впервые К. И. Чуковский поставил этот вопрос и предложил свое решение. Он утверждает, что выставленный поэтом замысел не является подлинным замыслом поэмы, а псевдозамыслом, сочиненным для цензуры. «Когда в своей поэме,— пишет К. И. Чуков-

---

[1] Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. СПб., 1909, т. 7, с. 22.

[2] Гиппиус В. В. К изучению поэмы «Кому на Руси жить хорошо».— Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934, с. 303.

[3] Евстигнеева Л. А. Спорные вопросы изучения поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».— В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. М., 1971, с. 397.

ский,— он (Некрасов.— *Б. Б.*) изображал дело так, будто он и вправду хочет дознаться, счастливы ли в России сановники, министры, купцы и помещики, это была, так сказать, дымовая завеса для прикрытия истинного сюжета поэмы. ⟨...⟩ Весь поставленный в этой поэме вопрос — кому на Руси жить хорошо — нельзя не признать маскировкой подлинной некрасовской темы: как глубоко несчастлив народ, «облагодетельствованный» крестьянской реформой». [1] С таким объяснением замысла поэмы нельзя согласиться. Некрасов был певцом народного горя и писал о нем, не прячась за какие-то защитные темы. Он и в поэме развивает тему «бедствий народных» не под прикрытием объявленного замысла, а независимо от него, причем особенно резко в трех частях, следующих за первой, а ведь в этих частях тема счастья господ отсутствует (если не считать фиктивного счастья дурачимого «последыша»). Да и почему, чтобы угодить цензуре, надо было выдумывать псевдосюжет о том, что все население страны несчастно? Цензуре ведь хотелось обратного: чтобы писатели изображали все классы русского общества благоденствующими.[2]

Иную, но столь же неубедительную концепцию развивает В. А. Архипов в своей книге «Поэзия труда и борьбы», изданной в 1961 году и переизданной в 1973 году без всяких изменений. Согласно В. А. Архипову, поэма «Кому на Руси жить хорошо» — «это поэма о побеждающей русской революции»; «60—70-е годы (сложившаяся революционная ситуация 1859—1861 годов) дали Некрасову возможность поставить идею крестьянской революции на прочную реальную основу». По Архипову, в эту пору все уже понимали неизбежность крестьянской революции, и поэтому представители привилегированных классов не могли жить не только счастливо, но и сколько-нибудь спокойно в ожидании революции. «Помещик и купец, поп и чиновник, царь и министры — едино суть,— пишет В. А. Архипов.— Им всем не сладко живется. Не сладко потому, что идея

---

[1] Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. М., 1971, с. 695—696.

[2] Подробнее см. в моей ст.: «Об изучении эзопова языка Некрасова».— В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4. Ярославль, 1977, с. 10—12.

революции зреет в сознании народа».[1] Таким образом, по Архипову, господствующие классы в самом деле несчастны.

Такая концепция не имеет подтверждений ни в тексте поэмы, ни в истории России. Крестьянская революция в эту пору не могла стать «побеждающей». Революция вообще смогла победить лишь под руководством пролетариата, через полвека.

Конечно, крестьянские волнения сильно тревожили помещиков и правительство, оперативно подавлявшее разрозненные «беспорядки» посредством воинских команд, но в близкую возможность победоносной революции верило лишь небольшое число интеллигентов революционной ориентации. Представлять рядового купца или чиновника той поры охваченными ужасом перед со дня на день ожидаемой революцией, а крестьянскую массу жаждущей революции и готовой принять в ней немедленное участие — это значит сочинять фантастическую историю России вместо подлинной.

Естественно, что к анализу текста поэмы В. А. Архипов почти не прибегает, а если и прибегает, то с полным, я бы сказал, извращением его прямого смысла. Так, в доказательство изначальной ненависти семи мужиков ко всем названным ими кандидатам в счастливцы Архипов приводит то, что они бьют Луку за «его холуйство перед попами», а Прова «утюжат» за преклонение перед царем: его учат, «как надо относиться к царю».[2] Однако ведь Луку «тузит» Демьян, которого по той же логике надо считать «холуем» чиновников, а Прова «утюжат» братья Губины, которые «холуйствуют» перед купцом. Непонятно и то, почему предположение, что попу, помещику и т. д. «на Руси жить хорошо», является «холуйством» перед ними.

Некрасов не закрывал глаза на монархические иллюзии тогдашнего крестьянства. Черновые строки, относящиеся к встрече странников с царем, гласят:

---

[1] Архипов В. А. Поэзия труда и борьбы. Очерки творчества Н. А. Некрасова. Ярославль, 1961, с. 311, 230 и 301.

[2] Там же, с. 289, 290, 300.

Глядели, любовалися
И с умиленьем думали:
«Дойдем и до тебя».[1]

(III, 451)

Трудно понять В. А. Архипова. Он словно бы рассчитывает на читателя, не знакомого с поэмой Некрасова.

Итак, и концепция В. А. Архипова неприемлема.

Наиболее научно корректным представляется объяснение замысла поэмы, предложенное (правда, мельком) В. Е. Евгеньевым-Максимовым. Оно состоит в том, что господствующие классы не признают себя счастливыми, их обделила и обидела крестьянская реформа. «Материальное благосостояние кандидатов на счастье поколеблено, они категорически отказываются признать себя счастливыми»,— пишет Евгеньев-Максимов.[2]

Однако и это объяснение нельзя считать правильным. Если помещик в посвященной ему главе поэмы действительно считает себя несчастным из-за отмены крепостного права, если в речи попа имеется подобный мотив, хотя и не главный, то уж купец никак не мог быть недовольным реформой. Что буржуазия только выиграла во всех отношениях от падения крепостного права — это истина не только бесспорная для нас, но и вполне ясная в эпоху создания поэмы Некрасова. Сомнительно, чтобы несчастной из-за падения крепостного права чувствовала себя и бюрократия, получившая полную власть над большинством народа, до тех пор подчиненного, в основном, не ей, а помещикам. Но главное: в чем же мог бы заключаться идейный смысл поэмы, посвященной огорчениям господствующих классов, недовольных реформой?

Других попыток объяснить замысел, заявленный в прологе поэмы, кажется, нет, и, поскольку приведенные интерпретации неверны, вопрос остается без ответа.

---

[1] В. Т. Плахотишина усматривает в последней фразе «мысль о том, что рано или поздно угнетенный народ доберется до царя и расправится с ним по-своему» (Плахотишина В. Т. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Киев, 1956, с. 22.). Это яркий образец распространенного приема вырывать фразу из контекста, чтобы придать ей желательный смысл.

[2] Евгеньев-Максимов В. Е. Творческий путь Н. А. Некрасова. М.— Л., 1953, с. 238.

2

Если тезис К. И. Чуковского о замысле поэмы Некрасова как псевдозамысле очевидно несостоятелен, самая мысль о том, что основная тема поэмы — не печали привилегированных классов, а горести и бедствия народа, представляется бесспорной и широко бытует в некрасоведении. Тема отсутствия счастья в народной жизни уже в первой части поэмы превалирует над темой господских огорчений, а в дальнейших частях и совсем вытесняет ее.

Однако и такая постановка вопроса о счастье — то есть возможности счастья в народной массе — представляется странной: незачем было крестьянам покидать свои Разутовы, Гореловы, Нееловы, чтобы узнать, счастливы ли крестьяне. А уж если «втемяшилась в башку» такая идея, так ведь еще в 4-й главе первой части странники пришли к твердому выводу, что мужицкого счастья им не для чего искать:

Эй, счастие мужицкое!
Дырявое с заплатами,
Горбатое с мозолями,
Проваливай домой!

(III, 61)

Однако в «Последыше» свою цель странники прямо формулируют как поиски крестьянского счастья:

«Мы ищем, дядя Влас,
Непоротой губернии,
Непотрошенной волости,
Избыткова села!..»

(III, 95—96)

А затем странники идут расспрашивать о счастье крестьянскую женщину, хотя не могут не знать, что бабье счастье еще менее заслуживает расспросов, чем мужичье. Надо ли было так долго толковать с Матреной Тимофеевной, чтобы установить, что «не дело между бабами счастливую искать»? Когда странники спорят о том, вольготно ли живется помещику, чиновнику и прочим, здесь грамматическое единственное число — собирательное. Речь идет, конечно, не о том, найдется ли среди помещиков, чиновников и прочих человек, довольный жизнью, а о том, счастлив ли класс помещиков, сословие попов и т. д. Только так может ставиться вопрос и в отношении крестьян: отдельные

лица, которым повезло в жизни и которые довольны ею, могут найтись в любом классе общества,— вопрос о том, каково живется классу крестьянства. Как справедливо подчеркивает С. А. Червяковский, странники «ищут коллективного счастья народа, а не счастья одиночек».[1] А крестьянам без расспросов должно быть ясно, что крестьянству живется не весело и не вольготно.

Таким образом, вся затея оказывается непонятной.

Впрочем, находятся исследователи, которые и поиск счастливого среди мужиков объявляют рациональным и результативным. По мнению В. Г. Прокшина, «образами счастливцев являются образы Якима Нагого, Ермилы Гирина, Матрены Тимофеевны, Савелия Корчагина, Власа Ильича, Кудеяра, предвосхищавшие некоторыми своими чертами героический характер народного заступника. Рассказ о Савелии, богатыре святорусском, мотивирован словами героини: «Грех промолчать про дедушку, счастливец тоже был...» Так можно сказать о каждом названном здесь лице. Все это своеобразные «счастливцы». Ермил Гирин и Матрена Тимофеевна прославлены счастливыми молвой народной. Огромной любовью и доверием пользуются Яким Нагой, Влас и Кудеяр. В легенде «О двух великих грешниках» Кудеяр признан всех святей, а значит, и всех счастливей. Образами шести названных героев из народной среды поэт вплотную подводит нас к тому пониманию человеческого счастья, которое свойственно народному заступнику».[2]

В. Г. Прокшин не ставит вопроса о том, почему же странники разошлись с ним в оценке счастливцев из народа, почему сами эти счастливцы не признали себя таковыми. И опять-таки, какой же идейный смысл в признании того, что счастливых надо искать не среди богатых и чтимых, а среди бедных и бесправных?

Приходится признать, что на каком-то этапе работы над поэмой замысел опросить хозяев жизни, счастливы ли они, совсем отпал или был резко отодвинут.

---

[1] Червяковский С. А. Из творческой работы Некрасова над поэмой «Кому на Руси жить хорошо».— В кн.: О Некрасове (Сборник статей). Ярославль, 1958, с. 71.

[2] Прокшин В. Г. О структуре эпопеи «Кому на Руси жить хорошо».— Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1976, № 4 (94), с. 76.

На каком же этапе это произошло? У современных исследователей заметна тенденция относить изменение замысла почти что к самому началу работы над поэмой. Указывают, что уже во 2-й главе первой части — «Сельская ярмонка» — Некрасов свернул с намеченного пути.

«Из тех, кто назывались счастливыми в первоначальном споре,— пишет В. Г. Прокшин,— на ярмарке скорее всего можно было встретить купца или чиновника».[1] В самом деле, где же легче встретить купца, чем на ярмарке? И чиновников тут было достаточно. Сказано ведь:

Акцизные чиновники
С бубенчиками, с бляхами
С базара пронеслись.
(III, 42)

Некрасов же не сводит своих странников ни с купцом, ни с чиновником, но повествует в этой и двух соседних главах о множестве народных судеб.

Этот факт бесспорно должен быть принят во внимание, но он не свидетельствует об отказе от заявленного замысла почти сразу после его фиксации. Ведь первую часть завершает глава «Помещик», а в 1870 году, то есть через пять лет после завершения первой части поэмы, Некрасов спрашивает А. М. Жемчужникова, стоит ли, по его мнению, продолжать работу над ней, и добавляет: «Еще впереди две трети работы» (11, 166). Две трети, очевидно, по числу запланированных встреч: из шести остались четыре.

Но Некрасов сошел с этого пути. В 1872 году он написал «Последыша», в 1873 году — «Крестьянку», которая, правда, заканчивается советом Матрены Тимофеевны странникам не сбиваться с плана и провести те опросы, которые были намечены:

Идите вы к чиновнику,
К вельможному боярину,
Идите вы к царю,

---

[1] Прокшин В. Г. О композиционно-сюжетных особенностях эпопеи «Кому на Руси жить хорошо».— В кн.: «Некрасовский сборник». Л., 1967, т. 4, с. 99. См. также: Груздев А. И. О композиции поэмы «Кому на Руси жить хорошо».— В кн.: Истоки великой поэмы. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Ярославль, 1962, с. 142.

А женщин вы не трогайте,—
Вот бог! ни с чем проходите
До гробовой доски!

(III, 194)

В том же 1873 году, когда писалась «Крестьянка», Некрасов работает над главой о чиновнике, в которой чиновник, так же как поп и помещик, рассказывает странникам, как печальна его жизнь.

Не раз указывалось на то, что в черновиках поэмы есть несколько строк, относящихся к встрече странников с царем, или такие стихи, как

Зимой в далеком Питере
Нежданно наши странники
Наткнулись на служивого...

(III, 451)

Значит, Некрасов и после первой части пытался вне основного русла, по которому пошла поэма, создавать какие-то ситуации, связанные с замыслом, обозначенным в прологе, но терпел в этом неудачу. Причины этой неудачи могут быть уяснены только после раскрытия того, какой идейный смысл имел для Некрасова замысел его поэмы. Но то, что Некрасов уже в начале поэмы от опроса попа сразу перешел к широкой панораме народной жизни, доказывает не отказ от первоначального замысла, а только более широкий характер этого замысла. Очевидно, с самого начала замысел не ограничивался вопросом о счастии обеспеченных. Не было двух замыслов — первоначального и заменившего его нового. Был единый двухчастный замысел, одна часть которого, зафиксированная в прологе, впоследствии отпала. Исследование должно выяснить — хотя бы гипотетически — причины распада замысла, но этот замысел может быть понят только как единый.

3

Как же понимать этот замысел? Для чего было ставить вопрос, счастливы ли привилегированные классы, и как можно было запланировать отрицательный ответ на этот вопрос?

Объяснения, предложенные исследователями до сих пор, как мы уже видели, совершенно несостоятельны.

Эти объяснения при всей их разнородности имеют общую базу. Они исходят из того понимания счастья, которое присуще самим опрашиваемым представителям

господствующих классов. Это, правда, естественно, поскольку такое понимание свойственно и опрашивающим их странникам.

Первый опрос начинается с установления критериев счастья. Поп говорит:

«В чем счастие, по-вашему?
Покой, богатство, честь —
Не так ли, други милые?»
Они сказали: так...

(III, 21)

И тот же критерий счастья у другого попа, рассказывающего странникам о Ермиле Гирине:

Да! был мужик единственный!
Имел он все, что надобно
Для счастья: и спокойствие,
И деньги, и почет...

Однако теперь в тот же перечень вносится новый критерий — этический. Священник продолжает:

Почет завидный, истинный,
Не купленный ни деньгами,
Ни страхом: строгой правдою,
Умом и добротой!

(III, 71)

Если элиминировать этическую сторону дела и считать счастливыми богатых, знатных, беззаботных бездельников, заглавный вопрос поэмы сведется к тавтологии: «Счастливы ли счастливые?», а ответ — к парадоксу: «Счастливые несчастливы». И почему это так — понять невозможно: ведь «покой, богатство, честь» были уделом множества людей в верхних сословиях.

К. И. Чуковский пишет:

«Писатель, который постоянно твердил:

Два лагеря, как прежде, в божьем мире:
В одном рабы, властители в другом,—

не мог допытываться вместе со странниками, «кому живется весело, вольготно на Руси», ибо во всех его произведениях, на протяжении всей его жизни, на этот вопрос всегда, неизменно давался один и тот же четкий и внятный ответ. В поэме «Несчастные» он говорил о Петербурге и его богатых районах:

...Пышны в нем
Театры, улицы, жилища
Счастливцев мира...

Здесь не было случайной обмолвки: через все его книги проходит уверенность в том, что представители привилегированных классов есть узурпаторы счастья обездоленных масс, и потому он неизменно зовет их счастливцами:

Вороти их! в тебе их спасение!
Но счастливые глухи к добру...»[1]

Здесь слово «счастливые» действительно имеет то значение, которое придает ему К. И. Чуковский; но это значение компрометируется контекстом:

Ты, считающий жизнью завидною
Упоение лестью бесстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,
Пробудись! Есть еще наслаждение:
Вороти их! в тебе их спасение!
Но счастливые глухи к добру...

(II, 14)

«Покой, богатство, честь» — такое счастье «владелец роскошных палат» имеет, но это — позорное счастье.

Цитируя из стихов Некрасова такие места, где слова «счастливые», «счастливцы» обозначают богатых и знатных, К. И. Чуковский умалчивает о других значениях слова «счастье» и производных от него.

Когда Некрасов пишет:

Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна,—

(II, 275)

речь идет явно не о счастье богатого бездельника. Две концепции счастья и, в связи с ними, выбор между двумя жизненными путями — это одна из ведущих тем поэзии Некрасова. Счастью фальшивому, «призрачному», как любили выражаться просветители, противопоставляется подлинное счастье. Всего декларативнее это противопоставление дано в «Песне Еремушке». В песне няни обрисовано понимание счастья как «покоя, богатства, чести» и начертан путь, ведущий к такому счастью. В песне «проезжего» идеалы няни отвергаются. «Будь счастливей»,— призывает «проезжий» и рисует то счастье, которого желает Еремушке. Оно в том,

[1] Чуковский К. И. Мастерство Некрасова, с. 694—695.

чтобы «возлелеять» в душе «человеческие стремления», с которыми человек «рожден природою»:

Братством, равенством, свободою
Называются они...

(II, 19)

Пойдя по этому пути, Еремушка

Над неправдою лукавою
Грянет божьею грозой...

(II, 20)

Таков путь к счастью человека, развившего в себе «человеческие стремления»,— «разумного эгоиста».

В «Пире на весь мир» есть два полярно противоположных счастливца. Пан Глуховский счастлив не только тем, что имеет все, что «чтит»: «женщину, золото, честь и вино», но и тем, что своих «холопов» «мучит, пытает и вешает». А Гриша Добросклонов счастлив тем,

Что будет жить для счастия
Убогого и темного
Родного уголка...—

(III, 238)

и тем, что в своих стихах воспевает «воплощение счастия народного».

Очевидно, что при столь разных критериях счастья никакого общего вывода о счастье на Руси сделать невозможно. Очевидно, что счастье Глуховских в счет не идет: о таком счастье нечего расспрашивать.

Счастливец в поэме должен быть установлен путем опросов; однако в этот ранг не возводятся те, кто сами себя считают счастливцами. Вспомним галерею простых людей, объявляющих себя счастливыми: один — потому, что не погиб, постоянно охотясь на медведей, другой — потому, что остался жив на войне и в солдатчине, третий — потому, что вволю ест хорошего хлеба, четвертый — потому, что, обладая большой силой, неплохо зарабатывает и т. д.

Но не удостаиваются звания счастливца и те, кого считает счастливым общественное мнение крестьянского мира, с которым естественно согласиться и семи странникам. В этом плане особенно любопытна история Ермила Гирина. Его считает счастливым широкий круг

народа. О нем говорит странникам крестьянин Федосей:

Коли Ермил не выручит,
Счастливцем не объявится,
Так и шататься нечего...

(III, 61—62)

При этом, как я уже указал, здесь соединяются и материальные и моральные критерии счастья. Казалось бы, счастливец найден, но Некрасов обрывает эту версию. Оказывается, Гирин сидит в тюрьме за то, что отказался уговаривать крестьян не бунтовать, когда «сам государев посланный» обратился к нему за поддержкой по инициативе волостного писаря:

Хотели уж солдатикам
Скомандовать: пали!
Да волостному писарю
Пришла тут мысль счастливая,
Он про Ермилу Гирина
Начальнику сказал:
«Народ поверит Гирину,
Народ его послушает...»
— «Позвать его живей!»

(III, 72)

Закон не мог обязать частное лицо к подобному выступлению, так что тюремное заключение Гирина вряд ли могло быть длительным.[1]

Если бы Некрасов хотел признать счастливым человека типа Гирина, он мог бы не вводить тюремный эпизод.

Конечно, Некрасов хочет этим эпизодом показать, что счастью на Руси препятствует угнетение народа, так или иначе лишающее счастья сочувствующих народу людей, но сейчас я хочу обратить внимание на то, что признанному народом счастливцу семь странников не присваивают этого звания.

По своему социальному положению владелец мельницы, купивший ее за три тысячи рублей,— купец. По происхождению Ермил Гирин крестьянин, но купцы

---

[1] Текст поэмы не дает никаких оснований видеть в Ермиле Гирине «предводителя крестьян», восставших в деревне Столбняки, проявляющего в этом деле «умение руководить, организовать протестующую массу» (Соколов В. Б. От крестьянской утопии к образу пореформенной России (Алексей Потанин и Ермил Гирин).— Уч. зап. Калинингр. гос. ун-та. Вып. 5, 1970, с. 104).

ведь, как правило, были выходцами из крестьянства. Признав счастливым Гирина, поэт должен был бы объявить счастливым купца, что никак не входило в план поэмы. Счастье купца, нажившего — пусть и законным путем — изрядный капитал, пусть и порядочного, справедливого, доброго человека,— это не то счастье, которое могло разрешить спор странников, потому что это счастье не того плана, который имел в виду поэт.

Очевидно, понять замысел поэмы вне авторской концепции счастья нельзя.

Вопрос о возможности счастья для людей из обеспеченных слоев населения — не случайный и не надуманный вопрос. Ответ на этот вопрос мы находим в сочинениях демократов-просветителей, и ответ этот всегда одинаков. Приведу несколько цитат, количество которых можно было бы и умножить:

«Любовь и доброжелательство (способность радоваться счастью окружающих нас людей и огорчаться их страданиями) так же врождены человеку, как и эгоизм. Кто действует исключительно по расчетам эгоизма, тот действует наперекор человеческой природе, подавляет в себе врожденные и неискоренимые потребности. ⟨...⟩ Голодный человек, конечно, не может чувствовать себя хорошо; но и сытый человек не чувствует себя хорошо, когда вокруг него раздаются несносные для человеческого сердца стоны голодных». [1]

«Наше счастье невозможно без счастья других». [2]

«...Это одно и натурально, одно и по-человечески; просто по-человечески — «я чувствую радость и счастье» — значит «мне хочется, чтобы все люди стали радостны и счастливы» — по-человечески ⟨...⟩ эти обе мысли одно». [3]

«...В каких бы благоприятных условиях ни стоял человек, он не может быть вполне счастливым, если его окружают несчастливые».[4]

«Когда удовлетворены твои потребности, является страстное желание сделать всех счастливыми».[5]

---

[1] Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы.— Полн. собр. соч. М., 1947, т. 3, с. 230.

[2] Чернышевский Н. Г. Что делать? Л., 1975, с. 9.

[3] Там же, с. 61.

[4] Салтыков-Щедрин М. Е. Дневник провинциала в Петербурге.— Собр. соч. М., 1970, т. 10, с. 380.

[5] Помяловский Н. Г. Молотов.— Соч. М.— Л., 1965, т. 1, с. 263.

То же находим у философского учителя русских просветителей-демократов 60-х годов Людвига Фейербаха:

«Счастливый может видеть вокруг себя лишь счастливых».[1]

Революционные и даже просто оппозиционные настроения обычно вызывались прежде всего бедностью и бесправием широких масс народа. Эти переживания вызывали желание облегчить жизнь народа, сделать всех людей счастливыми. Для просветителей философской базой было учение о естественных стремлениях человека, среди которых одно из первых мест занимало стремление к общему счастью людей. Человек, у которого развито это стремление, удовлетворяя его, сам чувствует себя счастливым.

Эти тезисы безусловно совпадают с постоянными призывами Некрасова найти путь к подлинному, а не к мнимому счастью. Но каким образом это общепросветительское понимание счастья могло лечь в основу некрасовской поэмы о счастье?

Мы знаем, что по долго державшемуся замыслу счастливого не должно было оказаться. Это, очевидно, связано с коренной идеей, что не может быть счастья там, где несчастен народ. Вот почему показ народного горя органически входит в замысел поэмы.

Как уже показано выше, основа поэмы — не недовольство привилегированных классов своей жизнью, а бедственные условия жизни народа до и после реформы. Уже количественное соотношение строк, посвященных той и другой теме, ясно показывает, какая из этих тем главная.

Замысел показать невозможность счастья, когда вокруг люди несчастны, определеннее всего проявился и окончательно сложился в главе о чиновнике, над которой Некрасов работал, видимо, летом 1873 года, то есть одновременно с работой над «Крестьянкой», и в которой не продвинулся дальше предварительных набросков в прозе и немногих стихотворных отрывков.

Из «бедствий народных» Некрасов выбрал для этой главы самое губительное для крестьянской семьи бедствие — падеж скота:

---

[1] Фейербах Л. Основы философии будущего. М., 1937, с. 137.

Беда непоправимая,
Когда валиться лошади
У пахарей начнут...

(*III, 448*)

На борьбу с эпизоотией послан ветеринарный врач. Никакой возможности спасти заболевших животных и остановить распространение заразы он не имеет:

...Случаев
Выздоровленья не было
В разгар эпизоотии...

(*III, 449*)

И тут его застают семь странников и убеждаются, что и чиновник несчастлив.

Но ветеринар — не главный чиновник, опрашиваемый крестьянами. На тщетную борьбу с сибирской язвой прибыл сам исправник, начальник полиции уезда, и с ним-то странники ведут долгую беседу.

«После сцены сибирской язвы,— пишет Некрасов,— под утро, среди этой обстановки — вопрос крестьян к исправнику, рассказ его, которым я покончиваю с тем мужиком, который утверждал, что счастлив *чиновник*».[1]

Исправник жалуется не только на невозможность прийти на помощь крестьянской беде. Он говорит о своих нравственных страданиях от того, что сама его деятельность вносит горе и беду в народную жизнь. Речь его известна нам по предварительному наброску в прозе. Некрасов не стал перелагать его в стихи. Приведем отрывок:

«Как позовет тебя губернатор да даст приказ во что бы то ни стало к такому-то числу такую-то сумму очистить!.. Ну и едешь во все свое царство, в уезд, словно в воду опущенный,— знаешь, что везешь туда горе, слезы, и сколько этих слез и горя. 〈...〉 Зверем-то не всякий родится, даже редко, чтоб чувствовал удовольствие, как зубы валятся изо рта мужиков, борода редеет, да чтоб кричал, бранился. 〈...〉 А преступления? То и знай «не виноват», а ты его под кнут, а ты его в Сибирь» (3, 448).

---

[1] Некрасов Н. А. Стихотворения. Посмертное издание. СПб., 1879, т. 4, с. IXXXIX. В изд. «Б-ки поэта» текст воспроизведен неточно.

То, что глава, входящая в число наиболее обязательных по первоначальному замыслу, не была продвинута за пределы набросков, характерно и закономерно. Просветительский тезис, на котором она основана, не соответствовал ни революционным импульсам поэмы, ни художественной правде ее образов. Народолюбивый исправник, хотя и зверствующий над народом, но сам от этого страдающий,— образ, разумеется, крайне нетипичный.

В известной мере та же мысль о невозможности счастья в окружении несчастных выражена в главе «Поп» — в той части речи попа, где он говорит о том, как мучительно брать деньги за требы с полунищих людей. Однако этот мотив лишь завершает рассказ попа, в котором больше места уделено сетованиям на то, что с падением крепостного права кончилась и материальная поддержка духовенства помещиками, ныне обедневшими и покинувшими свои имения.

Совсем уже отсутствует просветительская идея в главе «Помещик», заканчивающей первую часть поэмы: Некрасов ведь вывел не «кающегося дворянина», не «либерала-идеалиста», любящего

В роскошно убранной палате
Потосковать о брате, [1]

порисоваться своей скорбью о страданиях народа. Таких ведь немало описывала тогдашняя литература. Но Некрасов вывел иной — и, конечно, гораздо более характерный — тип. Никаких «человеческих стремлений» в этом помещике нет; дан образ ярого защитника эгоистических классовых интересов, выполненный с блестящим юмором и сатирической злостью. Помещик горюет не о том, что народу плохо, а о том, что жизнь народа стала лучше (если не в материальном, то хотя бы в моральном отношении). Образ помещика Гаврилы Афанасьевича, может быть, самый живой и полнокровный во всей поэме, но он, так сказать, хоронит ее первоначальный замысел. Недаром в создании поэмы наступает после этой главы такой длительный перерыв — на 7 лет. И кажется удивительным, что после возобновления работы Некрасов делает еще одну попытку на-

---

[1] Аксаков И. С. Стихотворения и поэмы. Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1960, с. 104. В тексте опечатка: «потолковать» (из варианта, с. 270).

писать главу в первоначальном направлении — главу о чиновнике, которая решительно не получилась.

В стихотворении «Элегия» Некрасов задает вопрос:

Народ освобожден, но счастлив ли народ?

(II, 420)

Ответом на этот вопрос являются две строки из стихотворения «Как празднуют трусу»:

В жизни крестьянина, ныне свободного,
Бедность, невежество, мрак...

(III, 310).

Эта постановка вопроса и этот ответ на него определяют основной мотив «Кому на Руси...».

Связь этой линии с намеченным в прологе сюжетным мотивом опроса представителей господствующих классов, по нашему мнению, определяется убеждением в том, что не может быть подлинного счастья там, где заведомо несчастна преобладающая часть народа. Некрасов, как мы видели, далеко не сразу отказался от попыток вести линию сюжета, начатую в прологе, однако, в окончательном тексте она сказалась лишь в 1-й главе первой части («Поп»). Но уже здесь эта тема сочетается с темами, противоречащими ей. А в главе «Помещик» от нее нет и следа, и дальше в окончательном тексте поэмы исчезает и сюжетный мотив — опрос представителей господствующих классов.

Когда исчезает эта тема, остается только тема «бедствий народных». Она определяет тематику трех дальнейших частей, хотя именно отпавшая первая тема должна была определять фабульный ход поэмы. Некрасов обошелся без сквозной фабулы, что было связано с особыми возможностями в области построения сюжета.

Мы не будем останавливаться здесь на особенностях композиции «Кому на Руси жить хорошо». Они прослежены в книге М. М. Гина «О своеобразии реализма Н. А. Некрасова». В частности М. М. Гин пишет:

«Тенденция к обзорности, к созданию произведений обзорного типа — широких и свободных, с бесфабульным принципом связи и организации художественного материала — характернейшая особенность поэзии Некрасова, проявляющаяся с каждым годом и десятилетием все с большей и большей определенностью. А это означает, что должны быть пересмотрены

и уточнены существующие представления о типе и характере сюжетности Некрасова».[1]

Начиная со второй части «Кому на Руси...» тема народного горя отрешилась от темы счастья или несчастья привилегированных классов и стала воплощаться в отдельных поэмах, входящих в круг большой эпопеи.

Как же тема народного горя связана с намеченным в прологе фабульным мотивом опроса представителей господствующих классов?

Так как на вопрос о замысле «Кому на Руси...» не существует сколько-нибудь правдоподобного и логичного ответа, я позволю себе предложить гипотезу. Она заключается в том, что первоначальной мыслью Некрасова было художественно воплотить коренной просветительский тезис — «наше счастье невозможно без счастья других» и, значит, оно невозможно там, где вокруг раздаются стоны обездоленных. Но попытка художественно конкретизировать эту мысль отчетливо выявила самое уязвимое место просветительского мировоззрения.

Здесь просветителю приходится столкнуться с самой трудной и, в сущности, неразрешимой в пределах просветительского мировоззрения проблемой. С «человеческими стремлениями» рождаются все люди, но почему же строй жизни людей не соответствует и никогда не соответствовал этим стремлениям? С точки зрения просветителей, человек, работающий для блага народа,— эгоист, ибо он стремится удовлетворить самые глубокие желания своего существа. Но ведь такие эгоисты — одиночки в массе обыкновенных эгоистов, так что для эгоистов в специфически просветительском смысле приходится применить особый термин — «разумные эгоисты», то есть те, кто развитием разума пришел к пониманию подлинных, а не «призрачных» выгод, в то время как неразумные эгоисты стремятся удовлет-

[1] Гин М. М. О своеобразии реализма Н. А. Некрасова. Петрозаводск, 1966, с. 127. См. также: Корман Б. О. Лирика Н. А. Некрасова. Воронеж, 1964, с. 315—324; 2-е изд. Ижевск, 1978, с. 137—143. Дальнейшее развитие мысль об обзорности композиции и цикличности лирики и эпоса Некрасова получила в статьях: Лебедев Ю. В. У истоков поэтического эпоса Н. А. Некрасова.— В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. Сборник научных трудов. Вып. 3. Ярославль, 1976, с. 48—73; Ляпина Л. Е. Лирический цикл как художественное единство.— В кн.: Проблема целостности литературного произведения. Воронеж, 1976, с. 132—134.

ворить низменные и даже неестественные, «фантастические» потребности. И помещик, и поп, и чиновник рождены природою с «человеческими стремлениями», и, тем не менее, в их душах и в их поступках господствуют стремления отнюдь не «человеческие», страдания народа не заставляют их страдать, и ничто не мешает им жить «вольготно, весело».

В 1870 году Некрасов написал:

Зрелище бедствий народных
Невыносимо, мой друг;
Счастье умов благородных
Видеть довольство вокруг.

(II, 283)

Тут уже оговорка или уточнение: то счастье, которое просветитель считает общечеловеческим, пока что является только «счастьем умов благородных». «Купчине толстопузому», «вельможному боярину» такое понимание счастья было чуждо, и запланированный отрицательный ответ от каждого мог быть мотивирован лишь иными, притом разнородными причинами.

Среди заметок Некрасова к поэме имеется такая: «Купец умирает. Когда ему плохо, выдает по 3 к. на нищего, когда поотпустит, по 1 1/2» (3, 549).

Подобное объяснение отсутствия счастья — человек во всяком звании и общественном положении подвержен болезням и страданиям — явно чуждо идее поэмы, и неудивительно, что Некрасов и попытки написать главу о купце не сделал.

Просветительское мировоззрение было философской базой не только русской революционной мысли в домарксистский период, но и базой либеральной мысли, и границы той и другой не были четко очерчены. Когда следовало апеллировать к развитию, просвещению, превращению все большего количества людей в «разумных эгоистов», а когда и в какой ситуации действовать революционным путем — границы были зыбкими, сочетания разнообразными, и колебания революционной мысли в сторону либерализма были возможны и осуществлялись у разных деятелей в разной степени.

Революционное чутье и художественный такт не позволили Некрасову осуществить грешащую либерализмом первоначальную концепцию поэмы.

4

Как известно, Некрасов мечтал закончить «Кому на Руси жить хорошо» и горько сожалел во время предсмертной болезни о невозможности сделать это. Вот что рассказывает А. С. Суворин:

«Большие надежды возлагал он на свою поэму «Кому на Руси жить хорошо». Уже больной, он раз говорил с одушевлением о том, что можно было бы сделать, „если б еще года три-четыре жизни. Эта такая вещь, которая только в целом может иметь свое значение. И чем дальше пишешь, тем яснее представляешь себе дальнейший ход поэмы, новые характеры, картины. Начиная, я не видел ясно, где ей конец, но теперь у меня все сложилось, и я чувствую, что поэма все выигрывала бы и выигрывала“».[1]

А. А. Буткевич писала С. И. Пономареву 13 декабря 1878 года: «Поэма „Кому на Руси жить хорошо“ была любимым детищем брата; он часто во время болезни вспоминал о ней и еще незадолго до смерти сказал: „Одно, о чем сожалею глубоко, это — что не кончил свою поэму «Кому на Руси жить хорошо»“».[2]

Окончание поэмы должно было быть связано с Гришей Добросклоновым или людьми его типа. На это указывает письмо Некрасова к А. Т. Малоземовой от 2 апреля 1877 года.

Прочтя опубликованные части «Кому на Руси жить хорошо», сельская учительница Малоземова написала Некрасову письмо с опровержением основной мысли автора о том, что счастливых на Руси нет. Она писала, что чувствует себя счастливым человеком, несмотря на то, что стара, некрасива, бедна. Она счастлива тем, что посвятила свою жизнь народному благу, воспитывает из крестьянских детей людей «с сознанием человеческого достоинства»[3] и отдает народу все свои силы.

Отвечая на это письмо, Некрасов писал: «Счастие, о котором Вы говорите, составило бы предмет продолжения моей поэмы — ей не суждено окончиться» (11, 413).

---

[1] Суворин А. С. Из «Недельных очерков и картинок».— Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971, с. 344.

[2] «Лит. наследство». М., 1949, т. 53—54, с. 190.

[3] См.: Евгеньев-Максимов В. Н. А. Некрасов. М., 1914, с. 187—189.

Конечно, Малоземова и ей подобные не были революционерами, но Некрасов горячо сочувствовал всем проявлениям любви к народу и заботы о нем, да в легальной поэме он и не мог бы описать деятельность революционеров, а мог лишь намекать на нее, изображая «мирных» народников.

Напомню, что к 1876 году, когда писался «Пир на весь мир», относится переход народников от идеи «хождения в народ» к идее жизни в народе в качестве учителей, фельдшеров, конторщиков и т. д. с целью как пропаганды освободительных идей, так и разносторонней помощи трудовому крестьянству, облегчения его тяжелой жизни.

Так преобразовалась идея поэмы. Счастливые есть на Руси, это друзья народа,— от тех, которые скромно работают для его блага, до тех, которые готовы умереть за народ.

Словам окончательного текста:

...лет пятнадцати
Григорий твердо знал уже,
Что будет жить для счастия
Убогого и темного
Родного уголка —

(III, 238)

в рукописи соответствовал такой вариант:

...лет пятнадцати
Григорий твердо знал уже,
Кому отдаст всю жизнь свою
И за кого умрет...

(III, 407)

Обычно считается, что изменение текста было сделано Некрасовым из цензурных соображений, так же как и исключение — еще в черновике — четверостишия:

Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

(III, 240)

Однако существует мнение, высказанное А. И. Груздевым, что эти изменения сделаны поэтом не по цензурным, или в основном не по цензурным, а по творческим, идейно-художественным соображениям, так как «стихи о страдательной судьбе Григория Добросклонова» не соответствуют новой концепции поэмы, сог-

ласно которой Гриша и есть искомый счастливец. «Некрасов устранил из «Пира...»,— пишет А. И. Груздев,— не только стихи о чахотке и Сибири, но и мысль о возможности безвременной смерти Гриши, и, главное,— об отсутствии счастливого на Руси». А. И. Груздеву представляется несовместимым признание Григория Добросклонова счастливым с его «неизбежными страданиями и возможностью преждевременной гибели». [1]

Полагаю, что А. И. Груздев недостаточно учел то понимание счастья, которое Некрасов положил в основу своей эпопеи и в особенности в главе «Пир на весь мир». Если истинно счастливый человек — это друг народа, в наивысшем качестве революционер, а в судьбе революционера ссылка, тюрьма, может быть насильственная смерть предвидимы, то слова о жертвах, которые он принесет делу, не противоречат признанию его счастливым.

Даже о грядущей насильственной смерти революционера Некрасов писал (примерно в те же годы, когда создавался «Пир...»):

Так мыслит он — и смерть ему любезна.

(II, 421).

Возражая А. И. Груздеву, А. М. Гаркави справедливо пишет: «Ведь истинным счастьем революционные демократы считали не удовлетворение личных потребностей, а самоотверженное служение общему благу. Без учета особенностей революционно-демократической этики нельзя, конечно, понять постановку вопроса о счастье в поэме „Кому на Руси жить хорошо“». [2]

Если бы судьба революционера противоречила тому пониманию счастья, которое развивает здесь Некрасов, революционер вообще не мог бы стать образом счастливого человека. Предположение, что слова о предстоящей судьбе Гриши связаны с прежней концепцией поэмы и несовместимы с новой, представляющей Григория искомым счастливцем,— это предположение, по нашему мнению, неверное.

---

[1] Груздев А. И. О спорном четверостишии в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».— В кн.: Вопросы истории русской литературы, Л., 1961, с. 188, 193 и 194.

[2] Гаркави А. М. К тексту поэмы «Кому на Руси жить хорошо».— В кн.: О Некрасове. Статьи и материалы. Вып. 2. Ярославль, 1968, с. 332.

Самый образ Григория Добросклонова, самый ввод в поэму этого нового персонажа связан с новым решением заглавного вопроса. Этому персонажу просто нечего было делать в поэме, пока концепция поэмы не изменилась. Все, что сказано о Грише Добросклонове начиная с черновых текстов, связано с новым, а не с прежним решением основного вопроса.

Это новое решение — то же, какое дал Чернышевский в своем романе «Что делать?». Оба произведения были задуманы в одно и то же примерно время, ставили один и тот же вопрос — о возможности счастья в тогдашней России для людей из обеспеченных классов, исходили из одинакового понимания счастья, но решали поставленный вопрос противоположным образом: Чернышевский утвердительно, Некрасов отрицательно. Герои Чернышевского счастливы и субъективно — в собственном сознании, и объективно — в оценке автора. Счастливы тем, что разумно мыслят и разумно живут: честно, плодотворно, стремясь быть полезными народу и делать, что могут, для возможно большего числа людей и для будущего счастья человечества, не отказывая себе при этом ни в каких радостях — разумных, конечно.

Чернышевский подчеркивает в романе, что его герои веселы и счастливы. И это постоянно отмечалось критикой. Н. Н. Страхов даже назвал свою статью о романе «Что делать?» — «Счастливые люди».

Речь идет об обыкновенных, хотя и «новых», людях, но счастлив и «особенный человек» — революционер Рахметов. Сознание того, что он посвятил жизнь работе для будущего счастья всех людей, наполняет счастьем его душу.

Такое понимание счастья характерно не только для литературных персонажей. Вспомним хотя бы письмо Чернышевского к жене из сибирской каторги, в котором он говорит о своем отношении к своей судьбе: «За тебя я жалею, что было так. За себя самого я совершенно доволен. Я думал о других — об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитета моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их».[1] Счастье героев Чернышевского — это «сча-

[1] Письмо от 12 января 1871 года.— Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Письма. М., 1949, т. 14, с. 504.

стье умов благородных». К пониманию возможности такого именно счастья приходит Некрасов в конце своей работы над «Кому на Руси жить хорошо».

Гриша Добросклонов — человек счастливый и в своем сознании, и по оценке автора. Но, если Некрасов мечтал продолжить и закончить поэму, Гриша Добросклонов и ему подобные должны были быть сведены с семью странниками и признаны счастливыми их решением.

Основной формальной связью между частями эпопеи является участие в действии семи странников. В первой части и в «Крестьянке» они спрашивают о счастье; в других частях опросов нет, но семеро крестьян остаются на сцене: они видят все или слышат обо всем, они свидетели происходящего,—

Им дело до всего.
(III, 227)

Но в последней главе «Пира...» («Доброе время — добрые песни») героем становится Гриша Добросклонов. Его песен странники не слышат.

Есть предел центробежности: линия Гриши должна была либо соединиться далее с линией странников, либо оторваться от нее и начать новую поэму о революционно настроенном юноше и его дальнейшей судьбе. Поэма «Кому на Руси...» в этом случае, очевидно, была бы оборвана.

Но если бы это было так, мог ли бы Некрасов настаивать на печатании «Пира...», а не рассматривать его лишь как черновик? Мог ли бы он мечтать о таком продолжении поэмы, которое имеет в виду в письме к Малоземовой?

Г. В. Плеханов писал: «...у него (Некрасова.— *Б. Б.*) выходило так, что весело и вольготно живется в России только тем представителям радикальной интеллигенции, которые жертвуют собою для народа:

Быть бы нашим странникам под родною крышею,
Если б знать могли они, что творилось с Гришею...

Но в том-то и дело, что странники,— крестьяне разных деревень, порешившие не возвращаться домой, пока не решат, кому живется весело-вольготно на Руси,— не знали того, что творится с Гришею, и не могли знать. Стремления нашей радикальной интеллигенции оставались неизвестны и непонятны народу. Ее лучшие представители, не задумываясь, приносили себя в жертву

его освобождению; а он оставался глух к их призывам и иногда готов был побивать их камнями, видя в их замыслах лишь новые козни своего наследственного врага — дворянства». [1]

Плеханов, конечно, прав в своих рассуждениях о народниках и народе, но в данном случае важно, как смотрел на эти отношения Некрасов. Равнозначно ли в самом деле «если б знать могли они» и «если б понять могли они»? Ежели такое понимание Некрасов считал безнадежным, зачем ему было вводить в поэму образ Гриши Добросклонова и придавать ему такое значение? Для чего было в дальнейших частях выводить образы друзей народа, если они не могли быть признаны счастливыми судом народных представителей, которым с начала поэмы был поручен этот суд?

Прямые пропагандисты революции не могли иметь тогда успеха в народе, но народники «оседлые», «мирные» — с виду или в самом деле — могли рассчитывать на его сочувствие. И, если Некрасов снял слова о революционном будущем Гриши Добросклонова не только по цензурным соображениям, причиной снятия этих слов могло быть желание не уточнять характера будущей деятельности Гриши Добросклонова — именно потому, что она должна была получить сочувствие и одобрение народа.[2]

Народник должен был убедить народ в подлинности своего счастья. Я думаю, что просветителю Некрасову не казалось невозможным дать крестьянам почувствовать, какое счастье — работать для счастья людей. Иначе Некрасов не окружил бы юношу, почти мальчика, особенной любовью и уважением крестьян.

Ограничимся этими соображениями о дальнейших замыслах поэта. На гадания о неосуществившихся намерениях писателя историк литературы имеет лишь самое ограниченное право.

---

[1] Плеханов Г. В. Н. А. Некрасов (к 25-летию его смерти).— Цит. по кн.: Некрасов в русской критике. М., 1944, с. 78.

[2] Н. Н. Скатов, также предполагающий, что Некрасов не только из цензурных соображений зачеркнул «уже на первом этапе работы» упомянутые стихи, объясняет это тем, что Гриша — «обобщенный образ молодости, устремленной вперед, надеющейся и верующей. Он весь в будущем. Отсюда сама его некоторая неопределенность, только намеченность». Стихи о Грише Добросклонове — это «стихи, посвященные новому человеку, человеку будущего, пусть еще неясного» (Скатов Н. Н. Народный поэт (Н. А. Некрасов).— В его кн.: Русские поэты. Очерки. М., 1977, с. 41).

ЧУЖИЕ СТРОКИ В СТИХАХ НЕКРАСОВА


В стихах Некрасова нередки повторения словосочетаний, входящих в ранее написанные стихи других авторов. Особенно заметны иронические цитаты, контрастирующие с некрасовским текстом по эмоциональному тону, в сатирических и юмористических стихах Некрасова. Такие цитаты Некрасов обычно выделяет кавычками или курсивом, нередко указывая и источник цитаты в подстрочном примечании.

Вот как описывается в сатирической поэме «Суд» появление жандармского офицера в квартире автора:

«Однажды, зимним вечерком»
Я перепуган был звонком...
. . . .
Вечерний звон! вечерний звон!
Как много дум наводит он!
. . . .
«Не бойся ничего! поверь,
Всё пустяки!» — шепчу жене,
Но голос изменяет мне.
Иду — и отворяю дверь...
Одно из славных русских лиц
Со взором кротким без границ,
Полуопущенным к земле,
С печатью тайны на челе...

(II, 252, 254)

К строкам, набранным курсивом, даны примечания: «Козлов», «Лермонтов», «Веневитинов». Источники цитат указаны в комментариях (см.: II, 646—647). Первая строка, взятая Некрасовым в кавычки, не снабжена примечанием, и комментаторами ее источник не раскрыт. Может быть, это аллюзия на «Светлану» Жуковского («Раз в крещенский вечерок...»)?

Приведу еще один случай выделенной поэтом цитаты, не раскрытой ни им, ни комментаторами:

«Натиск лют и гнет велик...»

В написанном Некрасовым в 1854 году юмористическом стихотворении «Признания труженика», посвященном гастрономическим подвигам гомерического обжоры, герой перед клубным обедом взывает к своему желудку:

> Ну, теперь, желудок мой,— смелей!
> Предстоит тебе — не ужасайся! —
> «Натиск лют и гнет велик»,— раздавайся!
>
> *(I, 557)*

Кавычки, в которые взяты слова «Натиск лют и гнет велик», свидетельствуют о том, что в стихи введен чужой текст и автор хочет, чтобы читатель это почувствовал, хотя бы включенный текст и не был ему знаком.

До сих пор источник цитаты не был установлен. Она взята из стихотворения Каролины Павловой «Разговор в Кремле», напечатанного в том же 1854 году. В этом году вышел ряд брошюр, содержавших шовинистические стихи, связанные с тогдашней войной. Отдельной брошюрой было издано и большое стихотворение К. Павловой.

В стихотворении выявляется ее обширная историческая эрудиция, и оно отличается — как обычно у Павловой — эффектными рифмами, но отнюдь не оригинальностью концепции. По своей направленности оно точно соответствует официальной идеологии и официозным тезисам о причинах и смысле происходившей войны.

Разговор, составляющий содержание стихотворения Павловой, происходит в 1830-е годы в Крыму, и ведут его русский, англичанин и француз. Они смотрят, как народ «единоверною семьей» выходит из Успенского собора, и английский лорд неприятно поражен «смешением сословий» в России.

Разговор идет о русском народе. Признавая его мощь, силу его государства, оба иностранца утверждают, что духовно русские ничем не обогатили мир, не выдвинули имен, чтимых культурным человечеством, не участвовали в духовных движениях христианского Запада, в частности в борьбе с мусульманами в крестовых походах; жизнь России не знает изменений, в ней нет движения вперед. Русский участник спора склонен все это признать, но не осудить. Перемены — счи-

тает он — не нужны русскому народу, этот народ верен старине:

Осталось свято сердцу внука,
Что было свято для отцов. [1]

(с. 160)

Русские живут,

Не изменяясь в род из рода,
Любя и веруя, как встарь...

(с. 160)

И больших имен Россия действительно не выдвигает:

Сердца народа согревая,
В них здесь глубоко вмещено
Одно лишь имя: Русь святая!
И не забудется оно.

(с. 164)

Да возвеличится Россия,
И гибнут наши имена!

(с. 165)

Русский народ не раздирает, как западные народы, вражда сословий; здесь

...радостно вельможа знатный
Целует нищего в уста,

(с. 161)

христосуясь с ним.

Особенно развивает Павлова тему крестовых походов, нужную ей для связи с темой текущей войны. Русские не имели возможности участвовать в крестовых походах, но скоро — пророчествует оппонент иностранцев — у русских будет свой крестовый поход против мусульман, а потомки крестоносцев будут воевать против христианской России «в рядах защитников Луны». Любой исход этой войны будет позором для западных христиан:

Постыдно будет им паденье,
Постыдней ратный их успех.

(с. 167)

---

[1] В скобках обозначены страницы по изданию: Павлова К. К. Полн. собр. стихотворений. М.— Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1964

Слова, которые Некрасов включил в «Признания труженика», звучат у Павловой в таком контексте:

Когда крестового похода
На Западе раздался клик —
В пределах русского народа
Был натиск лют и гнет велик:
Страну губили печенеги,
Свирепых половцев орды,
И венгров буйные набеги,
И смуты княжеской вражды.

(с. 163)

Впоследствии Добролюбов едко пародировал ура-патриотические стихи эпохи Крымской войны, в особенности стихи Майкова и Хомякова. В 1854 году еще нельзя было и помыслить о таких пародиях, во всяком случае об их напечатании. Насмешка Некрасова была введена в «невинное» юмористическое стихотворение и так же запрятана, как и некоторые другие «недозволительные» намеки.[1]

Некрасов выбрал из большого стихотворения особенно велеречивую фразу. Краткие прилагательные «лют» и «велик» в контексте

Был натиск лют и гнет велик,—

можно понять в двояком грамматическом значении: как части составных сказуемых и как определения к подлежащим. Второе более вероятно, поскольку по смыслу фразы логическое ударение падает здесь скорее на существительные. Архаическое звучание кратких прилагательных в функции определений выявляет фальшивую торжественность стиля «Разговора в Кремле», типичную для лжепатриотических стихов.

Ср. тот же прием в пародийной эпитафии из «Недавнего времени»:

Здесь обрел даровую квартиру
Муж злокачествен, подл и плешив
И оставил в наследие миру
Образцовых доносов архив.

(II, 299)

---

[1] См. об этом в моей ст.: К истории стихотворения Н. А. Некрасова «Признания труженика».— В кн.: О Некрасове. Статьи и материалы. Вып. 3. Ярославль, 1971, с. 193—194.

Нередко у Некрасова цитируются или перефразируются чужие тексты, с которыми поэт полемизирует, на которые подает реплики или от которых отталкивается. Типографское выделение таких текстов воспринималось бы как слишком педалирующее средство. К таким случаям относится указанная К. И. Чуковским аллюзия на Пушкина в некрасовской «Музе»:

Она гармонии волшебной не учила,
В пеленках у меня свирели не забыла...

(I, 148)

Здесь Некрасов несомненно отталкивается от пушкинского стиха:

...И меж пелен оставила свирель.

(«Наперсница волшебной старины») [1]

Приведу случай заимствования слов, которые могли быть взяты и из стихотворения Пушкина, и из стихотворения Лермонтова,— скорее из последнего:

Ах! что изгнанье, заточенье!..

Стихотворение построено как реплика: кто-то говорит поэту о грозящих ему бедах — изгнании, заточении,— а он противопоставляет этим бедам более тяжелое несчастье:

Ах! что изгнанье, заточенье!
Захочет — выручит судьба!
. . . .
Но той руки удар смертелен,
Которая ласкала нас!..

(II, 398)

В стихотворении Пушкина «Ответ анониму» читаем:

Постигнет ли певца незапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье,—
«Тем лучше,— говорят любители искусств,—
Тем лучше! наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст».

---

[1] См.: Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. М., 1971, с. 53—54.

У Лермонтова повторена и мысль Пушкина, и самые слова «изгнанье, заточенье». В стихотворении «Журналист, читатель и писатель» посетивший больного поэта журналист начинает беседу словами:

Я очень рад, что вы больны,—

и поясняет свое странное признанье:

В заботах жизни, в шуме света
Теряет скоро ум поэта
Свои божественные сны.
Среди различных впечатлений
На мелочь душу разменяв,
Он гибнет жертвой общих мнений!
Когда ему в пылу забав
Обдумать зрелое творенье?
Зато какая благодать,
Коль небо вздумает послать
Ему изгнанье, заточенье
Иль даже долгую болезнь:
Тотчас в его уединенье
Раздастся сладостная песнь!

Цитаты из русских поэтов в стихах Некрасова не впервые являются объектом исследования.[1] В данной статье я хочу привлечь внимание к особому роду цитат, интересному не только для истории литературы, но и для психологии творчества,— к непроизвольным цитатам, то есть таким, которые не осознаются поэтом. Я имею в виду такие случаи, когда поэт принимает чужие запомнившиеся ему строки за собственные, за результат творческого акта. Там, где нет установки на чужой текст, на цитату, реплику, пародию, дело обычно обстоит именно так. Сильный творец всегда может найти и ввести в стихи синонимическое выражение, а опасаться выдать чужой текст за свой естественно: ведь читатель, обнаруживший подобное совпадение, легко может принять совпадающий текст за плагиированный. Даже в случае автоцитаты может возникнуть недове-

---

[1] См.: Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. М., 1971, с. 42—54; Бухштаб Б. Я. Начальный период сатирической поэзии Некрасова (1840—1845).— «Некрасовский сборник». II. М.— Л., 1956, с. 134—139; Гаркави А. М. Разыскания о Некрасове.— Уч. зап. Калинингр. гос. пед. ин-та. Вып. 9. 1961, с. 48—49.

рие к творческой силе поэта, не сумевшего высказать свои мысли и чувства иначе, чем в прежних своих произведениях. Поэтому подобные заимствования, как правило, бессознательны.

Я озаглавил эту статью «Чужие строки в стихах Некрасова» потому, что чужие тексты обычно запоминаются и бессознательно воспроизводятся целыми строками, в той же ритмической форме. Это, конечно, не значит, что чужой текст не может в подобном случае подвергнуться каким-либо изменениям.

Приведу несколько замеченных мною случаев «чужих строк» у Некрасова:

«Вон из тела душа просится...»

Это строка из стихотворения «Дума» («Сторона наша убогая...», 1861), написанного от лица голодного безработного парня, мечтающего наняться в работники к купцу Семипалову, где он надеется есть досыта. Сытость семипаловских работников он представляет себе так:

У купца у Семипалова
Живут люди не говеючи,
Льют на кашу масло постное
Словно воду, не жалеючи.

В праздник — жирная баранина,
Пар над щами тучей носится,
В пол-обеда распояшутся —
Вон из тела душа просится!

(II, 70)

Стихотворение грустное, но представляющаяся восхищенному взору героя картина насыщения семипаловских работников написана с мягким юмором — особенно ощутимым в двух последних из цитированных строк. Между тем строка «Вон из тела душа просится» совпадает со строкой из стихотворения Кольцова «Измена суженой» (1838), где эта строка, как и все стихотворение, глубоко трагична. Вот контекст:

Пала грусть-тоска тяжелая
На кручинную головушку;
Мучит душу мука смертная,
Вон из тела душа просится.

Стихотворение Кольцова было хорошо известно русскому читателю, да еще и положено на музыку популярным композитором Гурилевым.

Несмотря на эту известность, а вернее благодаря ей, надо думать, что Некрасов не помнил, не осознавал, что включает в свое стихотворение кольцовский стих. В противном случае он должен был бы считаться с тем, что читатели могут воспринять это как насмешливую цитату, переводящую трагическое звучание в комическое. Это воспринималось бы как издевка над Кольцовым, которого Некрасов высоко чтил, песни которого назвал «вещими» (I, 258).

«По торговым селáм, по большим городам...»

Иного рода случай — в стихотворении Некрасова «Огородник» (1846). Здесь тоже есть строка, если не точно повторяющая кольцовский текст, то очень близкая к нему. У Кольцова в стихотворении «Что ты спишь, мужичок?..» (1839) читаем:

Вспомни время свое:
Как каталось оно
По полям и лугам
Золотою рекой!

Со двора и гумна
По дорожке большой,
По селам, городам,
По торговым людям!

А у Некрасова:

По торговым селам, по большим городам
Я недаром живал, огородник лихой...—

(I, 103)

с той же «перетяжкой» ударения *(селáм)*, характерной для фольклора и для поэзии, ориентированной на фольклор. Отмечу, что в тех же двух стихотворениях имеется и другая одинаковая «перетяжка». У Кольцова:

Ведь соседи твои
Работáют давно;

у Некрасова:

Я в немецком саду *работа́л* по весне.[1]

(I, 103).

Здесь уже нельзя быть уверенным в том, что аллюзии нет и сходство возникло бессознательно.

Вместе со стихотворением «В дороге» «Огородник» открывает в творчестве Некрасова линию стихотворений из народной жизни, написанных в форме крестьянского сказа. В «Огороднике» более чистый сказ, чем во «В дороге», где рассказ ямщика обрамлен обращенными к нему словами проезжего барина. В «Огороднике» чувствуется кольцовская традиция, и, может быть, Некрасов не прочь подчеркнуть ее, вызвав у читателя реминисценцию.

«В своем заколдованном сне...»

Стих этот очень заметный и памятный. Им ведь заканчивается «Мороз, Красный нос». А это тоже чужая строка — из стихотворения К. К. Случевского «Статуя» — поэтической сказки о статуе раненого молодого гладиатора, стоящей над водой. Каждую ночь из воды выходит русалка,

И, к статуе грудь прижимая,
Косою ей плечи обвив,
Томится она и вздыхает,
Глубокие очи закрыв.

И видят полночные звезды,
Как просит она у него
Ответа, лобзанья и чувства
И как обнимает его.

И видят полночные звезды
И шепчут двурогой луне,
Как холоден к ней гладиатор
В своем заколдованном сне.

(с. 150—151) [2]

---

[1] Ср. в том же стихотворении форму с обычным ударением:
Пособи мужику, поработай часок.

(I, 104)

[2] В скобках обозначены страницы по изд.: Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. М.— Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1962.

Совпадение любопытное: ведь стихотворение «Статуя» было напечатано в январском номере некрасовского «Современника» за 1860 год, то есть только за три года до того, как строка из этого стихотворения попала в поэму Некрасова. Поэтому отпадает возможность предположить, что Некрасов сознательно использовал понравившийся ему чужой стих: ведь это легко могли заметить читатели «Современника». О сознательном цитировании здесь, очевидно, не может быть речи. С другой стороны, здесь не может быть случайного совпадения двух строк: текст слишком своеобразен и индивидуален. Странно уже выражение «в заколдованном сне»: заколдован ведь не сон, а спящий; но присоединение еще как будто бы не требуемого смыслом местоимения «своем» окончательно индивидуализирует эту синтагму.

Значит, мы имеем и здесь дело со своеобразным явлением психологии творчества, когда текст запомнился поэту, но воспринимается им не как запомнившийся, а как новосозданный.

Есть еще один признак того, что заключительная строка поэмы «Мороз, Красный нос» — это строка чужая, удержавшаяся в памяти и воспринятая как творческая находка. Есть в ней некоторая чужеродность; она не вполне сливается с предыдущей строкой.

Случевский говорит о статуе как о живом человеке:

Он ранен в тяжелом бою,
Он силится брызнуть водою
В глубокую рану свою.

(с. 150)

О белизне мрамора говорится как о белизне тела:

И долго два чудные тела
Белеют над спящей водой...

(с. 151)

Статуя — словно бы живой человек, погруженный в непробудный сон; слова «В своем заколдованном сне» поддерживают это впечатление.

Слово «сон» в русском языке имеет два значения: состояние и сновидение. Они резко дифференцированы и грамматически: только во втором значении «сон» имеет множественное число.

В стихотворении Случевского «сон» имеет первое значение; Дарья же и погружена в сон, и видит сон. И когда поэт говорит:

А Дарья стояла и стыла
В своем заколдованном сне,—

(II, 141)

получается некоторая нечеткость: ведь стынет Дарья наяву, а во сне, который она видит, ей тепло:

В сверкающий иней одета,
Стоит, холодеет она,
И снится ей жаркое лето...

(II, 137)

Спутанность значений слова «сон» едва заметна, но думается, что если бы над поэтом не тяготела чужая фраза, он избежал бы этой легкой двусмысленности.

«Не торгуйся, не скупись...»

Любовная сцена, которой начинаются «Коробейники», идет в тоне шутливого торга:

Цены сам платил немалые,
Не торгуйся, не скупись:
Подставляй-ка губы алые,
Ближе к милому садись!
. . . .
Катя бережно торгуется,
Все боится передать.
Парень с девицей целуется,
Просит цену набавлять.

(II, 71)

Такой сюжетный мотив, может быть, возник под влиянием чужой строки.

В лирической драме А. Н. Майкова «Три смерти», опубликованной в 1857 году, трем приговоренным к смерти — философу Сенеке, поэту Лукану и эпикурейцу Люцию — император Нерон разрешает самим покончить с собой любым способом. Люций решает выпить отраву в конце роскошного пира, который он устроит для своих друзей. Давая распоряжения своему управителю, Люций велит ему не жалеть денег на самые лучшие яства и вина:

Да не торгуйся, не скупись,
Чтоб ужин вышел баснословный!..[1]

«Зажглися звезды частые...»

Это из «Кому на Руси жить хорошо»:

Уж ночь давно сошла,
Зажглися звезды частые
В высоких небесах...

(III, 9)

Средняя строка повторяет стих Фета из стихотворения «Теплым ветром потянуло...» (1842) с перестановкой слов в соответствии со стихотворным размером. У Фета:

Звезды частые зажглися
По набесу мглы.[2]

Порознь образы «звезды зажглися» и «звезды частые» могли бы совпасть у двух поэтов случайно, тем более что эпитет «частые» применяется к звездам в фольклоре; но случайное совпадение всего комплекса маловероятно.

Стихотворение Фета было, без сомнения, известно Некрасову. Оно вошло в собрание стихотворений Фета 1850 года, над текстом которого Некрасов вместе с Тургеневым и другими сотрудниками «Современника» трудился в качестве редактора, подготовляя новое издание, вышедшее в 1856 году, куда стихотворение тоже вошло.

«Не дубровушки шумят...»

6-я главка «Коробейников» начинается так:

Не тростник высок колышется,
Не дубровушки шумят,—
Молодецкий посвист слышится,
Под ногой сучки трещат.

(II, 83).

---

[1] Майков А. Н. Избр. произв. Л. (Б-ка проэта. Б. с.), 1977, с. 460.

[2] Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1959, с. 170.

Второй стих почти совпадает со строкой из стихотворения третьестепенного поэта 30-х годов С. Н. Стромилова. Об этом поэте Некрасов упоминает в шуточном стихотворении начала 50-х годов «Мне жаль, что нет теперь поэтов...», в котором перечисляются мельчайшие поэты предыдущей эпохи:

С семьей забвенных старожилов
Скорблю на склоне дней моих,
Что лирой пренебрег Стромилов,
Что Печенегов приутих,
Что умер бедный Якубович,
Что запил Константин Петрович,
Что о других пропал и след,
Что нету госпожи Падерной,
У коей был талант примерный,
И Розена барона нет...

(I, 499).

Но, как это нередко бывает, поэт, не оставивший следа в истории литературы и прочно забытый, привлекал внимание крупных композиторов и являлся автором текста известных романсов. На слова Стромилова шесть произведений написал А. А. Алябьев и три А. Е. Варламов, в том числе две популярнейшие песни — «Зачем сидишь до полуночи...» и «То не ветер ветку клонит...». Вот начало последней:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит —
То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит. [1]

Второй стих этой песни в слегка измененном виде повторен Некрасовым.

Отмечу, что «дубрава» и «дуброва» трактуются словарями русского языка как фонетические дублеты одного слова, а замена единственного числа множественным в контексте Некрасова не изменяет значения, поскольку речь идет не о конкретной роще.

Вспоминается, естественно, песня «Не шуми, мати зеленая дубравушка...», заимствованная Пушкиным из фольклорного сборника и введенная в текст «Капитанской дочки». Но у Стромилова и у Некрасова образ фи-

---

[1] Песни и романсы русских поэтов. М.— Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1965, с. 571.

гурирует в ином качестве: здесь не побудительное обращение, а отрицательное сравнение.

«Умер и в землю зарыт...»

Здесь автореминисценция. Эта строка — из стихотворения 1854 года «В деревне». Мать оплакивает сына, погибшего на охоте:

Умер, Касьяновна, умер, сердешная,
Умер и в землю зарыт!

(I, 170).

И тот же стих почти через десятилетие попадает в плач жены по мужу в «Морозе, Красном носе»:

Умер, не дожил ты веку,
Умер и в землю зарыт!

(II, 125).

Предложенный обзор «чужих слов» у Некрасова является сводом разновременных наблюдений автора статьи и не может, разумеется, ни в какой мере претендовать на полноту охвата материала.

В заключение приведу два примера того, как стихи Некрасова в свою очередь становятся источником цитат и аллюзий у больших русских поэтов XX века — Пастернака и Цветаевой, причем в одном случае мы имеем явную аллюзию, в другом — заимствование сознательное или бессознательное, но во всяком случае не претендующее на сопоставление с источником. Последний случай — у Пастернака. Раннее его стихотворение «Лирический простор» начинается так:

Что ни утро, в плененьи барьера,
Непогод обезбрежив брезент,
Чердаки и кресты монгольфьера
Вырываются в брезжущий тент.

Их напутствуют знаком беспалым,
Возвестившим пожар каланче,
И прощаются дали с опалом
На твоей догоревшей свече. [1]

Слова «Возвестившим пожар каланче» восходят к стихотворению Некрасова «Утро». Здесь читаем:

---

[1] Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы. М.— Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1965, с. 496—497.

Начинается всюду работа;
Возвестили пожар с каланчи;
На позорную площадь кого-то
Повезли — там уж ждут палачи.

(II, 374).

Измененная цитата из Некрасова вряд ли поможет пониманию текста Пастернака, несмотря на общность темы городского утра.

Иначе у Цветаевой. Вот ее стихотворение 1920 года:

У первой бабки — четыре сына,
Четыре сына — одна лучина,

Кожух овчинный, мешок пеньки,—
Четыре сына — да две руки!

Как ни навалишь им чашку — чисто!
Чай, не барчата! — Семинаристы!

А у другой — по иному трахту! —
У той тоскует в ногах вся шляхта.

И вот — смеется у камелька:
«Сто богомольцев — одна рука!»

И зацелованными руками
Чудит над клавишами, шелками...

Обеим бабкам я вышла — внучка:
Чернорабочий — и белоручка! [1]

Это аллюзия на слова о Белинском из «Медвежьей охоты» Некрасова:

Ты не гнушался никаким трудом:
«Чернорабочий я — не белоручка»,—
Говаривал ты нам — и напролом
Шел к истине, великий самоучка!

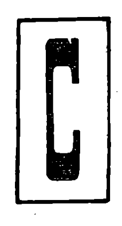
(II, 247)

Здесь, впрочем, возможна и опосредованная связь с некрасовским текстом — через «стихотворение в прозе» Тургенева «Чернорабочий и белоручка».

---

[1] Цветаева М. И. Избр. произв. М.— Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1965, с. 153—154.

ЭЗОПОВ ЯЗЫК У НЕКРАСОВА



татьи И. Г. Ямпольского «Сигнал неблагополучия» [1] и «Еще раз о точности» [2] произвели сильное впечатление в филологической среде. В них на огромном материале было показано, что работы многих наших литературоведов, в том числе достаточно именитых, опускаются ниже уровня «мировых стандартов» филологической науки. В исследованиях, популярных статьях, даже в учебниках искажаются заглавия произведений, даты, сюжеты, цитаты, биографические сведения, библиографические данные, фамилии, неверно указываются авторы, путаются разные лица и т. д., и т. п.

Но картина искажений, нарисованная И. Г. Ямпольским, неполна. Встречаются и другие виды извращения истины. Неверные утверждения возникают под пером литературоведов не только от ошибок памяти, недостатка знаний или научной невоспитанности. Они зависят и от применения неправильных методологических приемов.

Одним из наиболее опасных является не контролируемая контекстуальным анализом интерпретация текста как написанного эзоповым языком и поэтому требующего дешифровки для установления подлинного смысла.

Значение эзопова языка для понимания произведения классической русской литературы общеизвестно и неоспоримо. Оно особенно существенно, когда речь идет о революционно-демократической литературе. Бесспорно, что многие произведения революционных демократов не могли бы появиться, многие темы не

[1] «Вопросы литературы», 1973, № 10.
[2] «Вопросы литературы», 1975, № 11.

могли бы даже быть затронуты в легальной печати без применения эзоповской речи. Изучение революционно-демократической литературы просто невозможно без выявления и интерпретации «эзопизмов». Однако такая интерпретация должна быть методологически безукоризненной, иначе вместо пользы можно нанести серьезный ущерб нашей историко-литературной науке. Опасность состоит в том, что эзопов язык видят там, где объективно установить его наличие нет возможности и основания.

Поскольку эзопов язык особенно существен в произведениях революционных демократов, метод «дешифровки» текста может особенно легко разойтись с семантическими принципами поэзии,— я проанализирую в этой статье лишь изучение эзопова языка в поэзии Некрасова.

Основная статья об эзоповом языке Некрасова принадлежит К. И. Чуковскому. Написанная крупнейшим, авторитетнейшим исследователем Некрасова, работа эта широко известна и доныне оказывает решающее воздействие на всю литературу по данному вопросу. Поэтому мы уделим ей особое внимание, несмотря на ее двадцатипятилетнюю давность.

Статья К. И. Чуковского «„Эзопова речь" в творчестве Н. А. Некрасова» была впервые напечатана в первом «Некрасовском сборнике» (М.— Л., 1951), а затем вошла в состав известной книги К. И. Чуковского «Мастерство Некрасова» в качестве последней главы. Мы будем цитировать статью по четвертому изданию этой книги (М., 1962).[1]

Основным содержанием статьи К. И. Чуковского является перечень приемов эзопова языка, употреблявшихся писателями революционно-демократического лагеря, с примерами, взятыми преимущественно из произведений Некрасова. Фиксируются такие приемы, как перенос действия произведения в другую эпоху или в другую страну; ложное указание на переводность оригинального в действительности произведения; указание под произведением ложной даты; замена высших рангов лиц и учреждений более низкими (например, губернских инстанций уездными); присоединение к произведению строк, смягчающих его смысл; перевод

[1] Страницы этой книги далее обозначаются в тексте цифрой в скобках.

реальных событий в фантастический план; утверждение противоположного тому, что на самом деле хочет сказать автор; маскировка политического содержания якобы интимной тематикой; обрывание речи, создающее впечатление о том, чего цензура не пропустила бы, но о чем нетрудно догадаться из предыдущего текста; каламбур, при котором слово употребляется как будто в «невинном» его значении, а на самом деле политически остром.

Перечень этот не вызывает возражений. Указанные К. И. Чуковским приемы эзопова языка можно найти и у Чернышевского, и у Добролюбова, и у Салтыкова-Щедрина, и у Некрасова. Однако интерпретации приводимых текстов Некрасова, по нашему мнению, нередко произвольны и нарочиты, а самое применение эзопова языка у Некрасова сильно преувеличивается К. И. Чуковским.

Известны случаи, когда Некрасов в цензурных целях приписывал к стихотворению несколько «смягчающих» строк, которые при перепечатке убирал, если это было возможно. Но К. И. Чуковский усматривает в текстах Некрасова такое расширенное применение этого приема, при котором он уже переходит, в сущности, в свою противоположность. Например, Чуковский утверждает, что Некрасов писал целые произведения для цензуры, чтобы провести в печать пару заветных строк. Такой «прием эзоповской речи революционных демократов,— пишет К. И. Чуковский,— я назвал бы приемом наложения сетки. Писалось, например, стихотворение ради двух или трех очень важных, политически острых стихов, и тут же писались строки, так сказать, официального порядка, вполне благонамеренные, под прикрытием которых и можно было надеяться сохранить для печати опасные в цензурном отношении места. Такая система была основана на полной уверенности, что читатель непременно поймет, какие из этих стихов вынужденные, а какие свои, настоящие, то есть как бы наложит на них сетку, прикрывающую строки, которых не нужно читать. 〈...〉 Именно на эту сетку рассчитано стихотворение «Свобода», написанное под впечатлением освобождения крестьян. Самое главное в этом стихотворении — горькие и мудрые строки:

Знаю: на место сетей крепостных
Люди придумали много иных.

(II, 100)

Но что сделать, чтобы они могли появиться в печати? Пишутся «оптимистические» стихи о том, какое счастье ожидает детей освобожденных крестьян, и, хотя эти стихи сейчас же объявляются пустыми фантазиями:

В этих фантазиях много ошибок,—

все же они производят впечатление совершенно цензурных, после чего и печатаются единственно ценные для Некрасова строки о том, что крестьяне по-прежнему остались в цепях» (700).

Проверим правильность такой интерпретации стихотворения.

Приведем его полностью:

СВОБОДА

Родина-мать! по равнинам твоим
Я не езжал еще с чувством таким!

Вижу дитя на руках у родимой,
Сердце волнуется думой любимой:

В добрую пору дитя родилось,
Милостив бог! не узнаешь ты слез!

С детства никем не запуган, свободен,
Выберешь дело, к которому годен,

Хочешь — останешься век мужиком,
Сможешь — под небо взовьешься орлом!

В этих фантазиях много ошибок:
Ум человеческий тонок и гибок,

Знаю: на место сетей крепостных
Люди придумали много иных,

Так!.. но распутать их легче народу.
Муза! с надеждой приветствуй свободу!

(II, 99)

Спросим себя прежде всего: нужно ли было Некрасову применять «прием сетки», чтобы провести через цензуру мысль о том, что «на место сетей крепостных люди придумали много иных»? Эта мысль ведь не направлена прямо против правительства и его агентов, которые, кстати сказать, в эту пору — одну из наиболее либеральных в истории русской цензуры — не были так охраняемы цензурой, как в николаевскую эпоху; напротив, в это время широкое распространение получили рассказы и повести, обличавшие чиновников во взяточ-

ничестве, казнокрадстве, кумовстве, неправосудии, прислужничестве и других пороках. «Прошлые времена хоронят», но умирать они не согласны и всячески стараются, преобразуясь, выжить — это постоянная тема Щедрина в ту пору,— тема, фигурирующая в его очерках и рассказах без всяких «сеток».

В двух строчках, выделенных Чуковским, не было ничего такого, что должно было бы вызвать сопротивление цензуры. Но для чего тогда было Некрасову писать неискреннее стихотворение? А почему, собственно, мы должны думать, что оно неискреннее?

Некрасов не разделяет либеральных иллюзий, не воображает, что «свободный труд» и при убогих наделах приведет к подъему продуктивности крестьянского хозяйства, к увеличению благосостояния народа. Он зорко предвидит новые формы эксплуатации, новые «сети». Но значит ли это, что для Некрасова освобождение крестьян из-под юридической власти помещиков не имело никакой цены? Вспомним, что́ обличал Некрасов в своих стихах о крестьянстве в дореформенную пору. О «свободном» крестьянстве он скажет:

В жизни крестьянина, ныне свободного,
Бедность, невежество, мрак.

(III, 310)

Но в 40—50-е годы он говорил не об этом. Он говорил об истязаниях крепостных людей («Вчерашний день, в часу шестом...», «Вино», «Нравственный человек»), о насилиях помещиков над женщинами («Отрывки из путевых записок графа Гаранского»), о запретах браков крепостных по своему выбору («Забытая деревня»), о доведении людей до самоубийства («Нравственный человек», «Извозчик»), об убийствах крепостных детей («Отрывки из путевых записок графа Гаранского»), о трагических судьбах крепостных интеллигентов («В дороге»), о страданиях крепостных людей от произвола управляющих, бурмистров, всяких надсмотрщиков («Отрывки из путевых записок графа Гаранского», «Забытая деревня»).

Все это теперь должно было прекратиться, отойти в прошлое. Было бы неестественно, если бы Некрасов не испытал от этого никакой радости,— и простительны тут были некоторые иллюзии на первых порах, тем более что Некрасов сам сомневается в осуществимости своих надежд. Не потому ли он и не опубликовал этого откли-

ка на крестьянскую реформу? К. И. Чуковский не упоминает о том, что Некрасов напечатал стихотворение лишь через восемь лет после написания (в отделе «Приложения» 4-й части собрания своих стихотворений), когда эти стихи уже давно потеряли значение живого отклика на современное событие. Тем меньше оснований видеть в стихотворении «Свобода» приспособление к цензуре.

Через много лет — в 1874 году — Некрасов вспомнил о былых иллюзиях в таких словах:

Я видел красный день: в России нет раба!
И слезы сладкие я пролил в умиленьи...
«Довольно ликовать в наивном увлеченьи,—
Шепнула Муза мне.— Пора идти вперед:
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..»

(II, 420)

В доказательство того, что слово «свобода» не могло означать у Некрасова крестьянскую реформу, но только освобождение родины от гнета антинародной власти, К. И. Чуковский приводит другой контекст слова «свобода»:

Мать-отчизна! дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!

(II, 99)

Но слова в разных контекстах имеют разное значение. Взгляд на художественное произведение как на зашифрованную информацию склоняет к ошибочной тенденции рассматривать слова как знаки, имеющие всегда одно и то же значение.

Отмечу, что и другие некрасоведы, не склонные вообще преувеличивать значение эзопова языка в творчестве Некрасова, впадают иногда в аналогичную ошибку. Возьмем синоним слова «свобода» — слово «воля». Несомненно революционное значение этого слова в таком тексте, как:

Душно! без счастья и воли,
Ночь бесконечно длинна.

(II, 275)

Но вот в поэме «Дедушка» в рассказе о Тарбагатае встречаем строку:

Волю да землю им дали.

(II, 281)

Казалось бы, смысл здесь очевиден? Сосланные «в страшную глушь» Забайкалья старообрядцы, благодаря самой ссылке освободившиеся от крепостной зависимости и получившие большие земельные участки, стали зажиточными:

Воля и труд человека
Дивные дивы творят!

(II, 281)

Но вот что пишет В. Е. Евгеньев-Максимов: «„Волю да землю им дали",— говорит дедушка, объясняя то чудо, воплощением которого явился Тарбагатай. Эти слова, кроме своего прямого смысла, имели и некий тайный смысл. «Земля и воля» — название революционной партии 60-х годов, с которой был тесно связан Чернышевский. Иными словами, Некрасов хотел сказать, что только путем реализации программы этой партии, определяемой ее названием, возможно превращение России в благоденствующий и цветущий Тарбагатай».[1]

Но «воля» в смысле свободы, которую принесет революция, совершенно не соответствует контексту, так как не имеет никакого отношения к благоденствию тарбагатайских крестьян. Что же касается организации «Земля и воля» 60-х годов, она была настолько законспирирована, что не была раскрыта даже правительственными органами; тем более она оставалась неизвестной тем читателям Некрасова, которых надо было пропагандировать.

В истории революционного движения более известна «Земля и воля» 70-х годов, но во время написания «Дедушки» ее еще не существовало. Однако К. Ф. Бикбулатова, развивая мысль В. Е. Евгеньева-Максимова, связывает эзоповские слова Некрасова и с этой организацией, восхищаясь прозорливостью поэта. Она пишет: «...Старый лозунг политической организации шестидесятников «Земля и воля» в то время еще не был возобновлен в среде революционной молодежи, и напоминание о нем именно в этой поэме несет двойную нагрузку — еще раз подчеркивает преемственность революционных традиций и играет свою роль в плане политическом, агитационном. 〈...〉 О глубокой прозорливости

---

[1] Евгеньев-Максимов В. Е. Творческий путь Н. А. Некрасова. М.— Л., 1953, с. 204—205.

Некрасова свидетельствует то обстоятельство, что новая революционная организация действительно получила то же название — „Земля и воля“ ».[1]

Свой тезис о том, что Некрасов, с целью провести в печать «опасные» мысли и чувства, тут же для обмана выражал мысли и чувства, противные его убеждениям и переживаниям,— этот тезис К. И. Чуковский распространяет и на произведения крупных жанров, применяя его даже к самой большой поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». При этом и самый сюжет поэмы оказывается, так сказать, псевдосюжетом, сочиненным для отвода глаз.

«Вся поэма,— пишет К. И. Чуковский,— один из величайших памятников эзоповой речи в России. Самое ее заглавие направлено к полной дезориентации цензуры. Писатель, который постоянно твердил:

Два лагеря, как прежде, в божьем мире:
В одном рабы, властители в другом,—

(II, 582)

не мог допытываться вместе со странниками, «кому живется весело, вольготно на Руси», ибо во всех его произведениях, на протяжении всей его жизни, на этот вопрос всегда, неизменно давался один и тот же четкий и внятный ответ» (707).

К. И. Чуковский приводит несколько мест из стихов и прозы Некрасова, где «счастливыми», «счастливцами» названы богатые и знатные, и продолжает:

«Поэтому, когда в своей поэме он изображал дело так, будто он и вправду хочет дознаться, счастливы ли в России сановники, министры, купцы и помещики, это была, так сказать, дымовая завеса для прикрытия истинного сюжета поэмы. Некоторые мемуаристы повторяли, будто он хотел показать, что в тогдашней России не может быть счастлив никто, что все поголовно несчастны, что даже царь Александр II и тот имеет свою долю хлопот и забот, но признать это — значило бы, что Некрасов перевел свою поэму из политического плана в план житейского сострадания к врагам. Этого в его поэзии никогда не бывало» (708).

«Словом,— резюмирует К. И. Чуковский,— весь поставленный в этой поэме вопрос — кому на Руси жить

---

[1] Бикбулатова К. Ф. Поэма Н. А. Некрасова «Дедушка».— В кн.: Историко-литературный сборник. М.— Л., 1957, с. 125.

хорошо — нельзя не признать маскировкой подлинной некрасовской темы: как глубоко несчастлив народ, «облагодетельствованный» крестьянской реформой» (709).

Заметим прежде всего, что помимо мемуаров есть ведь источник более надежный — текст самой поэмы, в которой поп, помещик и чиновник (в набросках) свидетельствуют, что им живется не весело и не вольготно. Очевидно, так же должны были оценить свою участь купец, министр и царь,— ведь не собирался же Некрасов противопоставить их довольство жизнью самоощущению уже опрошенных представителей привилегированных слоев населения.

Мысль К. И. Чуковского сформулирована недостаточно четко: видимо, она сводится к тому, что ради возможности говорить о страданиях народа Некрасов заставил счастливых на самом деле баловней жизни объявлять себя несчастливыми.

Однако что же это за подарок цензуре — поэма о том, что не одни крестьяне, а все слои населения страны несчастны? Цензуре ведь желательно было бы обратное: чтобы писатели изображали все сословия империи благоденствующими.

Встает и тот вопрос, который мы уже задавали в отношении стихотворения «Свобода»: необходимо ли было искажение замысла произведения ради того, чтобы спасти основное в нем?

Тема бедствий и страданий народа, как известно, центральная тема Некрасова. Его и поныне называют «певцом народного горя». Он умел развивать эту тему без таких примесей, которые ее замутнили бы. Как бы извиняясь за постоянство, за традиционность этой темы в своем творчестве, он начал стихотворение «Элегия» (1874) словами:

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»
И что поэзия забыть ее должна.
Не верьте, юноши! не стареет она.

(II, 419)

Да и в самой поэме тема счастья или несчастья высших классов отпадает после первой части: дальше тема «бедствий народных» развивается самостоятельно и с гораздо большей резкостью, чем в первой части. Значит, никаких масок и сеток здесь не требовалось.

Снова мы встречаемся с попыткой навязать слову одно — как бы терминологическое значение. В «Кому на Руси жить хорошо» вопрос ставится, конечно, не о пошлом счастье «к соблазну жадной толпы», дерущейся «за блага бренные» (III, 385). Надо учитывать революционно-просветительское понимание счастья, которое так веско звучит в конце поэмы:

Быть бы нашим странникам под родною крышею,
Если б знать могли они, что творилось с Гришею.

(III, 245)

То есть подлинно счастливый человек — это «народный заступник», тот, кто свою жизнь отдает борьбе за счастье народа, хотя судьба готовит ему «чахотку и Сибирь».

Выше мы отметили правильность указания К. И. Чуковского на существование эзоповского приема понижения лиц и учреждений в ранге. Но это вовсе не значит, что любое сатирически изображенное лицо должно при дешифровке повышаться читателем в ранге до возможного предела. Между тем К. И. Чуковский стремится убедить нас, что чуть ли не все образы угнетателей — это псевдонимы царя Александра II.

Вот сатирическое стихотворение «Из автобиографии генерал-лейтенанта Федора Илларионовича Рудометова 2-го». Этот генерал «очень долго управлял учебным учрежденьем», затем стал «начальником цензуры» и, наконец, получил в управление «обширный край». В учебном заведении он налегал на «порядок» и «маршировку», в качестве начальника цензуры сменил пятнадцать либеральных цензоров, сумел разом «сократить журнальную подписку», добился того, что «гибли, гибли сотни книг, Как мухи в керосине», и «лопнули в пятнадцать дней Все книжные лавчонки». О деятельности во «вверенном крае» генерал говорит лапидарно:

Девиз: «Блюди — и усмиряй!»
Я оправдал на славу...

(II, 151)

К. И. Чуковский правильно указывает, что имеется в виду разгром печати в начале 60-х годов и усмирение польского восстания, что фамилия генерала произведена от слова «рудомет», то есть кровопускатель. Но что под маской Рудометова надо было распознать царя

Александра II — это обосновывается лишь тем, что он кровопускатель и тоже — как и Рудометов — второй.

Если начальник учебного заведения, цензор, генерал-губернатор — только маски, за которыми неизменно скрывается царь, и читатель так это и воспринимал (а иначе какой же это эзопов язык?), для него образы и весь художественный строй сатиры поблекли бы. Ведь после дешифровки сохраняет значение только раскрытый смысл, а те детали, в которых он был сокрыт, больше уже не представляют интереса. Если конкретные детали сатиры надо воспринимать как балласт или лигатуру, она теряет свою силу.

Или возьмем знаменитое стихотворение «Забытая деревня». К. И. Чуковский указал, что «читатели увидели здесь явный намек на недавнюю смену царей» (675) — Николая I Александром II.

Это единственный случай, когда К. И. Чуковский мог подкрепить свои толкования свидетельством о восприятии тех или иных читателей. Однако он же указывает, что и в стихотворении «В деревне» читатели видели в смерти Савушки, задранного медведем, намек на недавнюю смерть Николая I, затеявшего неудачную войну (677). Но здесь К. И. Чуковский не соглашается с таким эзоповым толкованием, поскольку стихотворение написано еще до смерти Николая I, в случае же с «Забытой деревней» — соглашается: тут дата не подводит. Аллегоричность «Забытой деревни» К. И. Чуковский доказывает так: «Не станет же Некрасов всерьез утверждать, будто вся беда крепостной деревни заключается в том, что ее владельцы живут вдалеке от нее! Будто, если бы барин и в самом деле приехал в деревню, он сразу осчастливил бы всех! Это так не вяжется с другими стихами Некрасова, что естественно склоняешься к мысли, что здесь скрыто иное значение» (676).

Можно ли так тезисно толковать художественные произведения? Так ведь можно поставить Некрасову в вину, зачем он изображает зверства Фогеля в «Кому на Руси жить хорошо» или других немцев-управителей в «Отрывках из путевых записок графа Гаранского». Как будто крестьянам было бы лучше, если бы господа сами управляли своими именьями, а не передавали власть над крестьянами бурмистрам и управляющим!

И опять при таком аллегорическом толковании бледнеют и отправляются в «сетку» конкретные образы бабушки Ненилы, Наташи, «вольного хлебопашца» Иг-

натия, а равно и бурмистра, главного управителя, лихоимца-соседа. Какой они могут иметь интерес, если функция только в затушевывании подлинного смысла?

Основная ошибка при исследовании эзопова языка заключается в том, что дешифруются отдельные слова без достаточного учета контекста. Так, К. И. Чуковский, приводя тексты Салтыкова-Щедрина и Чернышевского, в которых под словом «волки» разумеются «народные враги», стремится вложить тот же смысл в слово «волки» и у Некрасова, не считаясь с контекстом. Он пишет:

«В семидесятых годах, когда аресты и обыски царской охранки сделались массовым, повседневным явлением, Некрасов написал стихотворный памфлет «Путешественник», где вывел рыскавших по всей России жандармов в образе голодных волков. В то время волки, судя по газетным известиям, действительно свирепствовали во многих захолустьях России, так что иносказание Некрасова имело вполне легальную видимость:

В городе волки по улицам бродят,
Ловят детей, гувернанток и дам...

(II, 407)

Но кто же не догадался бы в те времена, о каких волках идет речь?

В городе волки, и волки на даче,
А уж какая их тьма на Руси!

(II, 407)

Очевидно, иносказание было слишком уж явно: при жизни Некрасова стихи так и не могли появиться в печати» (677—678).

Стоит, однако, обратиться к тексту стихотворения, чтобы убедиться в том, что никакого эзопова языка тут нет. Вот первая строфа:

В городе волки по улицам бродят,
Ловят детей, гувернанток и дам.
Люди естественным это находят,
Сами они подражают волкам.

(II, 407)

Тут не иносказание, а сравнение настоящих волков, из-за которых скоро на Руси «не останется клячи», с жандармами, которые в стихотворении так и названы, а Россия названа «несчастной страной».

Ничего здесь Некрасов не сделал для цензуры, в которую стихотворение и не представлялось; напечатано оно лишь в 1913 году.

Такое же иносказание, что и в слове «волки», К. И. Чуковский усматривает и в более обобщенном слове «звери». По поводу стиха из «Псовой охоты»:

> Много в отечестве нашем зверей! —
>
> *(I, 115)*

он пишет: «Звери здесь опять-таки двуногие» (679).

Но прочтем этот стих в контексте:

> Много у нас и лесов и полей,
> Много в отечестве нашем зверей!
>
> Нет нам запрета по чистому полю
> Тешить степную и буйную волю.
>
> *(I, 115)*

Речь явно идет о тех зверях, которых помещики уничтожали на псовых охотах, а не о тех, которые зверствовали, охраняя интересы помещиков.

Если бы подобные толкования некрасовских текстов оставались лишь достоянием прошлого, может быть, не было бы необходимости писать эту статью. К сожалению, в работах 60—70-х годов мы обнаруживаем те же дефекты, но еще значительно усиленные.

А. В. Попов посвятил ряд статей изучению топографии произведений Некрасова, то есть их связям с местами Ярославской, Костромской, Владимирской, Новгородской губерний. Однако «коньком» А. В. Попова был анализ эзопова языка. Основную идею исследователя можно было бы сформулировать так: все, что писал Некрасов, он писал о грядущей революции, если не прямо, то эзоповым языком.

Вот два примера интерпретации А. В. Попова, взятых из наиболее поздней его статьи.

Все мы помним с детства, что «Генерал Топтыгин» — это веселые стихи для детей о том, как медведя приняли за генерала. Согласно А. В. Попову дело обстоит едва ли не наоборот: Некрасов только для цензуры выдал стихотворение за детское, а генерала за медведя; на самом деле он имеет в виду именно генерала, символически представляющего монархическую власть, которую выгонит народная революция, как выгнали дубиной медведя из саней. Цитирую: «Посвящая «Генерала Топ-

тыгина» «детям», автор направлял внимание цензора на забавный рассказ о приключении с медведем. Хотя действующее лицо — медведь, но его изображение, начиная с красочных прозвищ, напоминает важных генералов. Медведь пугает население, лихо проезжая на тройке лошадей, как заправский генерал, но потом над ним устраивается деревенская потеха, а насмешки связываются с генеральским званием. В заключение прибежавший вожатый выгоняет сердитого «генерала» «из саней дубиной». Такой непочтительный конец в обращении хотя и с шуточным генералом мог подрывать, ослаблять привычный страх перед генералами и вызывать мысль о необходимости освободиться от них. Подзаголовок «Посвящается детям» позднее был вычеркнут самим автором, когда он 〈...〉 увидел возможность обойтись без него и приоткрыть свою мысль».[1]

А вот интерпретация поэмы «Коробейники»: «В ней рассказывалось, как два сильных коробейника погибли от одного слабого, глупого деревенского парня, которого в лесу они приняли по своей темноте за лешего, некую нечистую силу. Только таким намеком рассчитывал Некрасов разъяснить читателю, почему сильный народ подчинился ничтожному меньшинству помещиков, которые сумели обмануть его гибельной реформой 1861 года».[2]

Такие толкования не требуют разбора и опровержения, но я хотел бы обратить внимание на связь произвола в интерпретациях с тем небрежением фактами, которое так рельефно обрисовал И. Г. Ямпольский. Ведь Некрасов вовсе не выводил «Генерала Топтыгина» за пределы цикла «Стихотворения, посвященные русским детям», он всегда печатал его в составе этого цикла; а коробейники приняли своего убийцу не за лешего, а за лесника.

Удивительно, в какой мере стремление обнаружить эзопов язык приводит исследователей к потере понимания смысла как целых произведений, так и отдельных фраз.

---

[1] Попов А. В. Некрасов и Новгородский край.— В кн.: Новгородский вклад в поэзию Некрасова. Новгород, 1961, с. 30—31.

[2] Там же, с. 16.

Лингвистка Т. Н. Кондратьева комментирует следующий отрывок из «Балета»:

...Я боюсь первых мест.
Что за радость ослепнуть от блеска
Генеральских, сенаторских звезд.
Лучезарней румяного феба
Эти звезды: заметно тотчас,
Что они не нахватаны с неба —
Звезды неба не ярки у нас.

(II, 200)

Здесь Некрасов играет двумя значениями слова «звезды»: небесные тела и знаки отличия, и оценивает умственные способности министров и сенаторов, применяя к ним известное выражение «звезд с неба не хватают». Смысл здесь настолько явен, что и эзопова языка, собственно, нет. Но исследовательница хочет увидеть здесь еще и тайное, эзоповское прославление революционных демократов и для этого находит тут третье значение слова «звезды» — «выдающиеся лица». «В первом предложении,— пишет Т. Н. Кондратьева,— дано прямое значение слова *звезды* — знаки отличия, дарованные царем министрам и сенаторам. Во втором предложении приемом эзопова языка создается впечатление, что будто бы речь идет тоже о знаках отличия; указательное местоимение «эти» подчеркивает эту мысль. Однако Некрасов ⟨...⟩ говорит не о знаках отличия, а о людях, которые их носят, но не отличаются ни умом, ни способностями, хотя внешность их *лучезарней* божества солнечного света и поэзии. Естественно, что знаки отличия нельзя сравнивать с Фебом, поэтому «проницательный читатель» невольно слово «звезды» ассоциирует со словосочетанием «выдающиеся люди». ⟨...⟩

Третий повтор обобщает суждение: звезды — настоящие люди, нужные России и выдающиеся своими способностями, лишены внешнего блеска: *Звезды неба не ярки у нас*».[1]

Получается явная нелепость: «не нахватанными с неба» оказываются не звезды, украшающие вельмож, а сами эти вельможи; их поэт будто бы и имеет в виду под «генеральскими, сенаторскими звездами». Исследовательница не поняла и того, что феб здесь не божество,

---

[1] Кондратьева Т. Н. Полисемия слова на повторе (На материале эзопова языка Н. А. Некрасова).— В кн.: Вопросы грамматики и лексикологии русского языка. Казань, 1964, с. 191.

а синоним солнца (почему Некрасов и написал это слово со строчной буквы), а «звезды неба не ярки у нас» — значит на севере или прямо в Петербурге.

Вот еще один комментарий Т. Н. Кондратьевой — к стихам об игроках из «Недавнего времени»:

Пусть вас минус в игре не смущает,
Игроки! пусть не радует плюс,
Смерть придет — все итоги сравняет:
Будет, будет у каждого плюс!..

(II, 308)

«Слово плюс,— пишет Т. Н. Кондратьева,— употреблено не в двух значениях (1. Значок в виде крестика, используемый при игре; 2. Преимущество), а в одном значении — «выгодная сторона, преимущество» господствующего класса — игроков, хотя на первый взгляд и кажется, будто бы поэт берет только одно первое значение; игрой слов поэт язвительно замечает: пусть не радуют временные успехи господ-дворян и буржуа в политической игре, потому что все равно они обречены на смерть, а *смерть придет — все итоги сравняет: будет, будет у каждого плюс!»* [1]

Опять исследовательница не поняла текста: плюс во втором значении — как и в первом — это тоже крест, но на этот раз не на сукне, а над могилой. Преимущества дворян тут ни при чем.

Наиболее поздней из известных мне работ об эзоповом языке Некрасова является статья В. А. Малкина, опубликованная в 1974 году,— «Фигура умолчания в произведениях Н. А. Некрасова».

Повествуя в стихотворении «В дороге» о судьбах крепостной интеллигентки, выдворенной мужем «барышни» из господского дома, где она воспитывалась, и выданной замуж за крестьянина, Некрасов не уточняет конкретно обстоятельств, приведших к этим событиям. Ямщик говорит ездоку:

Знать, она согрубила ему
В чем-нибудь, али напросто тесно
Вместе жить показалось в дому,
Понимаешь-ста, нам неизвестно.
Воротил он ее на село —
Знай-де место свое ты, мужичка!

(I, 96)

---

[1] Там же, с. 192.

Но то, что неизвестно рассказчику, достоверно известно В. А. Малкину. Он знает, что молодой барин стал «приставать» к Груше. Правда, «прямо о его предосудительных поползновениях ничего не сказано. Об этом автор должен был писать осторожно. Стихотворение и без того находилось на грани цензурного дозволения».[1]

Но В. А. Малкин знает и больше того. Оказывается, на самом деле мужу Груши вся ее печальная история известна и он не утаил ее от проезжего барина,— и только Некрасов из-за цензуры написал все не так, как было. «Мужу Груши не могла быть неизвестной вся подоплека ее изгнания,— пишет В. А. Малкин.— Эта неожиданная уклончивость в его откровенном и бесхитростном рассказе — следствие стесненного положения автора, который вынужден был умолчать о многих подробностях крепостного быта. Но молчит он здесь так выразительно, что становится достаточно очевидным, чем не угодила Груша своему барину».[2]

Если бы исследователи имели право дополнять литературные сюжеты эпизодами собственного сочинения, мы бы ничего не могли возразить В. А. Малкину, кроме того, что можно и иначе — и с той же степенью достоверности — развить некрасовский сюжет. Помещик необязательно должен был сразу же после женитьбы подыскивать себе крепостную любовницу. Может быть, его шокировала манера Груши держаться с господами, не соответствующая ее званию, или просто он счел неприличным, чтобы в доме на положении компаньонки барыни жила крепостная. Так ведь, собственно, и объясняет мотивы барской воли муж Груши, оговаривая, что в точности эти мотивы ему неизвестны. Барин и не обязан был обосновывать свои приказы; ямщик мог и не расспрашивать жену, чтобы не бередить ее душевных ран, а мог незнакомому барину и не сообщить интимных подробностей этой истории. Мало ли какие сюжетные ходы можно еще придумать.

Образец более грубой методологической ошибки дает нам интерпретация другого текста в той же статье.

Как известно, заглавной теме лирической поэмы «Тишина» посвящена 3-я главка этого произведения.

---

[1] В кн.: Вопросы поэтики литературы и фольклора. Воронеж, 1974, с. 93.

[2] Там же.

Над всею Русью тишина,
Но — не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет
И думу думает она.

(II, 11)

Половина ее занята темой, которая вводится следующими словами:

Молчит и *он*... как труп безглавый,
Еще в крови, еще дымясь;
Не небеса, ожесточась,
Его снесли огнем и лавой:
Твердыня, избранная славой,
Земному грому поддалась!

(II, 10)

А заключается словами:

Но тихо... В каменные раны
Заходят сивые туманы,
И черноморская волна
Уныло в берег славы плещет...

(II, 11)

Ни один комментатор или исследователь до сих пор не сомневался в том, что эти стихи посвящены Севастополю. Однако В. А. Малкин сомневается в этом, усматривая и здесь эзопов язык. Он пишет: «В произведениях Некрасова порой встречаются как бы недоработанные, не вполне ясные места. Пример такой нарочитой неясности находим в поэме «Тишина». ⟨...⟩ «Молчит и *он*...» Здесь читатель наталкивается на многоточие, как на препятствие, задерживающее внимание. Кто *он*? Очевидно, это разрушенный Севастополь. Но почему слово *он* выделено курсивом? При этом сказано «молчит и *он*», то есть даже *он*, *он* в смысле главного лица, последней инстанции. ⟨...⟩ Вероятно, *он* — тот же народ. А может быть, *он* и есть тот главный ответчик за все реки крови на земле, которому четверть века спустя Иван Карамазов вернет билет? Утверждать, что словами «молчит и *он*» Некрасов хотел сказать «молчит и бог», прямых оснований нет. Но и категорически отвергать подобное истолкование тоже нельзя. Несомненно одно, что неясность, допускающая многозначность истолкования, неясность умышленная, способ зашифровки сокровенной мысли».[1]

---

[1] Там же, с. 95.

«Умышленная неясность» возникает тут только от умысла найти «зашифровку сокровенной мысли» там, где мысль совершенно открыта и ясна.

Излишне, я полагаю, и опровергать подобные истолкования. Замечу только, что в царской России как имя бога, так и замещающее его местоимение обязательно печатались с прописной буквы; читатель понимал, что речь идет о боге и тогда, когда слова «бог» или его синонимов в тексте не было, как например в стихотворении Фета «Горы»:

Мне так легко,— я жизнь познал,
И грудь так сладко дышит ею,
Я никогда не постигал,
Что ныне сердцем разумею:
Зачем Он горы выбирал,
Когда являлся Моисею,
И отчего вблизи небес
Доступней таинства чудес! [1]

Но никогда слово бог или соответствующее местоимение не маркировалось вместо прописной буквы курсивом.

Смысл курсива в данном случае очевиден. Слово «он» несет здесь большую смысловую нагрузку: Севастополь ранее не назван. Не назван он прямо и далее, его имя заменяет перифраза «твердыня, избранная славой» и относящиеся к ней местоимения: «перед ней», «в ней», «ее», которые, кстати сказать, не могут относиться ни к народу, ни к богу уже по несовпадению в грамматическом роде.

Ряд общих вопросов возбуждает то, что пишут об эзоповом языке Некрасова. Прежде всего: приводятся ли какие-нибудь доказательства того, что хотя бы современники Некрасова (если уж он не заботился о будущих читателях) понимали его стихи так, как их теперь нам разъясняют исследователи? Нет, никаких свидетельств современников они не приводят.

Объясняют ли, по крайней мере, те ходы мысли, с помощью которых читатели приходили к прозрению истинного смысла того, что говорит им автор, если он говорит не то или даже противоположное тому, что должны значить его слова? Нет, в рассматриваемых работах и этого нет.

---

[1] Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1959, с. 421.

Я отнюдь не хочу сказать, что автор в эзоповских целях не может утверждать противоположное тому, что он хочет внушить читателю; напротив, это один из самых распространенных приемов эзопова языка; можно привести сколько угодно примеров употребления его и у Чернышевского, и у Добролюбова, и у Щедрина, и у самого Некрасова. Но в этих случаях всегда есть указание на то, что автор иронизирует. Часто речь автора приобретает явно «ролевой» характер: создается «авторская маска» — это обычно яростный реакционер, обрушивающийся на все мало-мальски прогрессивное. То, что он говорит, так резко противоречит высказываниям автора «от себя» в других произведениях, а то и в данном, что это исключает ошибку в понимании любым читателем подлинного смысла эзоповских слов.

Но такой прием внушения обратного сказанному совсем не похож на постулируемый К. И. Чуковским «прием наложения сетки».

Поэт, обращаясь к матери-родине, родному народу, к своей музе, произносит высокие слова о радости, не сравнимой ни с чем пережитым прежде, а читатель будто бы должен понимать, что это фальшивые слова.

Все, что могут сказать исследователи эзопова языка Некрасова по вопросу о понимании его тайнописи читателями, сводится лишь к тому, что читатели, сочувствовавшие идеям Некрасова и искушенные в понимании эзопова языка революционных демократов, безошибочно понимали тайный смысл слов поэта. Такая концепция делает Некрасова поэтом «для немногих», для элиты, прошедшей специальное обучение революционной тайнописи. На самом деле Некрасов имел круг читателей более широкий, чем все его предшественники, и мечтал о еще более широком круге; он мечтал о том, чтобы его стихи дошли до народа, и писал так, чтобы эта мечта могла хоть когда-нибудь сбыться.

С народностью стихов Некрасова связана их понятность и подкупающая искренность. Вероятно, если бы почитатели его «свободной музы» заподозрили, что он способен с видом искренности и страстности говорить обратное тому, что думает,— это скорее охладило бы их любовь к поэту, чем очаровало искусством обманывать цензоров.

Исследования эзопова языка в том духе, который здесь разбирается, непременно постулируют образ дурака-цензора, который не мог понять того, что понимали

читатели (хотя бы достаточно проницательные). Между тем в литературе не раз уже указывалось,[1] что цензоры эпохи реформ — это не цензоры николаевского времени, славившиеся тупостью и невежеством. В эпоху Александра II в цензуре служили известные писатели (Гончаров, Тютчев, Майков, Полонский), люди, причастные к литературе (Лазаревский, Феофил Толстой, Фукс), во всяком случае, достаточно образованные, чтобы понимать то, что они цензуровали,— но, согласно либеральному цензурному уставу, цензоры должны были руководствоваться прямым смыслом произведения, а не запрещать его из-за подозреваемого тайного смысла, из-за неопределенных намеков.

Приемы эзопова языка были направлены на то, чтобы лишить цензора возможности запрета, хотя бы он и понимал, каковы «задние мысли» цензуруемых текстов. Конечно, эзопов язык иногда и дезориентировал цензоров, но чаще был орудием не обмана, а обхода цензуры.

Пора сказать о том, что среди работ, специально или частично посвященных эзопову языку Некрасова, имеется исследование, резко отличающееся от разобранных выше по научному стилю, методам и выводам. Это работа А. М. Гаркави «„Эзоповский язык" и его место в системе художественных образов Некрасова», входящая в качестве главы в книгу автора «Н. А. Некрасов в борьбе с царской цензурой» (Калининград, 1966).

Отводя эзопову языку у Некрасова гораздо более скромное место, чем другие авторы, А. М. Гаркави убедительно показывает, что «у Некрасова «эзоповский язык» обычно не выступает в «чистом» своем виде, не определяет собою жанр и композицию произведений» (с. 24). Далее А. М. Гаркави пишет: «Произведения Некрасова (в том числе и те, которые насыщены элементами «эзоповского языка») обычно обладают одноплановым построением. Описанные здесь явления составляют подлинную (а отнюдь не «ложную», не «показную») тематику. Но при этом иные произведения наводили читателей на явно «запретные» мысли, вызывали «запретные» аналогии и т. п.» (с. 24).

---

[1] См., например: Евгеньев-Максимов В. Е. В тисках реакции. К столетию рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина. М.— Л., 1926, с. 27—28.

«...Иносказательные жанры (типа политической аллегории) для Некрасова не были характерны. В его произведениях «расшифрованы» могут быть отдельные намеки, но произведения в целом (в подавляющем большинстве случаев) «расшифровке» не подлежат» (с. 166).

«Иногда он (Некрасов.— *Б. Б.*) присочинял к своим произведениям особые маскирующие «довески», которые не наносили существенного ущерба, т. к. имели лишь служебный характер (при перепечатках поэт изымал их)» (с. 166).

Читатель вправе спросить: если имеется работа, правильно ставящая вопрос об эзоповом языке Некрасова, нужен ли разбор ошибок и неверных тенденций, сделанный в настоящей статье? Думаю, что нужен. А. М. Гаркави не ставил себе цели дать характеристику вопроса об эзоповом языке Некрасова в исследовательской литературе, не дал обзора статей, посвященных этому вопросу. Притом его книга не имела должного резонанса. На нее не ссылаются, ссылаются только на статью К. И. Чуковского, которая продолжает цитироваться и излагаться без малейшей критики.[1] Статьи же более новые до сих пор не подвергались никакой критике. Они печатаются в трудах научных учреждений и вузов и воспринимаются молодыми исследователями, учителями-словесниками, студентами как последнее слово науки.

Отмечу еще, что хотя общий взгляд А. М. Гаркави на эзопов язык Некрасова объективен и хорошо аргументирован, в отношении отдельных текстов ученый, по моему мнению, не всегда достаточно последователен. Так обстоит дело с царями, якобы скрытыми под разными масками. А. М. Гаркави отвергает предположение В. Е. Евгеньева-Максимова, «что в стихотворении «Отрадно видеть, что находит...» (1845) поэт тайком от цензуры назвал Николая I подлецом» (с. 136), но готов, вслед за К. И. Чуковским, видеть царя под «маской» генерала Рудометова II (с. 138—139). По вопросу же о царях в «Забытой деревне» он то отвергает утверждение К. И. Чуковского (с. 25), то соглашается с ним (с. 138).

---

[1] См. например: В л а с о в М. Ф. Изучение языка и стиля Н. А. Некрасова в советскую эпоху.— В его кн.: О языке и стиле Н. А. Некрасова. Учебное пособие по спецкурсу. Пермь, 1970, с. 49.

Книга А. М. Гаркави интересна не только постановкой вопроса об эзоповом языке Некрасова; основным содержанием ее является рассказ о цензурных мытарствах поэта, о бесконечных запретах, заменах и всяческих искажениях, которые производила над его произведениями цензура.

Огромный материал, собранный А. М. Гаркави, говорит о том, что в бой с цензурой Некрасов, как правило, шел с открытым забралом, предпочитая цензурный запрет произведения приведению его в такой вид, при котором читатель мог бы быть сбитым с толку.

Создается впечатление, что «эзоповское» приспособление к цензуре играло в творчестве Некрасова гораздо меньшую роль, чем прямая речь «свободной музы», которой приходилось чаще «честно молчать», чем обходить и приспосабливаться.

Между тем приспособление Некрасова к цензуре настолько преувеличивается исследователями его эзопова языка, что это вызывает у иных литературоведов даже некоторое осуждение приспособленчества Некрасова. Так, Ф. Я. Прийма пишет:

«К популяризации запретных идей под флером угоднических заверений почти никогда не прибегал Чернышевский, их решительно отвергал Добролюбов, но Некрасов относился к ним с известной терпимостью, может быть, по инерции, поскольку в пору выхода его на литературную арену тактика реверансов властям предержащим широко применялась прогрессивной журналистикой, ее культивировал даже неистовый Белинский».[1]

Этот косвенный упрек вряд ли заслужен Некрасовым (вопрос о Белинском — решать не здесь).

Огромная текстологическая работа, начатая К. И. Чуковским и продолженная большим коллективом советских текстологов, освободив тексты Некрасова от цензурных искажений, показала подлинное лицо поэта революционной демократии. Вслед за текстологами историки литературы пересмотрели прежнее понимание Некрасова, зиждившееся на искаженных текстах.

Однако при этом нередко проявлялось излишнее усердие: некоторые литературоведы пытались найти революционно-демократические призывы чуть ли не в каждой строчке Некрасова. Для этого прибегали к та-

---

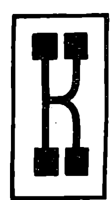
[1] Прийма Ф. Я. Поэзия любви и гнева.— «Русская литература», 1971, № 4, с. 14.

ким методам, которые могли только скомпрометировать верные, имеющие большое научное и общественно-политическое значение идеи советского некрасоведения, в частности к насильственному толкованию смысла ряда стихотворений Некрасова, как якобы написанных эзоповым языком.

Ошибки, прослеженные нами,— результат тенденции, характерной для тех лет, когда писалась статья К. И. Чуковского, но не изжитой вполне и доныне. Это тенденция к так называемому «улучшению истории», к выпрямлению ее часто зигзагообразного движения. Творчество писателя претерпевает эволюцию, колебания, смену настроений. Но если писатель сказал не то, что, по мнению исследователя, всегда должен был говорить, в работах такого типа подобный текст либо игнорируется, либо перетолковывается. Одним из основных средств такого перетолковывания и является утверждение, что не подходящий под заданную формулу текст написан эзоповым языком. Этому поветрию подвергся даже К. И. Чуковский. Парадоксально, что именно он, первый по-настоящему поставивший вопрос о Некрасове как великом художнике, первый начавший плодотворно изучать поэтическое мастерство Некрасова, первый же написал статью, где поэтические символы трактуются как шифровальные знаки, где утверждается, будто Некрасов писал произведения, многие строки которых «не нужно читать», и присоединил эту статью к своей замечательной книге о мастерстве Некрасова, в которой она выглядит как чужеродный привесок.

Борясь за преодоление нашим литературоведением недостатков, мы должны, в частности, очистить от произвола и фальши изучение эзопова языка русских писателей.

ОБ ИСЧЕЗНУВШЕМ ТЕКСТЕ НЕКРАСОВА



ак известно, неудавшееся покушение Каракозова на жизнь царя Александра II развязало руки реакции. Была создана следственная комиссия, председателем которой был назначен М. Н. Муравьев, «усмиритель» польского восстания, заклейменный широко распространившейся кличкой «вешатель». Он должен был не только выяснить все, непосредственно относящееся к покушению, но и все «корни и нити» революционной крамолы, включая и печатную ее пропаганду.

Тщетно пытаясь спасти от закрытия журнал революционной демократии «Современник», Некрасов прочел на обеде в Английском клубе приветственное стихотворение Муравьеву. Стихи встретили у последнего самый холодный прием и не помогли делу. Некрасов, видимо, уничтожил прочитанный текст; во всяком случае, в сохранившихся бумагах Некрасова этого стихотворения нет.[1]

Однако в 1885 году в журнале «Русский архив» появилась публикация под заглавием «Стихи Н. А. Некрасова графу М. Н. Муравьеву» со вступительной заметкой, подписанной инициалами редактора журнала П. И. Бартенева. Вот текст этой публикации:

«Государственная заслуга графа М. Н. Муравьева так важна, общенародное сочувствие к нему было так велико, что даже люди, по направлению своей деятельности ему враждебные, считали долгом восхвалять его. Так поэт Некрасов, бывший перед тем издателем «Современника», обратился к нему с нижеследующими сти-

---

[1] См.: Чуковский К. И. Поэт и палач. М., 1922; Чуковский К. И. Некрасов. Л., 1926; Чуковский К. И. Рассказы о Некрасове. М., 1930.

хами. Это было 27 апреля 1865 года, в Петербургском Английском клубе (помещавшемся на Фонтанке), где графу Муравьеву давали торжественный обед. По окончании пира престарелый виновник торжества ушел на балкон и закурил свою трубку. Возле него оставалось несколько человек, наиболее к нему близких. Вдруг подходит Некрасов и просит позволения прочитать ему стихи. Стоя перед Муравьевым, прочитал он свое произведение и спросил: «Ваше сиятельство, позволите напечатать?» — «Это ваша собственность,— сухо отвечал Муравьев,— и вы можете располагать ею, как хотите».— «Но я бы просил вашего совета».— «В таком случае не советую». Некрасов так и сделал, и стихи эти появляются только теперь в печати. По свидетельству очевидца, сцена была довольно неловкая; по счастию для Некрасова, свидетелей было сравнительно немного. Говорили, будто Муравьев сказал Некрасову несколько жестких слов о политическом его направлении, но это неверно, как помнит ясно сообщавший нам очевидец. *П. Б.*

27 апреля 1865

Бокал заздравный поднимая,
Еще раз выпить нам пора
Здоровье миротворца края...
Так много ж лет ему... Ура!

Пускай клеймят тебя позором
Надменный Запад и враги;
Ты мощен Руси приговором,
Ее ты славу береги!

Мятеж прошел, крамола ляжет,
В Литве и Жмуди мир взойдет;
Тогда и самый враг твой скажет:
Велик твой подвиг... и вздохнет.

Вздохнет, что, ставши сумасбродом,
Забыв присягу, свой позор,
Затеял с доблестным народом
Поднять давно решенный спор.

Нет, не помогут им усилья
Подземных их крамольных сил.
Зри! Над тобой, простерши крылья,
Парит архангел Михаил!» [1]

---

[1] «Русский архив», 1885, № 6, кн. 2, с. 202—203.

В дореволюционных собраниях стихотворений Некрасова текст этот не перепечатывался потому, что эти издания Некрасова вообще не пополнялись никакими новыми находками, сама же принадлежность Некрасову опубликованного в «Русском архиве» текста сомнениям не подвергалась; некрасоведы даже опровергали свидетельства мемуаристов о содержании стихотворения Некрасова тем, что эти свидетельства противоречат тексту, ставшему известным из «Русского архива».[1] Когда же в 1920 году К. И. Чуковский выпустил первое советское полное собрание стихотворений Некрасова, в него вошел тот же текст «муравьевской оды».[2]

Однако в том же 1920 году М. К. Лемке высказал в комментарии к заметке Герцена «Стихи и проза Некрасова» мнение, что текст, опубликованный в «Русском архиве», не тот, который был прочитан Некрасовым на обеде Муравьеву, и вообще не некрасовский. «Напечатанное Бартеневым стихотворение,— писал Лемке,— ни одним словом даже не намекает ни на незадолго бывшее покушение 4 апреля, ни на предстоявшую Муравьеву инквизиторскую деятельность, а все посвящено славословию за уже забываемое тогда усмирение С.-Западного края. Между тем в № 83 «Москов. Ведомостей» от 20 апреля 1866 г. указано, что в своем стихотворении Некрасов говорил, что «вся Россия бьет челом» и что надо «виновных не щадить», т. е. приводятся слова, которые выражают мысли, именно вполне гармонировавшие с настроением еще раз шарахнувшейся вправо массы русского общества. Не говорю уже о том, что напечатанное в «Рус. архиве» стихотворение написано так слабо, что, особенно по первой и последней строфам, можно сомневаться в принадлежности его вообще хотя бы одному из сколько-нибудь заслуженно известных поэтов».[3]

К. И. Чуковский в статье «Поэт и палач» повторил первый аргумент Лемке (газетные сообщения) с такой, однако, оговоркой: «Верны ли эти сообщения, не знаем, так как их источником послужила газета Каткова, заин-

---

[1] См.: Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников, письмах и несобранных произведениях. М., 1911, с. 11—12; Евгеньев-Максимов В. Е. Редакция «Современника» в 1866 году.— «Голос минувшего», 1915, № 1, с. 21.

[2] Некрасов Н. А. Стихотворения. Пг., 1920, с. 532.

[3] См.: Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Пг., 1920, т. 18, с. 394—395.

тересованная в сильнейшем посрамлении Некрасова». Кроме того, К. И. Чуковский напомнил, что сам Некрасов перед смертью говорил, что в стихотворении «было двенадцать стихов», между тем как опубликованный текст «чуть не вдвое длиннее». Но К. И. Чуковский не счел высказанные соображения достаточными для того, чтобы исключить спорный текст из собрания стихотворений Некрасова; он только стал в новых изданиях печатать этот текст в разделе «Стихотворения, приписываемые Некрасову».[1]

Было между тем одно обстоятельство, казалось бы заслуживавшее дальнейшего исследования. Это — несовпадение даты, под которой стихотворение напечатано в «Русском архиве», с датой чествования Муравьева в Английском клубе. Оно происходило 16 апреля 1866 года, а публикация имеет дату «27 апреля 1865». Публикаторы, перепечатывавшие текст «Русского архива», замечали это несовпадение, но относились к нему как к случайной ошибке. В. Е. Чешихин-Ветринский, перепечатав стихотворение в сборнике материалов о Некрасове, исправил год, и у него получилась дата «27 апреля 1866»,[2] а К. И. Чуковский заменил ее датой чествования Муравьева.

Между тем, поскольку идентичность стихотворения Некрасова с напечатанным в «Русском архиве» вызывала сомнения, а содержание опубликованного стихотворения соответствовало событиям 1865-го, а не 1866 года, следовало, очевидно, поставить вопрос: не имеем ли мы дело с текстом другого стихотворения, прочитанного на другом чествовании, происходившем 25 апреля 1865 года? М. К. Лемке, соображения которого как будто вели к такой постановке вопроса, ограничился установлением того факта, что никакого обеда Муравьеву в петербургском Английском клубе 27 апреля 1865 года не было, добавив к этому, что его «и не могло быть, потому что тогда держался траур по умершему наследнику».[3]

Но ведь чествование могло состояться и не в петербургском Английском клубе, а утверждение, что оно не

---

[1] См.: Полн собр. стихотворений Н. А. Некрасова. Под ред. К. И. Чуковского. Издания с 1-го (М.— Л., 1927) по 6-е (М.—Л., 1931).

[2] См.: Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников, письмах и несобранных произведениях, с. 11—12.

[3] См.: Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем, т. 18, с. 394.

могло в данный день иметь места нигде и ни по какому поводу, было бы слишком категорично и априорно.

Установим прежде всего, ознаменовался ли этот день или непосредственно предшествовавшие ему какими-либо существенными событиями в биографии Муравьева. Установить это нетрудно. Как видно из газет, в апреле 1865 года Муравьев был отставлен от должности генерал-губернатора Северо-Западного края и награжден графским титулом. Царский рескрипт был опубликован в газетах 25 апреля 1865 года. Такое событие естественно было отметить хотя бы в тесном кругу ближайших к Муравьеву людей, чему, конечно, траур по наследнику помешать не мог. Тут, вероятно, и было прочитано стихотворение, ошибочно отнесенное в «Русском архиве» к чествованию Муравьева в следующем году. Разумеется, в этом случае не может быть и речи о принадлежности текста, напечатанного в «Русском архиве», Некрасову.

Эти соображения повели меня к просмотру мемуарной литературы о Муравьеве в 1863—1865 годах. Просмотр дал неожиданный результат. Выяснилось, что подлинный автор стихотворения, приписываемого Некрасову, давно известен, что он даже печатно протестовал против атрибуции его стихов Некрасову, но все это осталось не замеченным литературоведами.

В 1902—1904 годах в журнале «Русская старина» печатались мемуары одного из ближайших сотрудников Муравьева в виленский период, начальника его «особой канцелярии» и управляющего «отделением по крестьянским делам» И. А. Никотина. В 1905 году эти мемуары вышли отдельной книгой. Здесь, повествуя об отставке Муравьева из Вильны и его встречах в Петербурге с его преемником К. П. фон Кауфманом, Никотин пишет:

«За три дня до отъезда К. П. Кауфмана в Вильну граф М. Н. Муравьев дал ему прощальный обед, на который были приглашены только прибывшие с ним в Петербург оттуда лица, так что обед этот носил чисто семейный характер». После обеда «все встали и вышли в гостиную, где я обратился к графу Михаилу Николаевичу с следующим экспромтом:

Пускай клеймят тебя позором
Презренный Запад и враги,
Ты мощен Руси приговором,
Царя ты славу береги.

Мятеж прошел, крамола ляжет...
В литовской Руси мир взойдет,
Тогда и самый враг твой скажет:
Велик твой подвиг! и вздохнет
О том, что, ставши сумасбродом,
Забыв присягу, свой позор,
Затеял с доблестным народом
Поднять давно решенный спор...
Нет! Не помогут там усилья
Подземных их крамольных сил...
Зри — над тобой, простерши крылья,
Парит архангел Михаил!..

Образ архангела Михаила висел в углу столовой и виден был из гостиной. Похвалив стихи и поцеловав меня, граф пожелал иметь их от меня на память. Отправившись с С. С. Шереметевым в угловую комнату, я написал стихи на почтовом листе и передал Михаилу Николаевичу».[1]

Никотин говорит, что «прощальный обед» у Муравьева состоялся за три дня до отъезда Кауфмана к месту его новой службы. Поскольку датой отъезда Кауфмана в Вильну Никотин далее (с. 268) называет 5 июля 1865 года, получается как будто, что обед состоялся в июле. Однако речь, очевидно, идет не об окончательном отъезде после принятия дел, а о первом приезде Кауфмана в Вильну в качестве нового генерал-губернатора, который датируется, согласно указаниям другого мемуариста [2] и газетным сведениям,[3] 2 мая 1865 года. Очевидно, 27 апреля 1865 года и есть дата прочтения стихотворения Никотина.

К цитированному месту своих «Записок» И. А. Никотин сделал следующее подстрочное примечание:

«К крайнему моему удивлению, прочел я в «Новом времени», что этот экспромт, слитый воедино с сказанным два года перед тем в Вильне за обедом поверочных комиссий, приписывается поэту Некрасову, которого даже заподозрили в ложности чувств. Смею уверить неизвестного мне автора, одобрившего стихи, что русский наш поэт был тут ни при чем; за достоинство моих стихов я не стою, но за искренность высказанных в них чувств — смею ручаться».

---

[1] Из записок Ивана Акимовича Никотина. Спб., 1905, с. 265—266.

[2] Мосолов А. Н. Виленские очерки. 1863—1865 гг. (Муравьевское время). СПб., 1898, с. 222.

[3] См. хотя бы «Виленский вестник», 1865, 3 мая.

Никотин ссылается не на «Русский архив», а на «Новое время». Он имеет в виду перепечатку стихотворения и части заметки из «Русского архива».[1]

Текст более раннего «экспромта» — тоста, о котором упоминает Никотин, также помещен в его «Записках»:

Заздравный кубок поднимая,
Еще раз выпить нам пора
Здравицу миротворца края...
Так много ж лет ему — ура!

Путаница действительно вышла экстраординарная. Тост, произнесенный в Вильне в 1863 году, объединен с приветствием, прочитанным в 1865 году, и выдан за стихотворение, написанное по другому поводу в 1866 году, но датирован временем сочинения основной части контаминированного текста; автором же, вместо ограниченного чиновника и бездарного застольного стихоплета, сделан великий поэт.

Нет нужды строить предположения о том, как произошла эта путаница; существенно, что стихи, печатавшиеся до сих пор в качестве «муравьевской оды» Некрасова, не принадлежат ему,[2] подлинный же текст стихотворения Некрасова, прочитанного на обеде в честь Муравьева, остается неизвестным.

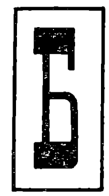
---

[1] «Новое время», 1885, 2 июня.

[2] После опубликования настоящей статьи в 1933 году текст стихов Никотина в собраниях стихотворений Некрасова больше, разумеется, не печатался.

САТИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ НЕКРАСОВА 1840—1850-х ГОДОВ

1



иографы и исследователи творчества Некрасова обычно отмечают разительный контраст между всем творческим путем поэта, последовательным и устойчивым, и исходной точкой этого пути. Началом поэтического пути Некрасова являются, как известно, романтические стихотворения, печатавшиеся с 1838 года в петербургских журналах и вошедшие в упомянутый сборник 1840-го года. В стихах этого сборника будущий великий реалист выступает типичным представителем эпигонского романтизма конца 30-х годов. Будущий революционный демократ восхваляет «перси — моря волны» и призывает «благоговеть пред мистицизмом». Народнейший из русских поэтов воспевает лишь Амариллу, Заиру, Ленору, Польнару — «гурию младую»... Поэт величайшей самобытности в своем дебютном сборнике почтительно подражает всем ходовым, модным образцам.

Справедливо пишет о Некрасове В. В. Гиппиус: «Выступив в литературе впервые в годы глубокой общественной реакции конца 30-х годов, он не растет органически из ученика в самостоятельного поэта, как это бывает обычно: «Мечты и звуки» — первая некрасовская книга — противостоят его зрелому творчеству, и только ценою натяжек можно установить связь между этой романтикой и позднейшей некрасовской лирикой».[1]

«Мечты и звуки» лежат как бы вне творческого пути Некрасова. Но от первого его стихотворного фельетона «Провинциальный подьячий в Петербурге» тянется уже непрерывная линия сатирической поэзии Некрасова. Отказавшись от романтической лирики, Некрасов до середины 40-х годов никаких стихов, кроме сатирико-юмористических, не пишет.

---

[1] Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.— Л., 1966, с. 225.

Быть может, особенно содействует впечатлению резкого контраста между первым сборником и дальнейшим поэтическим творчеством Некрасова полное отсутствие в этом сборнике иронии, юмора, сатирического элемента, столь существенных для поэзии Некрасова и столь ярко проявившихся в его творчестве уже в том же 1840 году. В «Мечтах и звуках» нет даже стихотворений признанных, традиционных сатирических жанров — эпиграмм, сатирических посланий и т. п.

Но неверно было бы представить себе дело так, что Некрасов до 1840 года не писал сатирических стихов. Правда, сатирическими назвать их можно лишь условно: это стихи юмористические, но они в генезисе подлинной сатирической поэзии Некрасова. Такие стихи писались уже в первые годы петербургской жизни, еще до издания сборника «Мечты и звуки», и, конечно, они были совершенно отделены в сознании Некрасова от «серьезной» поэтической деятельности.

В воспоминаниях Некрасова, записанных В. А. Панаевым, находится следующее свидетельство об одном из первых печатных выступлений Некрасова. Прибыв в Петербург, Некрасов быстро истратил привезенные деньги и стал бедствовать. «Оставалось еще несколько рублишек, я нанял себе угол за два рубля в месяц. Пить, есть надо, я и задумал стишонки забавные писать. Напечатал их на листочках и стал гостинодворским молодцам продавать. Разошлись». [1]

От этой «низовой», совсем уж внелитературной, стихотворческой деятельности Некрасова ничего не уцелело, за исключением рекламной афиши «кабинета восковых фигур» (1, 455—467). Любопытен отзыв об этой афише в газетной хронике:

«И размер стихов, и манера, и остроумие — все это что-то такое нам знакомое. Мы где-то встречались с этим поэтом; мы где-то слыхали эту лиру. Это та самая лира, которая поздравляет вас с новым годом, славит доброту вин в погребе Гордона, служит разнощикам афиш, иногда напевает водевильные куплетцы; иногда,

---

[1] Панаев В. А. Воспоминания.— «Лит. наследство». М., 1946, т. 49—50, с. 200.

чего доброго, втирается и в некоторые из наших журналов...»[1]

Хроникер явно намекает на Некрасова; кто же еще в ту пору начал с рекламно-юмористических поделок, стал водевилистом, а в то же время изредка печатал стихи и в журналах? Фельетонист утверждает, что узнал автора по размеру стихов, манере, остроумию; афиша написана тем же характерным размером и в том же тоне непринужденной болтовни простака, как и «Провинциальный подьячий в Петербурге», как и «Говорун», две главки которого напечатаны в том же 1843 году, когда появилась афиша. Один стих в афише («С небритой бородой») совпадает со стихом в «Говоруне» (гл. 1, стих 82), другой («А это просто чучело») почти совпадает со стихом из «Провинциального подьячего» («А вышло — просто чучело» — гл. III, стих 115). Но если намеки фельетона целят в Некрасова, они говорят о его большой стиховой внелитературной продукции, от которой до нас не дошло ничего, кроме рекламной афиши.

Все это показывает неточность обычного представления о романтическом творчестве Некрасова конца 30-х годов, которое якобы после неудачи первого сборника сменяется работой «из хлеба». Работа «из хлеба» началась с приезда Некрасова в Петербург и шла параллельно с поэтическим творчеством юного романтика. Очевидно, поэтому первое известное нам в печати юмористическое стихотворение Некрасова «Провинциальный подьячий в Петербурге» отличается уже такою зрелостью. А первая глава его напечатана ведь в феврале 1840 года, когда вышли и «Мечты и звуки», и еще до рецензии Белинского на этот сборник.[2]

Заметим, что роль этой рецензии в эволюции Некрасова обычно преувеличивается. Эта роль могла быть лишь негативной. Слова Белинского могли показать Некрасову, что на прежнем пути эпигонского романтизма он ничего не достигнет; но новый путь через юмористику к социальной сатире, путь, который вывел

---

[1] «Русский инвалид», 1843, 19 декабря, с. 1139. Указано А. М. Гаркави (Уч. зап. Лен. гос. ун-та, № 112, Л., 1949, с. 135).

[2] «Мечты и звуки» вышли в свет 6 февраля 1840 г., 1-я гл. «Провинциального подьячего» (в «Пантеоне») — 21 февраля, рецензия Белинского в «Отеч. зап.» — 15 марта (см.: Бобович А. С. Цензурные материалы о Некрасове из библиотеки Лен. гос. ун-та.— «Научный бюллетень Лен. гос. ун-та», № 16—17, Л., 1947, с. 67).

Некрасова на дорогу подлинной поэзии, не был ему подсказан Белинским и не мог быть подсказан им уже по той причине, что Белинский в эту пору резко отрицательно относился не только к развлекательно-юмористическим стишкам (преследование которых входило в круг его борьбы с водевильным репертуаром и вкусами публики Александринского театра), но и к серьезной сатире. Белинский, далеко еще не свободный в начале 1840 года от идей «примирения с действительностью», не признавал сатиры законным литературным жанром. Лишь за два месяца до рецензии на «Мечты и звуки» Белинский напечатал знаменитую статью о «Горе от ума», в которой не уставал повторять: «...сатира не принадлежит к области искусства и никогда не может быть художественным произведением» (III, 442); «Художественное произведение есть само себе цель и вне себя не имеет цели, а автор «Горя от ума» ясно имел внешнюю цель — осмеять современное общество в злой сатире, и комедию избрал для этого средством» (III, 484); «„Горе от ума" — сатира, а не комедия: сатира же не может быть художественным произведением» (III, 485). Даже в конце 1840 года Белинский еще пишет: «Явление ⟨...⟩ сатиры относится скорее к истории общества, а не искусства, не поэзии» (IV, 415).

Таким образом, Белинский никак не направлял и не мог направить Некрасова по тому пути, который впоследствии вывел к великим творческим достижениям. Разумеется, на путь стихотворной юмористики Некрасов вступил «из хлеба», без всякой мысли о серьезных социально-сатирических задачах; но когда, через несколько лет, под сильным влиянием Белинского, пережившего кардинальный перелом воззрений, у Некрасова возникло стремление выразить в своей поэзии демократические и социалистические идеи, это стремление естественно воплотилось сперва в тех формах, какие были разработаны в поэзии Некрасова к тому времени. Так создается социальная сатира Некрасова.

Попытаемся проследить постепенное наполнение юмористических жанров Некрасова социально-сатирическим содержанием, преобразование его юмористики в сатиру.

2

«Провинциальный подьячий в Петербурге» предшествует всем другим известным нам публикациям Некрасова в «развлекательном» роде и предвосхищает некоторые из них в своей «синкретичности»: здесь соединены элементы водевиля, обозрения, нравоописательного фельетона,— соединены устойчиво: все главки «Провинциального подьячего» и продолжающего его «Говоруна» имеют одинаковую структуру, принадлежат к одному и тому же особому жанру, в котором Некрасов, таким образом, работает на всем протяжении начального периода своего сатирического творчества.

Оригинальность этого жанра была, вероятно, основной причиной успеха «Провинциального подьячего», констатированного Белинским после выхода второй главки:

«Очень забавны куплеты «Провинциальный подьячий в Петербурге»; они так всем понравились и уже так всем известны, что мы не имеем нужды выписывать их» (IV, 169).

«Провинциальный подьячий в Петербурге» печатался в трех номерах журнала «Пантеон русского и всех европейских театров» за 1840 год (№№ 2, 3 и 7). В каждом номере напечатано по главке; каждая главка является самостоятельным фельетоном, связанным с предыдущими общностью повествователя. Продолжать такой фельетон можно неограниченно; и Некрасов вновь принимается за аналогичное произведение («Говорун») и в 1843-м, и в 1845 году.

В театральном журнале естественно напрашивалось обозрение новых пьес; оригинальность Некрасова была в том, что это обозрение он дал, во-первых, в стихах, во-вторых, в сочетании с другими фельетонными и водевильными мотивами, в-третьих, от лица попавшего в Петербург наивного провинциала, в «сказовой» форме, с попыткой нравоописательной характеристики героя через его повествование. Собственно, театральные впечатления «провинциального подьячего», Феоклиста Онуфрича Боба, занимают небольшую часть произведения. Отзывы Боба о представлениях (почти исключительно о водевилях, шедших тогда в Александринском театре) не имеют целью оценить пьесы, а только изобразить комические реакции на них провинциального невежды. Театральные переживания Боба —

в одном ряду с другими развлечениями и уличными впечатлениями от Петербурга. Комический эффект основан на непонимании провинциальным обывателем того, что он видит. Так, Боб подробно описывает нашумевшую картину Брюллова «Последний день Помпеи», но думает при этом, что на ней изображен пожар в Туле.

Конторы все питейные,
Горевшие в ту ночь,
Заводы оружейные
Потрафил он точь-в-точь.

(I, 352)

Не меньше, чем театр, живопись и скульптура, восхищают Боба цыганский хор, маскарад, газовое освещение на Невском, яркая вывеска кондитерской, дагерротипы, сфинксы на набережной и прочие петербургские чудеса.

Герой «Провинциального подьячего» — мелкий чиновник, любимый персонаж тогдашнего водевиля. Это провинциальный невежда, угодливый и низкопоклонный, наивный плут, простодушный взяточник, убежденный в том, что без взяток и мошенничества чиновнику жить нельзя, и хвастающийся тем, что

Умел всегда делишечки
Чистехонько вести...

(I, 354)

На протяжении трех фельетонов он даже обрастает кой-какой биографией: он живет в Пскове, раньше — давно уже — жил в Петербурге, служа в питейном департаменте; под конец он изгоняется со службы за мошенничество и собирается поступить в частную «компанию».

В театральном журнале было естественно использование водевильного куплета. В таком тоне и написан «Провинциальный подьячий».

От водевильного куплета идет и стиховая форма, столь характерная для молодого Некрасова: трехстопный ямб с чередующимися дактилическими и мужскими рифмами. Надо, правда, сказать, что это очень редкий стихотворный размер; редко применяется он и в водевилях, в том числе и в некрасовских (кроме «Феоклиста Онуфрича Боба», прямо связанного с «Провинциальным подьячим»). Но все же этот размер не введен

Некрасовым, а перешел к нему именно из водевиля. Он встречается в таких известных водевилях, как «Чиновник по особым поручениям» Каратыгина (1837 год, куплеты «Задеть мою амбицию Я не позволю вам»), как «Лев Гурыч Синичкин» Ленского (1839 год, куплеты «Его превосходительство Зовет ее своей»),— поэтому применение этого размера в стихотворении Некрасова должно было придавать ему водевильный характер. С этим размером связаны и комические составные рифмы в дактилических окончаниях нечетных стихов. В «Провинциальном подьячем» они еще довольно однообразны; всегда включают местоимение «я» как вторую часть составной рифмы («правосудие» — «в люди я», «горе я» — «история», «оказия» — «в экстазе я», «фамилия» — «в силе я», «окрóме я» — «физиономия»). Водевильный характер придают «Провинциальному подьячему» и обязательные каламбуры, и самый характер ведения рассказа, как будто произносимого со сцены («Но я здесь закалякался, А дома ждет жена...»).

Только в свете установленной выше изначальной двойственности поэтического пути Некрасова может не поражать контраст между бойкими говорными стихами «Провинциального подьячего» с их установкой на воссоздание облика, понятий и речи одного из характернейших типов эпохи и такими романтическими стихами, как «Мелодия», «Офелия», «Слеза разлуки», «Скорбь и слезы», которые печатаются в том же «Пантеоне» уже после «Провинциального подьячего», под подлинной фамилией. Это свидетельствует о том, что он считал романтическую поэзию своим основным путем, а печатаемые анонимно или под псевдонимом юмористические стихи лишь средством к существованию.

Но с инерцией романтизма уже борется насмешливое отношение к нему. В том же «Пантеоне» за 1840 год, через месяц после стихотворения «Слеза разлуки», появляется комическое стихотворение «К ней».

В стихотворении «Слеза разлуки» поэт требует от своей возлюбленной целой серии разнородных «эстетических» поз, выражений и движений:

Посмотри, мой друг, серьезно,
Взор улыбкой засвети,
Повернися грациозно,
Статной лебедью пройди;

Распусти власы по шейке,
Резвой ножки не скрывай,
Белой груди, чародейке,
Волноваться волю дай!
Спой мне нежно про разлуку,
Легкой нимфой протанцуй,
Дай мне беленькую руку,
Сладко, жарко поцелуй!..
Урони теперь в волненье
Две жемчужные слезы:
Будет полно впечатленье
На меня твоей красы...

(I, 342)

В стихотворении «К ней» Некрасов пародирует романтическую пылкость и метафоричность:

Но вот она, пленительная узница,
Слезу отерла рукавом:
О, что со мной? Душа моя, как кузница,
Горит мучительным огнем!

(I, 343)

Но, конечно, гораздо комичнее звучит та романтическая метафора, которою Некрасов заключает «Слезу разлуки»:

Но слеза — любви свидетель!
Ту невольную слезу,
Как младенец — добродетель,
Я в могилу унесу!

(I, 343)

Во всяком случае, у поэта, который уже начал пародировать вульгарно-романтическую поэзию, должна была вскоре пропасть охота писать стихи типа «Слезы разлуки». После 1840 года мы уже не встречаем у Некрасова стихотворений в романтическом духе, зато пародирование романтиков становится в ближайшие годы одним из существенных путей некрасовской сатиры.

С «Провинциальным подьячим» тесно связано начало работы Некрасова над водевилями. Первый его оригинальный водевиль называется «Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке».[1] Некрасов решил использовать в водевиле образ, которому он «Провинциальным подьячим» придал известную популярность, но, в сущности, общего с «Провинциальным

[1] Если не считать «водевильных сцен» «Утро в редакции», прямо связанных с «Петербургскими квартирами» Кони.

подьячим» в водевиле мало. Манеру «Провинциального подьячего» напоминают только куплеты, с которыми Боб впервые выходит на сцену: «Купил в столице с горя я Французский балахон» (1, 443). Эти куплеты написаны размером «Провинциального подьячего» и, в сущности, на его тему: о петербургских новостях. Речь идет о новой столичной моде — резиновом пальто,— забавно связываемой с темой низкопоклонства:

В резине ловко кланяться,
За то она в чести.

(1, 444)

Это, может быть, заготовка для «Провинциального подьячего», не попавшая в текст его и нашедшая себе место в водевиле.

Над водевилями Некрасов работает в 1841—1842 годах, причем все три оригинальных произведения в этом жанре относятся к 1841 году; в 1842 году Некрасов ограничивается только переделками, видимо утеряв активный интерес к жанру водевиля. Возвращается еще раз к этому жанру Некрасов в 1844 году водевилем «Петербургский ростовщик», о куплетах которого мы скажем далее. Наиболее удачный водевиль — «Актер» (1841), недаром долго державшийся на сцене; вообще же о водевилях Некрасова приходится сказать, что они достаточно банальны, основаны на обычных водевильных ситуациях и куплеты — «изюминка» водевиля — не поднимают Некрасова над уровнем современных ему водевилистов. «Провинциальный подьячий в Петербурге» стоит гораздо выше водевильных куплетов Некрасова. В этих куплетах, как уже сказано, почти не употребляется характерный размер «Провинциального подьячего», почти нет дактилических окончаний, а значит, и комических составных рифм. Как правило, куплеты эти основаны на примитивных каламбурах, вроде:

Когда бы вам я пропуск дал,
Я пропустил бы случай к мести.

(4, 116)

Хотел я камни им продать...
И встретил камень преткновенья.

(4, 271)

Я издержался на прогоны,
Так вам нельзя меня прогнать!

(4, 613)

В литературе указывалось, что механические каламбуры характерны для водевилей Кони и что Некрасов пародирует их уже в 1843 году, в романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». Нет сомнения в том, что прототип вечно каламбурящего водевилиста Дмитрия Петровича в этом романе и в ответвившихся от него «Очерках литературной жизни» — Федор Кони; однако незатейливый каламбур вообще характерен для водевиля тех лет; в не меньших количествах мы находим его и у П. И. Григорьева, и у П. С. Федорова, и у П. А. Каратыгина, и у Н. А. Коровкина, и, наконец, у «Перепельского», как подписывал Некрасов свои водевили. В Полном собрании сочинений комментатором отмечены случаи, когда в каламбурах водевилиста Дмитрия Петровича высмеивается вовсе не Кони, а сам Некрасов.

Некрасов издевается не только над Кони, но над типовой манерой водевилистов, в частности и над собственным недавним водевильным творчеством. Отойдя от него, Некрасов в 1843 году возвращается к жанру «Провинциального подьячего» большим произведением под названием «Говорун. Записки петербургского жителя А. Ф. Белопяткина».

3

Две главы «Говоруна» помещены в изданных Некрасовым в 1843 году двух сборничках «Статейки в стихах без картинок». В 1844 году Некрасов постоянно напоминал о «Говоруне» читателям «Литературной газеты» и «Русского инвалида», цитируя большие куски из него в своих фельетонах (5, 400, 449—450, 479—480). Видимо, он намеревался продолжать «Говоруна» и, действительно, в 1845 году напечатал в «Литературной газете» еще одну главу, небольшого сравнительно объема. [1]

---

[1] К 1845 г. относятся и другие стихи Некрасова в манере «Провинциального подьячего». Такова концовка «фарса» «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (5, 576—577), написанного Некрасовым совместно с Григоровичем и Достоевским в форме юмористического рассказа в прозе и стихах; последняя главка его выдержана в знакомой нам форме стихового сказа от лица мелкого

«Говорун» прямо примыкает к «Провинциальному подьячему»: это опять обозрение петербургских новостей от лица типичного чиновника. Как и в «Провинциальном подьячем», каждую главу герой «Говоруна» начинает рассказом о себе, а потом следуют мало связанные между собою впечатления от различных петербургских развлечений; в «Говоруне» они захвачены шире, чем в «Провинциальном подьячем»: рассматриваются книги, театральные и цирковые представления, концерты, разные зрелища и т. п. Та же стиховая форма с комичными дактилическими рифмами, только более разнообразными, с неожиданными сочетаниями в рифме иностранных и русских слов: «экзекутора» — «полутора», «регалии» — «и так далее», «Лючия — благополучия», «Боржия» — «не топор же я» и т. п. Больше каламбуров, но качественно они не многим выше, чем в «Провинциальном подьячем» и в водевилях Некрасова.

В то же время герой нового обозрения, «петербургский житель» Белопяткин, отличается от провинциала Боба более высоким уровнем развития.[1] Другой герой необходим Некрасову, чтобы выразить в «Говоруне» — очень осторожно, правда,— свои новые взгляды, складывавшиеся под влиянием Белинского, с которым он тесно сближается в 1843 году.

Белинский, переживший глубокий идейный перелом, с начала 40-х годов выступает как проповедник революционно-демократического мировоззрения. Некрасов быстро и глубоко осваивает это мировоззрение, к которому его подвел и подготовил весь его жизненный опыт.

Напечатанный лишь в 1931 году роман Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» дает нам понятие о круге мыслей и мере оценок, усвоенных Некрасовым в это время. В «Говоруне» он включается в борьбу Белинского против инерции романтизма, про-

---

чиновника, совпадает с «Провинциальным подьячим» и «Говоруном» по тону, манере речи, фразеологии, рифмам, темам («регалии» — «и так далее»; ср.: 5, 577 и I, 70). Содержание главки — мысли чиновника, уволенного от службы, о возможностях нового устройства — близко к содержанию последней главки «Провинциального подьячего».

[1] Сравнительная характеристика этих двух героев дана в книге В. Е. Евгеньева-Максимова «Некрасов и театр» (М., 1948, с. 149—151). Там же комментируются театральные впечатления Белопяткина (с. 152—157).

тив вульгарно-романтической и в то же время сервильно-шовинистической драматургии Александринского театра, прежде всего против пьес Н. А. Полевого; он участвует в борьбе против всей булгаринской клики, к которой в эту пору примкнул и Полевой. Появляются новые оттенки в изображении чиновника, начинают мелькать (но только мелькать) мысли о социальном неравенстве, о роскоши и нищете...

Новые устремления сказываются в «Говоруне» сознательным и тонким пародированием романтических штампов. Белопяткин частично впадает еще в подчеркнуто наивное «каляканье» Боба, например:

Недавно там поставили
Чудесную «Жизель»
И в ней плясать заставили
Приезжую мамзель.

(I, 65)

Шталмейстера турецкого
Заслуга велика:
Верхом он молодецкого
Танцует трепака.
И т. п.

(I, 73)

Но с этим тоном контрастируют сугубо романтические тирады:

Еще вам свет корыстию
Рассудка не растлил,
И жизни черной кистию
Злой рок не зачернил.

(I, 59—60)

Светила мне незримая
Звезда издалека,
Грудь, страстью шевелимая,
Вздымалась, как река.
И т. п.

(I, 74)

Романтические порывания Белопяткина, правда, отнесены в прошлое, принадлежат к невозвратной юности, закончившейся, когда отец «с эфира в канцелярию столкнул» его «клюкой» (I, 60). После этого герой

...гнаться стал за деньгами,
Изрядно нажился,
Детьми и деревеньками
И домом завелся...
(I, 61)

В «Говоруне» у Некрасова появляется один из характерных сатирических приемов эзопова языка, когда взгляды автора внушаются читателю посредством защиты противоположных взглядов, вложенных в уста комического или отвратительного персонажа. Белопяткин такой же взяточник, подхалим и пошляк, как и Боб, но он при этом сознательный защитник образа жизни и мыслей, основанного на «патриархальных» принципах, противопоставляемых «либеральным химерам».

Боб без всяких идеологических обоснований «поклонами приличными начальству угождал». Для Белопяткина подхалимство не просто средство проложить себе дорогу в жизни, но и свидетельство политической благонадежности. Описывая, как он христосовался с начальником, целуя его, «как водится, и в брюхо (характерный гротеск! — *Б. Б.*) и в плечо», Белопяткин добавляет:

Вот жизнь патриархальная,
Вот служба без химер.
О юность либеральная!
Бери с меня пример!
(I, 71)

Феоклист Боб только испуганно дивился, когда на сцене изображали титулярных советников:

Над ними, посулите-ка,
Смеются так, что страх;
Ну это просто критика:
Я сам в таких чинах!..
(I, 349)

Белопяткин уже осознает себя опорой трона и требует репрессий против «сочинителей», изображающих чиновников «дураками, способными взятчонки только брать»:

Будь я в больших чинах,
Тотчас благоразумие
Внушил бы им, ей-ей!

Давай нам остроумие,
Но трогать нас не смей!

(I, 79)

«Сатирическим вздорам» противопоставляется драматургия Полевого. С большой едкостью раскрывает Некрасов идеологию пьес Полевого как идеологию подхалимства, угодливого преклонения перед сильными мира сего. Это и нравится Белопяткину:

Без вздоров сатирических
Идет лишь Полевой
В пиесах драматических
Дорогою прямой.
В нас страсти благородные
Умеет возбуждать
И, лица взяв почетные,
Умеет уважать;
Всем похвалы горячие,
Почтенье... а писцы
И мелкие подьячие —
Глупцы и подлецы
С уродливыми рожами...
И тут ошибки нет
(Не всё же ведь хорошими
Людьми наполнен свет)...

(I, 79—80)

Конец этого отзыва перекликается с рецензией Некрасова на «Драматические сочинения и переводы Н. А. Полевого», напечатанной в «Литературной газете» в конце 1842 года (9, 65).

В «Говоруне» многое совпадает с рецензиями Некрасова, который уже с конца 1842 года вместе с Белинским борется против реакционной литературы в лице Полевого и Булгарина. Выпад против Булгарина есть и в «Говоруне»,[1] и он опять-таки перекликается с рецензиями и Некрасова, и его вдохновителя Белинского.[2]

Булгарина Некрасов язвит во многих местах «Го-

---

[1] См. об этом в статье Г. О. Берлинера «Некрасов в борьбе с Полевым и Булгариным» («Лит. наследство», М., 1949, т. 53—54, с. 3—10), в книге М. М. Гина «Н. А. Некрасов — литературный критик» (Петрозаводск, 1957, с. 15—25).

[2] Ср. рецензию Белинского на «Картинки русских нравов» Булгарина (VI, 170—171) и рецензию Некрасова «„Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка человеческого рода“, сочинение Фаддея Булгарина» (9, 79) со стихами 167—194 «Говоруна».

воруна», то под известной, еще Пушкиным данной кличкой Фиглярина:

(Так хорошо поет,
Что даже у Фиглярина
Ругательств не стает),

(I, 78)

то не называя имени:

Задумаешь прославиться —
На то есть журналист:
Хвалы он всем славнейшие
Печатно раздает
И, как душа добрейшая,
Недорого берет!

(I, 62—63)

После «Петербургских квартир» Кони, после напечатанной за полгода до опубликования этих стихов второй редакции «Портрета» Гоголя, в которую введен Булгарин, за десять червонцев рекламирующий художника Чарткова в своей газете,[1] нетрудно было понять, на кого намекает Некрасов.

Оппозиционные идеи Некрасова еле проступают за болтовней Белопяткина.

Какой популярностью пользовался анонимно напечатанный «Говорун», показывают две цитаты из него, сделанные — одна через пятнадцать, другая через двадцать лет после опубликования «Говоруна»,— еще до того, как Некрасов признал своим это произведение, включив его в приложение к собранию своих стихотворений. Добролюбов в рецензии 1858 года замечает, что «русская литература спустилась теперь „с эфира в канцелярию“».[2] Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» пишет: «...я, который еще с шестнадцати лет, и пресерьезно, как Белопяткин у Некрасова,

Бежать хотел в Швейцарию...»[3]

---

[1] См. об этом в статье Н. И. Мордовченко «Гоголь в работе над „Портретом“» (Уч. зап. Лен. гос. ун-та. Серия филол. наук. Вып. 4. Л., 1939, с. 114).

[2] Добролюбов Н. А. Собр. соч. М.— Л., 1962, т. 2, с. 349.

[3] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1973, т. 5, с. 51.

Цитаты взяты из следующего места «Говоруна»:

Тогда вы всё узнаете,—
Как глуп я прежде был,
Мечтал, как вы мечтаете,
Душой в эфире жил,
Бежать хотел в Швейцарию,—
И как родитель мой
С эфира в канцелярию
Столкнул меня клюкой.

(I, 60)

4

Читатель «Статеек в стихах без картинок» мог не придать особого значения окруженным непритязательными каламбурами стихам о контрасте безграничной роскоши и голодной нищеты в «чудной» столице:

Столица наша чудная
Богата через край,
Житье в ней нищим трудное,
Миллионерам — рай.
Здесь всюду наслаждения
Для сердца и очей,
Здесь всё без исключения
Возможно для людей:
При деньгах — вдвое вырасти,
Чертовски разжиреть,
От голода и сырости
Без денег умереть...

(I, 62)

Но мы не можем смотреть на смысл этих строк как на случайный результат фельетонной болтовни, потому что мы знаем, какой житейский опыт стоял у Некрасова за этими словами, знаем, что в 1843 году Некрасов уже работал над своим романом «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», в котором именно картины голодной нищеты, смело раскрытые во всем их ужасе, играли существеннейшую роль. Здесь о контрасте роскоши и нищеты говорилось уже не в фельетонно-юмористическом, а в трагическом тоне:

«Петербург — город великолепный и обширный! Как полюбил я тебя, когда в первый раз увидел твои огромные домы, в которых, казалось мне, могло жить только счастие, твои красивые магазины, из окон которых метались мне в глаза дорогие ткани, серебро

и сверкающие каменья, твои театры, балы и всякие сборища, где встречал я только довольные лица, твои больницы и богадельни, как дворцы роскошные и огромные!.. ⟨...⟩. Но прошло несколько лет...

Я узнал, что у великолепных и огромных домов, в которых замечал я прежде только бархат и золото, дорогие изваяния и картины, есть чердаки и подвалы, где воздух сыр и зловреден, где душно и темно и где на голых досках, на полусгнившей соломе, в грязи, стуже и голоде влачатся нищета, несчастье и преступление. Узнал, что есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и в подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые домы...

И я спустился в душные те подвалы, поднялся под крыши высоких домов и увидел нищету падающую и падшую, нищету, стыдливо прикрывающую лохмотья свои, и нищету, с отвратительным расчетом выносящую их напоказ.⟨...⟩ И сильней поразили меня такие картины, неизбежные в больших и кипящих народонаселением городах, глубже запали в душу, чем блеск и богатства твои, обманчивый Петербург! И не веселят уже меня твои гордые здания и все, что есть в тебе блестящего и поразительного!..» (6, 262—263).

В том же году, когда писались приведенные выше стихи из «Говоруна»,[1] Некрасов писал другие «куплеты» — тем же размером и даже с той же характерной рифмой «вырасти» — «сырости», но совсем не комические,— куплеты, названные им самим «патетической выходкой отчаяния», глубоко прочувствованные и вполне автобиографические:

Как тут таланту вырасти,
Как ум тут развернешь,
Когда в нужде и сырости
И в холоде живешь!
Когда нуждой, заботою
Посажен ты за труд
И думаешь, работая:
Ах, что-то мне дадут!

---

[1] Цитированные выше стихи — из 1-й главы «Говоруна», напечатанной в 1-м выпуске «Статеек в стихах без картинок», разрешенном цензурой 13 февраля 1843 г. Куплеты, цитирующиеся ниже, входят в 6-ю главу 2-й части «Жизни и похождений Тихона Тростникова». Эта глава, очевидно, написана раньше 7-й, сюжетно ее продолжающей. Между тем 7-я глава в переработанном виде напечатана в качестве отдельного рассказа «Необыкновенный завтрак» в ноябрьском номере «Отеч. зап.» за 1843 г.

Меняешь убеждения
Из медного гроша
На заданные мнения
Глупца иль торгаша...

И т. д.

(I, 468)

Стихи эти введены в роман как куплеты из водевиля, представление которого в романе описано, но содержание их не соответствует этому назначению и привычному у Некрасова употреблению стиховой формы «Провинциального подьячего» и «Говоруна». Впервые в поэзии Некрасова здесь появляются мотивы нужды и горя; они появляются в жанре комического сказа, внося в него все более явные трагические оттенки, сводя постепенно комическое к внешним признакам жанровой формы.

Этот процесс ясно виден на истории стихотворения, вошедшего в последнее прижизненное собрание Некрасова под заглавием «Отрывок», с датой «1844», и начинающегося словами:

Родился я в губернии
Далекой и степной
И прямо встретил тернии
В юдоли сей земной.

(I, 85)

И стиховая форма, и характерная рифма: «губернии» — «тернии»,[1] и комическое использование «возвышенных» слов и выражений — все здесь ведет к «Говоруну». В настоящее время стихотворение известно нам в трех редакциях. Одна из них озаглавлена: «Мои детские годы. Из признаний Белопяткина». Самим заглавием стихотворение связывается с «Говоруном», представляя собой как бы частичное выполнение обещания его героя Белопяткина:

Когда восторг лирический
В себе я пробужу,
Я вам биографический
Портрет свой напишу.

(I, 60).

Но связь с «Говоруном» могла существовать лишь в первоначальном замысле поэмы;[2] Белопяткин «Го-

[1] Ср. «Говорун», гл. 1-я, ст. 111—113 (I, 62).

[2] В этой редакции под заглавием стоит обозначение «Глава I» — значит, было задумано большое произведение.

воруна» — человек с гладкой биографией, видимо сын чиновника же, столкнувшего его «с эфира в канцелярию», положив этим начало его благополучию; Белопяткин «Моих детских годов» — сын сельского пономаря, грубого пьяницы:

(Бранил жену паскудою,
Звонил в колокола
И гнал меня с посудою
Зеленого стекла).[1]

(I, 544)

---

[1] Последовательность трех редакций произведения до сих пор не была точно установлена. «Мои детские годы» напечатаны в Полн. собр. соч. и писем с редакторским подзаголовком: «Позднейший вариант „Детства“» (I, 408). Ср. примеч. 3 (I, 601). Полагаю, что на самом деле последовательность обратная: «Мои детские годы» являются первой редакцией произведения. Помимо соображений о связи с «Говоруном», которая могла иметь место лишь в первоначальном наброске, на такую последовательность указывает соотношение самих текстов. В редакции «Детства» сюжет продвинут значительно дальше, чем в «Моих детских годах»: шестидесяти стихам «Моих детских годов» соответствуют лишь первые сорок стихов «Детства». Исключены те стихи «Моих детских годов», в которых сказывается еще водевильно-юмористическое отношение к описываемому; например, о жестокой порке малютки говорится так:

При правильном питании,
Скажу вам, господа,
В подобном воспитании
Ребенку нет вреда.
Лишь бей без раздражения
И розги намоча,
Чтоб членоповреждения
Не сделать сгоряча.

(I, 544)

Подобные тирады и не вошли в «Детство», вследствие чего эта редакция имеет более горько-сатирическое звучание, чем в «Моих детских годах». В редакции «Отрывка» работа продолжена в том же направлении: ста стихам «Детства» здесь соответствуют шестьдесят; из первоначальных же шестидесяти стихов «Моих детских годов» в «Отрывок» вошли лишь первые четыре стиха. Ничего юмористического в «Отрывке» уже нет. «Отрывок» — единственная редакция произведения, напечатанная самим Некрасовым: анонимно в 1851 г. и в собрании стихотворений в 1874 г. Очевидно, эту редакцию надо считать последней, несмотря на то, что в так называемой «солдатенковской тетради», составленной Некрасовым в 1855 г., мы находим не ее, а редакцию «Детства». Последовательность от наиболее распространенной редакции к наиболее сжатой вообще характерна для работы Некрасова над сатирико-юмористическими произведениями; ср. последовательность трех редакций стихотворений «Труженик» и «Признания труженика».

Этого героя стали пороть, «чуть от земли завидели», и с тех же пор отец «накачивал» его «противным ерофеичем» с такими присловьями:

«Ну, заправляйся смолоду,
Дурашка,— подрастешь,
Не околеешь с голоду,
Рубашку не пропьешь!»

(I, 544)

Здесь есть текстуальное совпадение с «Жизнью и похождениями Тихона Тростникова», где описан пьяный чиновник, который то выплескивает остатки «ерофеича» в лицо сидящей на полу босой и грязной четырехлетней дочери, то поит ее тем же «ерофеичем», приговаривая: «Заправляйся, дурочка, смолоду: лучше под старость хмель не возьмет» (6, 82).

Мы опять видим, как «юмористический» стиль стихотворения сглаживает то, что в таком грязном безобразии предстает в одновременно писавшемся романе.

В разных редакциях стихотворения — характерные каламбурные рифмы: «вместе я» — «бестия», «разину я» — «дубиною», «до Киева» — «не губи его», но за приемами внешнего комизма — резкие черты трагической пошлости жизни и ранней порчи детской души. Так и воспринималось это произведение в кругах «натуральной школы». Об этом имеется любопытное свидетельство.

В 1876 году Достоевский напечатал в «Дневнике писателя» свой известный рассказ «Мальчик у Христа на елке». Рассказ, как это обычно в «Дневнике писателя», где рассказы как бы вплетаются в ткань авторской публицистики, предваряется маленьким очерком «Мальчик с ручкой», в котором описывается участь несчастных детей, посылаемых за милостыней «хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои〈...〉. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал». [1]

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1981, т. 22, с. 13—14.

Достоевский цитирует интересующее нас стихотворение Некрасова; да и вся фраза, которую замыкает цитата, как бы излагает текст Некрасова. Мы имеем в виду следующие стихи:

От матери украдкою
Меня к себе сажал
И в рот мне водку гадкую
По капле наливал.
. . . .
Так говорил — и бешено
С друзьями хохотал,
Когда я, как помешанный,
И падал, и кричал...

(I, 541—542)

Здесь особенно интересно, что Достоевский цитирует редакцию («Детство»), ставшую известной совсем недавно; она впервые опубликована в 1948 году в 1-м томе Полного собрания сочинений и писем по так называемой «солдатенковской тетради». В краткой редакции («Отрывок»), публиковавшейся при жизни Некрасова, ничего похожего нет. [1] Значит, Достоевский цитирует по памяти стихи, которые, очевидно, когда-то читал ему Некрасов, а это было возможно лишь в те годы, когда эти стихи писались, в очень краткий период близости Некрасова и Достоевского, потом это уже было невозможно по характеру отношений между этими писателями. В ту же пору, когда Некрасов так восхищался «Бедными людьми», он, очевидно, ознакомил их автора с началом своей поэмы о бедных людях.

Характерно, что стихи эти пришли на память Достоевскому, когда он, спустя тридцать лет, задумал рассказ о гибели беззащитного ребенка. [2] Редакция, напечатанная при жизни Некрасова и очень краткая («Отрывок»), видимо, лишь по инерции попала через многие годы в раздел «Юмористических стихотворений разных лет»; в ней уже совсем нет водевильно-комических черт, она начинается смертью отца и трагическим воспоминанием о похоронах, о «сердитой улыб-

---

[1] Процитированных Достоевским стихов нет и в редакции «Мои детские годы», впервые опубликованной в 1921 г.

[2] Достоевский цитирует стихи несколько неточно, что не удивительно через тридцать лет, а может быть, Некрасов читал ему не дошедший до нас вариант.

ке мертвеца», и обрывается на отправлении сироты дядей «с рук долой» в училище.

Такие биографии порождают не белопяткиных, а новых некрасовских демократических героев, типичных героев «натуральной школы», которые говорят о себе:

Придавила меня бедность грозная,
Запугал меня с детства отец,
Бесталанная долюшка слезная
Извела, доконала вконец!

(I, 160)

Или:

Запуганный, задавленный,
С поникшей головой,
Идешь как обесславленный,
Гнушаясь сам собой.

(I, 98)

Последнее четверостишие — из стихотворения «Пьяница» (1845). Это стихотворение примыкает к куплетам «Как тут таланту вырасти...». В стиховой форме «Говоруна» дан сказ от лица интеллигентного бедняка, изнывающего на «губительном пути» под «ярмом тяжелого, гнетущего труда», томимого напрасной тоской по иному, «свежительному труду» и бессильного выйти на иную дорогу, кроме «торной дороги к кабаку».

Инерция водевильного куплета сказывается, собственно, только в начальных строках:

Жизнь в трезвом положении
Куда не хороша!

(I, 98)

Их и приводит Аполлон Григорьев, говоря о «водевильности⟨...⟩ тона, неприятной для эстетического чувства, даже и в таких сильных по содержанию вещах», как данное стихотворение. [1]

Вообще же стиховая форма «Провинциального подьячего» и «Говоруна» в 1844—1845 годах изживает себя и, столь существенная в творчестве Некрасова первой половины 40-х годов, после этого периода уже не встречается у него, за исключением одного произведения. В 1859 году в «Свистке» Некрасов напечатал

[1] Григорьев А. Литературная критика. М., 1967, с. 460.

«трагедию» «Забракованные», тема которой — чрезмерная строгость вступительных экзаменов в университеты, оставляющая за бортом способных и жаждущих образования юношей. Центральной частью «трагедии» является монолог Харчина, занимающий почти половину пьесы,— 204 стиха из 430. По существу, этот монолог — совершенно самостоятельное произведение, написанное в знакомой нам стиховой форме (вообще же пьеса написана пятистопным ямбом) и представляющее собою сказ от лица горемыки-бедняка, который от голода, бессонных ночей, многоверстной ходьбы так измаялся, что «стал в тупик» на экзамене в университет, получил нуль, упал от слабости в обморок и был сочтен за пьяного. Первая половина монолога Харчина не относится прямо к теме пьесы — это история его детства в семье полунищего чиновника, изворачивавшегося при помощи взяточничества и плутней, чтобы кормить большую семью. Думается, что монолог Харчина — это самостоятельное произведение, одна из попыток дать биографию интеллигентного бедняка в его собственном трагикомическом изложении.

Быть может, это, как и «Мои детские годы»,— незаконченный фрагмент большого произведения, к которому Некрасов впоследствии приписал обрамляющие сцены, превратив сказ в монолог. Позволительно высказать предположение, что этот фрагмент написан (может быть, в не дошедшей до нас ранней редакции) в тот же период, когда Некрасов работал над «Тихоном Тростниковым» и «Моими детскими годами».[1] В нем те же самые каламбурные дактилические рифмы, в которых Некрасов упражнялся в ту пору и которые оставил вместе с данной стиховой формой. Ср.:

Описывать не для чего,
Как мы без денег шли,
Способности подьячего
Отцу тут помогли...

(«Забракованные» — II, 444)

На псковского подьячего
Похож, ни дать ни взять,
Теперь с того не для чего
Портрета рисовать.

(«Провинциальный подьячий в Петербурге» — I, 351)

---

[1] После написанного в 1853 г. и напечатанного в 1856 г. «Филантропа» странно было бы написать новое произведение о том, как «голодного от пьяного не умеют отличить».

Была еще история,
Но вспоминать зачем?
И со стыда и с горя я
Сгорел тогда совсем...

(«Забракованные» — II, 445).

— Что это за история?
Во что ты наряжен?..
— Купил в столице с горя я
Французский балахон...

(«Феоклист Онуфрич Боб» — I, 443)

В монологе Харчина, так же как в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова», Некрасов описывает злоключения интеллигентного бедняка в Петербурге, используя, в частности в истории экзаменов и подготовки к ним, ряд автобиографических деталей. Интересно, что рассказ о провале на экзамене и здесь и там сопровождается аналогичным обращением к университетским экзаменаторам:

«О мудрые!

Если бы вы знали, сколько пожертвований, слез и тревог, скольких душевных борений и самопожертвований желудка стоил мне небольшой запас сведений, который со страхом и трепетом принес я на суд ваш в памятный для меня день моего испытания! Если б вы знали, что у меня не было другого наставника, кроме толкучего рынка, на котором я покупал старые учебные книги... Если б вы знали...» (6, 137).

За строгость не получите
Профессорский диплом,
Лишь бедняков отучите
За сотни верст пешком
Идти толпой голодною
На берега Невы
С надеждой благородною
К развитью головы...

(«Забракованные» — II, 446)

Если не принять нашего предположения и считать, что монолог Харчина написан в конце 50-х годов вместе со всем текстом «Забракованных», надо будет признать, что здесь мы имеем случай полного рецидива старой манеры через пятнадцать лет.

Чиновничий сказ в стиховой форме «Провинциального подьячего» сменяется в поэзии Некрасова сказом от лица интеллигентного бедняка. Этот персонаж выходит из сферы некрасовской юмористики; монолог от его лица становится одной из основных форм новой некрасовской лирики.

5

Замена болтливого, наивного и небезгрешного чиновника новым героем — интеллигентным горемыкой — прекратила в творчестве Некрасова традицию сказового стихового фельетона-обозрения петербургских новостей от лица чиновника. Любопытно, что Некрасов тут же перенес опыт этого жанра в область прозы; в течение весны 1844 года он поместил в «Литературной газете» ряд фельетонов под заглавием «Хроника петербургского жителя», написанных от лица мелкого петербургского чиновника Пружинина. Художественные достоинства этих фельетонов невысоки. Некрасов в годы «литературной поденщины» приобрел умение дифференцировать свою работу и создавать одновременно произведения, вполне выражающие его воззрения и устремления, и произведения, предназначенные для невзыскательного читателя и не выходящие или лишь очень осторожно выходящие за пределы его вкусов.

Образ нового героя-повествователя выдержан в тонах «Провинциального подьячего» и «Говоруна»: и Пружинин — мелкий взяточник, осторожно обходящий преграды закона, и он — закоренелый чинопочитатель и подхалим; недаром, приведя стихи из «Говоруна» о поздравлении начальства, он говорит: «точь-в-точь про меня писано» (5, 400). Посты и масленичное чревоугодие, карты и выпивка, подлизывание к начальству и перебранки с женой составляют основное содержание «Хроники петербургского жителя». Из менее традиционных мотивов отмечу негодование Пружинина против писателей, обличающих взятки: мы наблюдали этот мотив в «Говоруне» и увидим его в «Чиновнике».

Так же наивно, как Боб и Белопяткин, повествует Пружинин о театральных представлениях и городских развлечениях, так же рассуждает о литературе. Он в восторге от драм Кукольника и александринских водевилей. Пружинин предпочитает Пушкину Бенедиктова; Пружинин берет сторону обвинителей нарождающейся «натуральной школы»: «Стоит ли дворник какой-нибудь, чтобы об нем книгу писать?»

Подобные выпады занимают незначительное место в «Хронике петербургского жителя», петербургские театры, развлечения, погода тоже далеко не на первом

плане. Жанр чиновничьего сказа увлекает Некрасова к описанию жизни Пружинина, но знания чиновничьей жизни Некрасову, не служившему и мало соприкасавшемуся с кругом чиновников, явно не хватает. Он недвусмысленно ориентируется на гоголевскую традицию, на гоголевский комический сказ. Выбор формы чиновничьего сказа для фельетонного обозрения вообще, очевидно, связан с увлечением Гоголем, но в стихах это не так заметно, как в прозе, где Некрасов явно подражает Гоголю. Собственно обозрения не получается — Пружинин слишком сосредоточен на самом себе,— и Некрасов вскоре обращается к новой для него форме не сказового, а обычного авторского фельетона, в которой написан ряд произведений, относящихся к лету и осени 1844 и к зиме 1844/45 годов. Это фельетоны, в основном тяготеющие к нравоописанию петербургских типов, к «физиологическому очерку» петербургской жизни. В наиболее обширных и характерных Некрасов — часто наряду с перечислением петербургских новостей — дает классификацию и описание петербургских типов вообще («Черты из характеристики петербургского народонаселения») или в какой-нибудь отдельной жизненной сфере («Петербургские дачи и окрестности», «Выдержка из записок старого театрала», «Отчеты по поводу Нового года»).

В программном сборнике «натуральной школы» «Физиология Петербурга» Некрасов поместил свое стихотворение «Чиновник» (1844). В двух частях сборника это — единственное стихотворение среди прозаических очерков петербургской жизни и петербургских типов. Таким образом подчеркивается значение стихотворения именно как «физиологического очерка» типа петербургского чиновника.

Тип мелкого чиновника предстает перед нами уже не в собственной, а в авторской характеристике; сказовую манеру сменяет характерная для «физиологического очерка» манера авторского повествования «легкого», фельетонного стиля.

Герой — чиновник ранга даже более низкого, чем Боб с Белопяткиным.[1] А мелкий чиновник, как известно, любимый герой «натуральной школы», один из

[1] Феоклист Боб указывает по поводу водевиля «Титулярные советники в домашнем быту»: «Я сам в таких чинах» (I, 349), Белопяткин во 2-й гл. «Говоруна» называет себя «титулярным»

тех, кому принадлежало ее сочувствие. Но то — бедный мелкий чиновник, а герои некрасовских чиновничьих фельетонов — нажившиеся чиновники. Любопытно, что их обеспеченность характеризуется почти что формулой:

На каменном фундаменте
Домишком я владел.

(«Провинциальный подьячий в Петербурге» — I, 347)

Детьми и деревеньками
И домом завелся...

(«Говорун» — I, 61)

Купил давно пятиэтажный дом.[1]

(«Чиновник» — I, 81)

Другими словами, новый герой, как и Боб с Белопяткиным,— благополучный взяточник, который «не бывал за взятки под судом» (I, 194). Он и подхалим такой же, как и его предшественники в творчестве Некрасова:

Пред старшими подскакивал со стула
И в робость безотчетную впадал,

(I, 72), в 3-й гл. он уже в следующем чине — коллежского асессора (I, 79). Между тем герой «Чиновника» только

Питал в душе далекую надежду
В коллежские асессоры попасть.

(I, 80)

Рептильный критик булгаринской «Северной пчелы» Леопольд Брандт (писавший под псевдонимом Я. Я. Я.) обличал Некрасова в незнании действительности, утверждая, что герой «Чиновника» берет не по чину. «Вы сомневаетесь,— издевался Брандт,— чтобы в наше время мелкий петербургский чиновник, который, по словам сатиры, добивается еще чина коллежского асессора, мог приобресть взятками пятиэтажный дом в Галерной... но оставьте ваши сомнения. Если это говорит такой авторитет, как г. Некрасов, верить должно» («Северная пчела», 1845, 19 октября). Можно думать, что в вопросе о типовых размерах взяток критик булгаринского органа был значительно компетентнее Некрасова.

[1] Ср. и в дальнейших стихах:

Купишь дом многоэтажный...

(«Колыбельная песня» — I, 101)

Он нажил только дом один —
Но дом пятиэтажный.

(«Прекрасная партия» — I, 149)

С начальником ни по каким причинам —
Где б ни было — не вмешивался в спор,
И было в нем все соразмерно с чином —
Походка, взгляд, усмешка, разговор.

(I, 80)

Новый герой, как и Белопяткин,— завзятый картежник, страстный преферансист (преферансом увлекается и Белопяткин). Известием о проигрыше в преферанс начинается стихотворение «Новости» (1845). Игра в преферанс быстро распространялась в России в 40-е годы, и Белинский, говоря о пошлом препровождении времени, обычно поминает преферанс, характеризует пошляков, как «людей, которые в преферансе и сплетнях видят самое естественное препровождение времени» (VII, 650). В последнем номере «Отечественных записок» за 1844 год (то есть в пору издания «Физиологии Петербурга») Белинский поместил рецензию на книжку «Трактат о преферансе»; здесь он писал: «Право, игра в преферанс сделалась таким важным делом, что пора бы для нее открывать ученые общества, академии и издавать журналы. Торжествуй, пошлость! твое время настало!» (VIII, 428).

Ироническим гимном торжествующей пошлости и являются стихи о преферансе, занимающие чуть ли не половину очерка «Чиновник» (85 стихов из 198). Это как бы «физиологический очерк» карточной игры и типа картежника с его манерой игры, отношением к партнерам, реакциями на выигрыш и проигрыш, специфическими присловьями и остротами, гармонирующими, разумеется, со всем обликом пошляка-чиновника, для которого карты — это сфера наиболее «высоких» и сильных переживаний, область «романтических» стремлений души и полного самозабвения:

Над ним неслось тогда дыханье бурно,
И — вдохновен — он забывал весь свет,
Жену, детей; единой предан страсти,
Молчал, как жрец, бровями шевеля,
И для него тогда в четыре масти
Сливалось все — и небо и земля!

(I, 83)

Герой описан постоянным посетителем Александринского театра. Как и его предшественники, он ненавидит «обличительную» драматургию и литературу вообще и требует репрессий против писателей:

Зато, когда являлася сатира,
Где автор — тунеядец и нахал —
Честь общества и украшенье мира,
Чиновников за взятки порицал,—
Свирепствовал он, не жалея груди,
Дивился, как допущена в печать
И как благонамеренные люди
Не совестятся видеть и читать.
С досады пил (сильна была досада!)
В удвоенном количестве чихирь
И говорил, что авторов бы надо
За дерзости подобные — в Сибирь!

(I, 85)

Положительные же вкусы чиновника — это обычные вкусы завсегдатая Александринского театра, в котором в ту пору господствовали мелодрамы и водевили:

Любил пальбу, кровавые сюжеты,
Где при конце карается порок... [1]
И, слушая скоромные куплеты,
Толкал жену легонько под бочок.

(I, 84)

Тип петербургского чиновника дан Некрасовым в полном соответствии с концепцией этого типа, сложившейся в ряде рецензий Белинского на представления Александринского театра, где характеризуется публика этого театра, состоящая «из делового люда средней руки, которому после канцелярских бумаг сегодняшнего утра и после преферанса вчерашнего вечера всякая пьеса хороша» (VIII, 608). Эта характеристика специфической публики Александринского театра развернута Белинским в статьях «Александринский театр» и «Петербургская литература», помещенных, как и «Чиновник», в «Физиологии Петербурга».

Некоторые места «Чиновника» кажутся созданными под непосредственным воздействием текстов Белинского. Ср., например: «...петербуржец охотно готов при случае отпустить несколько громких фраз во изъявление своего высокого уважения к колоссальному гению Шекспира, с которым он познакомился в Александринском театре⟨...⟩. Если бы он и заспорил с

---

[1] Герцен, перечисляя в «Капризах и раздумье», для кого даются какие пьесы, замечает: «...для статских чиновников — пьесы с пушечной пальбой, превращениями, нравственными сентенциями» (Герцен А. И. Собр. соч. М., 1954, т. 2, с. 53).

вами о чем-нибудь, он в оправдание своего мнения скажет вам, что ведь все так думают, а потом прибавит из вежливости, что, может быть, и вы правы. И в самом деле, из чего спорить, из чего горячиться: ведь обо всех этих Байронах и Шекспирах он взял готовые мнения или своего начальника, или другого какого-нибудь почтенного человека, или знаменитого критического авторитета, или, наконец, своего приятеля-фельетониста» (VIII, 559).

У Некрасова:

Любил шепнуть в антракте плотной даме
(Всему научит хитрый Петербург),
Что страсти и движенье нужны в драме
И что Шекспир — великий драматург,—
Но, впрочем, не был твердо в том уверен
И через час другое подтверждал,—
По службе быв всегда благонамерен,
Он прочее другим предоставлял.

(I, 85)

В статье «Александринский театр» Белинский пишет о публике этого театра:

«Это публика в настоящем, в истинном значении слова: в ней нет разнородных сословий — она вся составлена из служащего народа известного разряда; в ней нет разнородных направлений, требований и вкусов: она требует одного, удовлетворяется одним; она никогда не противоречит самой себе, всегда верна самой себе. Она индивидуум, лицо; она — не множество людей, но один человек, ⟨...⟩ человек, который боится всякой крайности, постоянно держится в благоразумной середине, наконец, человек весьма почтенной и благонамеренной наружности» (VIII, 536).

Слова «постоянно держится в благоразумной середине» как бы задают тон всему очерку «Чиновник» Некрасова, который и начинается словами:

Как человек разумной середины,
Он многого в сей жизни не желал.

(I, 80)

Эпитеты «почтенный» и «благонамеренный», примененные Белинским к наружности петербургского чиновника вообще, употребляются им в 40-е годы преимущественно в ироническом применении к чиновнику — плуту, пошляку и реакционеру. Такое употребление слова «благонамеренный» идет, вероятно, от «Мерт-

вых душ» («Теперь у нас подлецов не бывает; есть люди благонамеренные, приятные...»).[1] По поводу «Мертвых душ» Белинский говорит о «патриотах», «которым так тепло в нажитых ими потихоньку домах и домиках, а может быть, и деревеньках — плодах благонамеренной и усердной службы...» (VI, 222).[2]

Те же эпитеты в «Чиновнике»:

Говаривал почтенный наш герой...

Являлся наш почтеннейший герой...

По службе быв всегда благонамерен...

И как благонамеренные люди
Не совестятся видеть и читать.

«Почтенную» и «благонамеренную» наружность героя, у которого «все соразмерно с чином», а не с человеческой природой, Некрасов раскрывает методом сатирического гротеска, как наружность искалеченную, искаженную неестественной, ненормальной жизнью:

Торжественно лежал
Мясистый, двухэтажный подбородок
В воротничках,— но промежуток был
Меж головой и грудью так короток,
Что паралич — увы! — ему грозил.
Спина была — уж сказано — горбата,
И на ногах (шепну вам на ушко —
Кривых немножко — нянька виновата!)
Качалося солидное брюшко...

(I, 81)

В «Чиновнике» в творчество Некрасова входит новая тема, исключительно важная для всей революционно-просветительской сатиры: тема лицемерия. Образ героя «Чиновника» по сравнению с его предшественниками в сатире Некрасова осложнен чертами лицемера:

Сирот и вдов он не был благодетель,
Но нищим иногда давал гроши
И называл святую добродетель
Первейшим украшением души.

---

[1] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М., 1951, т. 6, с. 241.

[2] Ср. также употребление Белинским эпитетов «благонамеренный» (VIII, 84; IX, 105) и «почтенный» (VII, 11, 641; VIII, 559).

О ней твердил в семействе беспрерывно,
Но не во всем ей следовал подчас
И извинял грешки свои наивно
Женой, детьми, как многие из нас.

(I, 81)

Ср. со словами «И называл святую добродетель первейшим украшением души» начало стихотворения 1845 года «Современная ода», где тема лицемерия выдвинута на первый план: «Украшают тебя добродетели».

Некрасов ведет повествование от лица «благонамеренного» автора и называет свой очерк «благонравной повестью» (I, 83); вспомним «Благонамеренную повесть» Щедрина. С точки зрения этого «благонамеренного» автора, но, конечно, с явной иронией над его «благонамеренностью», оцениваются идеи, порожденные «пытливостью рассудка тревожно-беспокойного» (I, 80—81) и будоражащие сонное болото бездельной жизни. Эти идеи квалифицируются как «больные влиянья века»; они — причина того, что «теперь тяжелая пора». Как уже сказано, Некрасов с ироническим восторгом говорит в «Чиновнике» о картах. Но иронический панегирик сменяется откровенными словами о жизни, бесконечно печальной своей пустотой:

Что ж делать нам?.. играть!.. и мы играем,
И благо, что занятие нашли.

(I, 84)

Определяющим в описании чиновника является и здесь, как и в прозаических фельетонах, влияние Гоголя. Чиновник, описанный в фельетоне, это, конечно, гоголевский чиновник. К. И. Чуковский указал на ряд словесных совпадений в тексте «Чиновника» с гоголевскими текстами, особенно с «Мертвыми душами» (появившимися в свет за два года до создания «Чиновника»). [1]

Не только жизнь чиновника показана в маленькой поэме Некрасова бессмысленной и убогой. Ведя повествование в стиле непринужденной фельетонной беседы с читателем, Некрасов дает краткое отступление о жизни помещиков, «блаженных отцов и дедов на-

---

[1] См.: Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. М., 1971, с. 94—95.

ших». Это «отцы и деды» автора, а не героя, о котором специально разъяснено, что «был он крови не боярской», а, напротив, «породы семинарской». Помещичья жизнь кратко характеризована обжорством, пирами, участники которых стараются «перепивать друг друга», и особенно псовой охотой, которую Некрасов в ряде произведений 1844 года, подготовляющих сатиру «Псовая охота», выдвигает в качестве особо характерного атрибута помещичьей жизни.

Тем самым как бы утверждается, что безделье, невежество, застойность, бессмыслие пронизывают жизнь не одних чиновников, но привилегированных сословий вообще. Фельетон дает общую оценку современной жизни, чего не было в прежних стихотворениях Некрасова.

Неудивительно, что Белинский приветствовал «Чиновника» самым восторженным из своих печатных отзывов о Некрасове. В рецензии на вторую часть «Физиологии Петербурга» он пишет:

«„Чиновник", пьеса в стихах г. Некрасова, есть одно из тех в высшей степени удачных произведений, в которых мысль, поражающая своею верностью и дельностью, является в совершенно соответствующей ей форме, так что никакой самый предприимчивый критик не зацепится ни за одну черту, которую мог бы он похулить. Пьеса эта написана в юмористическом духе и верно воспроизводит одно из самых типических лиц Петербурга — чиновника» (IX, 218).

6

В стихотворном фельетоне «Чиновник» использован опыт работы над прозаическими фельетонами. Для оживления прозаических фельетонов в них часто включаются стихи — то как особые вставные номера, то как прямое продолжение прозаического текста. Часть этих стихотворений вскоре или впоследствии была перепечатана Некрасовым в качестве отдельных произведений. Таково, например, стихотворение «Стишки! стишки! Давно ль и я был гений?..» (1845), представляющее собою часть фельетона «Отчеты по поводу Нового года» и включавшееся Некрасовым во все прижизненные собрания стихотворений начиная с издания 1864 года (в приложении «Юмористические стихотворения 1842—45 годов»). В фельетоне стихотворе-

ние примыкает к обзору литературы за 1844 год, в котором констатируется резкое снижение стихотворной продукции. В стихах Некрасов издевается над восторженными, романтическими поэтами, которых так много было недавно и к которым он и сам принадлежал. Некрасов говорит о том, что от стихов этих «избранников небес», при всей их пылкости и самоуверенности, ничего не менялось в действительности, и дает характеристику этой действительности, совершенно выпадающую из фельетонно-сатирической манеры, выполненную в печальных и резких тонах зрелой некрасовской лирики:

А между тем действительность была
По-прежнему безвыходно пошла,
Не убыло ни горя, ни пороков —
Смешон и дик был петушиный бой
Не понимающих толпы пророков
С не внемлющей пророчествам толпой!
И «ближний наш» все тем же глазом видел,
Все так же близоруко понимал,
Любил корыстно, пошло ненавидел,
Бесславно и бессмысленно страдал.

(I, 87—88)

Последний фельетон, которым завершилась работа Некрасова в качестве фельетониста «Литературной газеты», целиком написан стихами. Он также включался Некрасовым в собрания стихотворений начиная с издания 1864 года, с прибавлением к его заглавию «Новости» подзаголовка «Газетный фельетон 1845».

Стиховой фельетон Некрасова вызывал к жизни прозаический и в свою очередь обогащался его опытом. Стиховой фельетон «Новости» связан с прозаическим фельетоном «Отчеты по поводу Нового года» и с другими литературными выступлениями Некрасова, имеющими отношение к фельетонной теме об успехе у петербуржцев нового танца — польки.

В сезон 1844/45 года этим новым танцем увлекались и в танцклассах, и в семейных домах. Из воспоминаний Д. В. Григоровича известно, что по заказу Некрасова, начинавшего свою издательскую деятельность, он составил книжку «Полька в Петербурге».[1] Мемуарист крайне неточный, Григорович неверно называет книгу, неверно указывает, будто она состав-

---

[1] См.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Л., 1928, с. 123—124.

лена из полудюжины французских брошюрок, наконец неверно называет себя ее автором. В действительности книжка называется «Полька в Париже и в Петербурге» и является сокращенным переводом французской книжки Перро и Робера «Polka enseignée sans maitre» с мелкими прибавлениями и добавочной главой «Полька в Петербурге». Но эта глава написана не Григоровичем, а Некрасовым; она почти целиком совпадает с последней частью фельетона Некрасова «Отчеты по поводу Нового года» (5, 522—526).

В книжке, в фельетоне, в рецензии [1] — всюду Некрасов расхваливает польку и призывает изучать ее.

Но, поработав над этой темой ради куска хлеба, с ориентацией на праздно развлекающегося читателя, Некрасов затем подхватывает ту же тему творчески, не потакая вкусам толпы, не приспособляя к ним своих оценок, а рассматривая те же явления как признак уровня социального сознания общества.

Книжка вышла в свет 1 февраля 1845 года, рецензия на нее — 8 февраля, а 20 февраля был закончен большой (свыше двухсот строк) стихотворный фельетон «Новости». Этот фельетон — значительная веха на пути некрасовской сатиры. Написанный в той же манере «авторского» фельетона и тем же размером (пятистопным ямбом), что «Чиновник» и «Стишки! стишки!..», он посвящен уже не изображению одного общественного типа, но обличению застоя, пустоты и бессмысленности жизни, сдавленной деспотизмом. Четверть этого фельетона занята темой увлечения полькой в Петербурге. Этой темой заканчивается фельетон. В этой части «Новостей» много близкого к тексту прозаического фельетона и особенно книги «Полька в Париже и в Петербурге».

Заканчивая стихотворение, Некрасов с грустной иронией обращается к «юношеству милому», потребность которого в увлечении и энтузиазме вполне удовлетворяется новым танцем:

Твоим порывам смелым и живым
Такое нужно поприще — не боле,
И тратишь ты среди таких тревог
Души всю силу и всю силу ног...

(I, 94)

[1] О других публикациях Некрасова, связанных с той же темой, см. в моей книге «Библиографические разыскания по русской литературе XIX века» (М., 1966, с. 54—77).

История разработки Некрасовым незначительной фельетонной темы ясно показывает, как Некрасов, который «дал себе слово не умереть на чердаке»,[1] зарабатывает трудный хлеб, эксплуатируя злободневные сенсации, а в то же время в тех произведениях, где он может хотя бы частично выразить свое подлинное отношение к жизни, зло издевается над мелкостью и пошлостью этих самых сенсаций, уводящих людей прочь от действительных интересов, достойных человека.

«Петербургские новости» — это, так сказать, лишь формальная тема фельетона. К «петербургским новостям», кроме стихов об успехе польки, можно отнести еще стихи о новой моде — шитых шелком жилетах из черного французского трико. Вообще же под видом «новостей» даются факты совсем не новые, случающиеся постоянно, типические, характеризующие беспросветную, унылую пошлость жизни, которую ведут обеспеченные классы общества. С гиперболической иронией начинает Некрасов свой фельетон грандиозной петербургской сенсацией, приобретающей значение «чуда»:

Почтеннейшая публика! на днях
Случилося в столице нашей чудо:
Остался некто без пяти в червях,
Хоть — знают все — играет он не худо.
О том твердит теперь весь Петербург.

(I, 88)

Вспомним передачу типичных петербургских разговоров в очерке Белинского «Петербург и Москва», напечатанном в вышедшей как раз в это время «Физиологии Петербурга»,[2]— «о том, как Иван Семенович вчера остался без двух, играя семь в червях, или о том, что Петр Николаевич получил место, а Василий Степанович произведен в следующий чин, и тому подобных литературных и политических новостях» (VIII, 397).

«Производство в чин» в этом мире призрачных интересов приобретает значение события катастрофического, своей громадностью рушащего сознание:

...Чудак,
Знакомый мне, в прошедшую субботу
Сошел с ума... А был он не дурак

[1] «Лит. наследство», М., 1946, т. 49—50, с. 202.

[2] Номер «Лит. газеты» с фельетоном «Новости» вышел в свет 8 марта 1845 г., 1-я часть «Физиологии Петербурга» — 27 марта 1845 г. (см.: «Научный бюллетень Ленингр. гос. ун-та», Л., 1947, № 16—17, с. 68).

И тысяч сто в год получал доходу.
Спокойно жил, доволен и здоров,
Но обошли его по службе чином...

(I, 90)

Некрасов неспроста отмечает, что с чином не связано в данном случае материальное и общественное положение чиновника. Дело идет о фетишизме чина как такового — неполучение его сводит человека с ума. Это близко к сюжету незаконченной комедии Гоголя «Владимир 3-й степени»; там только дело идет не о чине, а об ордене.

Некрасовский чиновник в безумии не лишается только одного свойства своего сознания, очевидно наиболее прочно в нем укоренившегося: лицемерия,— того свойства, которое вообще выдвигается революционными просветителями на первый план в описании враждебного мира:

...сынком какой-то важной утки
Уж он себя в припадках величал
И в совершенстве кошкою кричал,
Стараясь всех уверить в то же время,
Что чин большой есть тягостное бремя
И служит он, ей-ей, не для себя,
Но только благо общее любя...

(I, 90)

Гоголь говорил о современных жизненных драмах: «Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?» («Театральный разъезд после представления новой комедии»).[1]

В мире, сатирически изображаемом Некрасовым, выгодная женитьба имеет еще более «электричества», чем чин. От разочарования в получении чина люди сходят с ума, от разочарования в выгодности женитьбы умирают. Это все истории в одном и том же роде,— подчеркивает Некрасов.

История другая в том же роде
С одним примерным юношей была:
Женился он для денег на уро́де,—

а на проверку уродина оказалась «как нищая бедна».

Не вынес он нежданного удара
И впал в хандру; в чахотке слег в постель,
И не прожить ему пяти недель.

(I, 90)

[1] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М., 1949, т. 5, с. 142.

Под видом «петербургской хроники» Некрасов включает в стихотворение и иного типа матримониальный случай. Затрагивается тема насильственного брака молодой девушки со стариком:

Почтенный муж шестидесяти лет
Женился на девице в девятнадцать...

(I, 88)

Эта тема вскоре станет одной из излюбленных в литературе 40-х годов. В данной разработке темы любопытен мотив, которого нет в произведениях других представителей «натуральной школы». Основная эмоция произведений, описывающих брак девушки с пожилым мужчиной по принуждению родителей,— это сочувствие бедной жертве семейного деспотизма. В стихотворении 1847 года «Нравственный человек» Некрасов расскажет о гибели девушки, вышедшей по требованию отца «за седого богача» и угасшей от чахотки. Там Некрасов явно оплакивает Машу, негодуя на виновника ее смерти. Тем интереснее в фельетоне «Новости» четкое признание автора в несочувствии, казалось бы, такой же несчастной жертве судьбы:

...Взор ея
Сверкал, казалось, скрытыми слезами
И будто что-то спрашивал. Но я
Отвык, к несчастью, тешиться мечтами,
И мне ее не жалко...

(I, 89)

В чем же разница между этими двумя молодыми женами седых богачей? Почему Некрасов призывает к сочувствию одной и отказывает в нем другой? Об этом можно лишь догадываться, так как ведь оба сюжета изложены крайне лапидарно. Маша

... в учителя влюбилась
И с ним бежать хотела сгоряча.

(I, 119)

Девушка-дворянка полюбила учителя — очевидно, бедного интеллигента-разночинца, развивавшего ее, раскрывавшего ей глаза на пошлость удушливого мира, в котором она выросла. Его любовь сулила ей возможность вырваться из этого мира, но крепостник-отец отдал ее другому представителю того же мира — «седому богачу», и Маша, которую нельзя было купить

блеском богатства, зачахла и угасла в тоске по любимому человеку, воплотившему ее идеал.

А каков идеал другой героини?

...Любезник и танцор,
Гремящий саблей, статный и высокий —
Таков был пансионский идеал
Моей девицы... Что ж! распорядился
Иначе случай...

(I, 89)

Случай мог бы, конечно, распорядиться и по желанию девушки, но дал ли бы ей счастье брак с ее «пансионским идеалом»?

Такой вариант темы разработан Некрасовым в ряде более поздних стихотворений, где дан в полный рост портрет «гремящего саблей» «любезника и танцора», впервые намеченный в «Новостях». За такого героя выходит, можно сказать, идеальная девушка в стихотворении «Прекрасная партия» (1852). И, конечно, риторическим является вопрос, которым оканчивается это стихотворение:

Их сговорили чередой
И обвенчали вскоре.
Как думаешь, читатель мой,
На радость или горе?

(I, 156)

Разумеется, на горе.

Та же тема разрабатывается в стихотворении «Гадающей невесте» (1855). У героя этого стихотворения тоже

Бравый вид, блестящие манеры,
Светский лоск... Но есть ли в нем душа? [1]

(I, 573)

В отличие от Нади из «Прекрасной партии», «гадающая невеста» «влюблена без меры». Но будет ли она счастлива? Будет, «если сердце есть в его груди», если он «не из бездушных». На первый взгляд, это условие не связано с социально-идеологическими отличиями: люди сердечные и люди холодные могут как будто быть

---

[1] Цитата из черновой редакции.

в любой среде. Нет, это не так, говорит нам Некрасов, бездушный — это, прежде всего, тот, кто живет,

Потеряв сознание позора
Жизни дикой, праздной и пустой...

(I, 203)

То есть это крепостник, это человек, уютно чувствующий себя в гнусном мире, с которым борется поэт.

Если так — плоха порука счастью!

(I, 204)

Тут нужна оговорка. Существенно, к какому миру принадлежит сама героиня: к миру насилия и зла или к миру добра и протеста. Если женщина сама духовно вполне принадлежит к миру своих родителей и мужа, она найдет в этом мире свои жизненные возможности. Стихотворение «Гадающей невесте» в черновике имеет продолжение. Девушка с «умом, красотой и страстью», с «нежностью сердца, музыкой речей» совершенно меняется после брака с «бездушным» мужем, живущим интересами барского тщеславия:

Хлопоча о самом высшем тоне,
Позабудешь чистые мечты,
Принимать начнешь в своем салоне
Не людей, а титла и кресты

И прогонишь с модного порога
Друга лучших, благородных лет,
Потому что он одет убого
И на нем перчаток белых нет.[1]

(I, 574)

Но такую нечего жалеть, если ей и не повезет в жизни. Это и хочет сказать Некрасов своим «И мне ее не жалко».

Подобных мотивов мы не найдем у других писателей «натуральной школы», разрабатывавших проблему насильственного неравного брака — ни у Панаева («Родственники» — 1846), Дружинина («Лола Монтес» — 1847), ни у Достоевского («Елка и свадьба» — 1848) и др. Тем-то и отличается поэзия Некрасова уже в

---

[1] Ср. у Белинского: «Как бы ни была глубока и богата духовными дарами натура женщины, но если ее мужем сделается один из таких господ, ей остаются только две неизбежные дороги: или медленно зачахнуть, или помириться с жизнью, как она есть... Последнее всего чаще случается» (VII, 73).

эту начальную пору, что люди расцениваются и награждаются им сочувствием или наказываются ненавистью, презрением, равнодушием не просто по личным их качествам, но по таким, которые связаны с их принадлежностью к миру угнетателей или угнетенных, с их самоопределением в борьбе этих двух миров.

Под видом «новостей» в фельетоне пародируются типичные газетные объявления:

Собачка у старухи Хвастуновой
Пропала, а у скряги Сурмина
Бежала гувернантка — ищет новой.
О том и о другом извещена
Столица чрез известную газету;
Явилось тотчас разных свойств и лет
Тьма гувернанток, а собаки нет.

(I, 91)

Это сопоставление в газетных объявлениях людей и животных как равноценных объектов спроса находит себе аналогию в незаконченной повести «Сургучов», над которой Некрасов работал, по мнению комментатора этой повести (6, 566), в 1844—1847 годах,— значит, может быть, одновременно с работой над «Новостями»:

«Продается пара отличных шведок за сходную цену; благородная девица из иностранок желает иметь место при детях или компаньонки; продается мерин сивой масти четырех лет; отпускается в услужение дворовый человек, видный собою; пропал лягавый кобель и пр.» (6, 322).

В последней цитате очевидна прямая направленность против крепостного права, гораздо более явная, чем в аналогичном месте у Гоголя: «...Отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачешном деле, годная и для других работ; прочные дрожки без одной рессоры; молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду...» («Нос»).[1]

У Гоголя сопоставление людей, животных и вещей в одной и той же функции комически гротескно.

В тексте «Новостей» антикрепостническая направленность завуалирована, она непрямая; ее можно формулировать в этом случае так: в самой аналогии между сбежавшим (хотя бы и не крепостным) человеком и пропавшей собакой явно сказывается крепост-

---

[1] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М., 1938, т. 3, с. 59.

ническое мышление во всем его безобразии. Сопоставление дается от автора, и автор тем самым представляет как бы самого себя плотью от плоти того мира, который он описывает. Но очевидна здесь ирония. Маска «соучастника» прозрачна, а временами и вовсе снимается. Иногда автор дает своим персонажам не иронические, а прямо оценивающие эпитеты («обжора», «пустейший франт»).

В «Новостях» еще ярче и контрастнее, чем в стихотворениях «Чиновник» и «Стишки! стишки!..», от иронического фельетонного тона отделяется горький тон большой (в 23 стиха) тирады, прямо оценивающей безотрадную пустоту жизни, показанную в фельетоне. Эта тирада недаром не была пропущена цензурой. Приведу отрывок:

О, скучен день и долог вечер наш!
Однообразны месяцы и годы,
Обеды, карты, дребезжанье чаш,
Визиты, поздравленья и разводы —
Вот наша жизнь. Ее постылый шум
С привычным равнодушьем ухо внемлет,
И в действии пустом кипящий ум
Суров и сух, а сердце глухо дремлет;
И, свыкшись с положением таким,
Другого мы как будто не хотим...

(I, 89—90)

Любопытно, что начало этой тирады («Уныло мы проходим жизни путь») идет вслед за сообщением об очень долго длившемся в собрании маскараде и бале. Вспоминаются опять-таки слова Белинского из «Физиологии Петербурга»: «...все наши балы, собрания, гулянья и проч. отзываются какою-то педантскою скукою и так похожи на тяжелый, церемонный обряд» (VIII, 382).

Таким же тяжелым, унылым, сонным и пустым обрядом показан и поминальный обед (по обжоре, который «объелся и скончался») и литературный вечер, на котором прозаик усыпляет слушателей «с четвертой же страницы», а «восторженный поэт» льет рекой «гремучие стихи».

Если в «Провинциальном подьячем» и «Говоруне» Некрасов стремится передать речевую манеру сановника, употребляя эллиптические обороты («Уходил всегда я в нанковых, Не то чтобы в трико» и т. п.) и вообще имитируя живую речь, не связанную правилами письменного слога, то в «Чиновнике» и «Новостях» Некра-

сов разрабатывает совершенно иную речевую манеру, имитирующую стиль прозаического фельетона с нарочитыми оборотами, характерными для «статейного» языка. Включение специфически прозаических оборотов в привычный пятистопный ямб дает особый комический эффект, подчеркивая имитативный характер стиховой речи:

...но все же не мешает
Порою и сознание грехов,
Затем что прегрешение отцов
Для их детей спасительно бывает.
Притом[1] для нас не стыдно и легко
В ошибках сознаваться...

(I, 88)

Нельзя не обратить внимание на чрезвычайное обилие вводных предложений, выделяемых скобками, тире и запятыми, причем зачастую выделяются еще вводные слова внутри вводного оборота, например:

Но (на жену, как водится) в Галерной
Купил давно пятиэтажный дом.

(I, 81)

«Книжный» характер стиля подчеркивается и постоянными обращениями к читателю типа: «Господа!», «Почтеннейшая публика!», «Читатель мой» и «прозаическими» переносами (enjambements) в стихе:

С тех дней, как стал пытливостью рассудка
Тревожно-беспокойного наш век
Задерживать развитие желудка,
Уже не тот и русский человек.

(I, 80—81)

Написанные одинаковым размером, стиховые фельетоны 1844—1845 годов — «Чиновник», «Стишки! стишки!..», «Новости» — характерны и единым, новым в творчестве Некрасова, речевым стилем. Но, сопоставляя эти три стихотворения, мы видим, что и «авторский» фельетон Некрасова, как и его предшественник — «сказовый» фельетон, становясь серьезнее и глубже, все более лишается юмористической окраски и веселого тона, который сменяется горьким, печальным, сумрачным.

---

[1] Курсив мой.— *Б. Б.*

7

Приведенный выше стих «И в действии пустом кипящий ум» (из стихотворения «Новости» — I, 89) — аллюзия на стихи из «Евгения Онегина» о современном человеке:

С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.[1]

(Гл. VII, строфа XXII)

Включение иронических цитат характерно для стихового фельетона Некрасова нового типа. Ср. там же, в «Новостях»:

Поговорив — нечаянно напьются,
Напившися — слезами обольются.

(I, 91)

Читатель вспоминает пушкинское:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.

Элегия («Безумных лет угасшее веселье...»)

Ирония, конечно, не над Пушкиным, а над пошлой жизнью с поэтическими прикрасами.

Об увлечении полькой в Петербурге говорится в таких словах:

Почто сия на лицах всех забота?
Почто сей шум, волнение умов?
От Невского до Козьего болота,
От Козьего болота до Песков,
От пестрой и роскошной Миллионной
До Выборгской унылой стороны —
Чем занят ум мужей неугомонно?
Чем души жен и дев потрясены??

(I, 93)

Эта тирада, пародирующая определенные стиховые формулы, должна, очевидно, восприниматься на фоне начальных стихов «Умирающего Тасса» Батюшкова, построенных как серия риторических вопросов, то уложенных в один стих, то развернутых на несколько стихов, с характерными ритмико-синтаксическими фигурами:

---

[1] Отмечено К. И. Чуковским (см.: Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. М., 1971, с. 46).

Какое торжество готовит древний Рим?
Куда текут народа шумны волны?
К чему сих аромат и мирры сладкий дым,
Душистых трав кругом кошницы полны?
До Капитолия от Тибровых валов,
Над стогнами всемирныя столицы,
К чему раскинуты средь лавров и цветов
Бесценные ковры и багряницы?
К чему сей шум? К чему тимпанов звук и гром?
Веселья он или победы вестник?
Почто с хоругвией течет в молитвы дом
Под митрою апостолов наместник? [1]

В сатирических стихотворениях Некрасова 1844—1845 годов (в особенности фельетонного типа) мы постоянно находим иронические реминисценции, например:

«Избранники небес», мы пели, пели...

(«Стишки! стишки!..» — I, 87)

Ср.:

Нет, если ты небес избранник...

(Пушкин. «Поэт и толпа»)

Злой управитель нос повесил,
«Мужик судьбу благословил!»

(«Письмо к доктору Пуфу» — I, 482)

К последнему стиху Некрасов сделал сноску: «Стих Пушкина из „Онегина“».

Дрожишь, как лист на ветве бедной,
Под башмаком своей жены...[2]

(«Отрадно видеть, что находит...» — I, 99).

Ср.:

Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.

(Пушкин. «Я пережил свои желанья...») [3]

---

[1] Батюшков К. Н. Полн. собр. стихотворений. М.— Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1964, с. 214.

[2] Так печатался 8-й стих 4-й строфы 2-й гл. в прижизненных изданиях «Евгения Онегина». Дефинитивный текст: «И раб судьбу благословил».

[3] Последнее сопоставление сделано Ю. Н. Тыняновым в статье «Стиховые формы Некрасова» (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 20).

Техника пародической цитаты, аллюзии, реминисценции вырабатывается к этому времени на основе длительного уже опыта работы пародиста.

Пародия появляется еще на пороге поэтической деятельности Некрасова. В год издания романтического сборника «Мечты и звуки» она уже используется для борьбы с романтизмом. В десятой книжке «Пантеона русского и всех европейских театров» за 1840 год Некрасов поместил пародию на романтическое стихотворение под заглавием «К ней!!!» (I, 343). Пародирование осуществляется сталкиванием романтических штампов с «прозой жизни». Таковы же в основном назначение и метод дальнейших пародий Некрасова 40-х годов. В них он борется с эпигонами романтизма, продолжающими и в эти годы заполнять страницы журналов продукцией, устарелой и в 30-е годы, несмотря на активное противодействие со стороны Белинского и всей прогрессивной литературы. Некрасов разоблачает абстрактно-возвышенное, условно-поэтическое, не «дельное», по терминологии Белинского. Он пользуется пародией и в своих рецензиях начала 40-х годов. Обличение «не дельности», заоблачности, пустоты содержания достигается «снижением», прозаизацией романтической ситуации, подстановкой «низменного», но подлинно жизненного содержания вместо тощей идеализации жизни.

Так, в рецензии 1843 года Некрасов приводит стихотворение поэта-декабриста И. К. (Карелина) и тут же пародирует его. Но любопытно, что ту же подстановку жизненного мотива Некрасов применяет, пародируя не только слабенькое стихотворение дилетанта, но и стихи Лермонтова. Некрасовское «И скучно, и грустно, и некого в карты надуть...» (I, 474) — комический перепев лермонтовского «И скучно, и грустно, и некому руку подать...»; «В один трактир они оба ходили прилежно...» (I, 493) — перепев стихотворения «Они любили друг друга так долго и нежно...». Первое стихотворение напечатано в 1844 году, второе — в 1847-м, в составе первых публикаций «Нового поэта». По манере «травестирования» (строго по оригиналу, с заменой деталей), по автоматически снижающим «прозаизмам», по близости манеры и замысла к первому стихотворению — представляется вероятным, что второе стихотво-

рение только опубликовано в 1847 году, а написано раньше.[1]

Сюда же примыкает стихотворение, напечатанное в 1846 году в составе повести «Как опасно предаваться честолюбивым снам»: «Клянусь звездою полуночной И генеральскою звездой...» (I, 489—490), «перепевающее» монолог лермонтовского Демона «Клянусь я первым днем творенья...».

Эти перепевы входили в круг развлекательных мелочей, которые в разнообразных жанрах поставлял тогда Некрасов читателям «Литературной газеты», где и было опубликовано первое стихотворение. Но при всем том несомненно, что в какой-то мере Некрасов борется с лермонтовской традицией,— очевидно, в той мере, в какой эта традиция была романтической. Насмешке подвергаются идеалистические и индивидуалистические мотивы поэзии Лермонтова.

Совершенно того же типа стихотворение Некрасова 1844 года «Послание к соседу» (I, 524) — перепев стихотворения Языкова «М. П. Погодину» — и стихотворение, напечатанное в январе 1845 года, «Карп Пантелеич и Степанида Кондратьевна» (I, 527—532) [2]— перепев «Наля и Дамаянти» Жуковского.

Таким образом, около 1844 года Некрасов создает целый цикл пародий-«травести» на крупных поэтов современности и недавнего прошлого.

Художественной зрелости Некрасов достигает в жанре пародии, как и в других жанрах, к 1845 году. Это сказывается в появлении пародий, уже не перепевающих отдельные стихотворения, но написанных в духе того или другого автора и разоблачающих его творческую манеру и художественную идеологию в целом или же пародирующих художественное направление, не задевая конкретных авторов. Пародирование романтических штампов мы отмечали в «Говоруне», «Новостях»; его можно было бы отметить и в других стихотворениях. Целиком посвящены пародированию

---

[1] «Есть основания думать,— пишет К. И. Чуковский,— что ее написание относится к 1844 г., когда Некрасов написал ряд пародий на стихотворения Лермонтова» (Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений. М.— Л., 1934, т. I, с. 638).

[2] Принадлежность последнего стихотворения Некрасову не бесспорна. В Полн. собр. стихотворений в 3-х томах. Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1967, оно помещено в разделе «Стихотворения, приписываемые Некрасову» (I, 527).

романтических штампов такие стихотворения, как «Есть край, где горит беззакатное солнце...» (I, 480—481), «Когда с тобой,— нет меры счастью...» (I, 496), «Поэзия бурь» (I, 496—497), «Месть горца» (I, 498). Все эти стихотворения напечатаны Некрасовым как вставки в прозаические тексты — в рассказ «Очерки литературной жизни» (1845), в роман «Три страны света» (1848—1849), в рассказ «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и К°» (1850). Вставлены они довольно случайно, вне прямой связи с прозаическим текстом; датировка их затруднительна, даты могут не совпадать с датами публикации романа и рассказов, скорее всего это ранее написанные стихотворения, искусственно включенные в текст прозы. Все они пародируют поэзию эпигонского романтизма.

Стихотворение «Есть край, где горит беззакатное солнце...» описывает Восток — край романтических злодейств,

Где волны морские окрашены кровью,
Усеяно трупами мрачное дно...

(I, 481)

«Кавказский» вариант ориентальной темы высмеян в стихотворении «Месть горца». Горец «грозно молвит: „крови! крови!“» и отрубает голову сопернику.

Романтическая аффектация любовного чувства, жажда грозных опасностей и романтических подвигов высмеиваются в стихотворении «Поэзия бурь».

Все эти пародии показывают, как упорно Некрасов борется с инерцией романтизма в поэзии.

Сделанное мною предположение о принадлежности Некрасову стихотворения «Ревность» (1845) (I, 534—535), ранее приписывавшегося И. И. Панаеву,[1] обогащает фонд пародий Некрасова середины 40-х годов замечательным произведением, направленным против Бенедиктова — яркого представителя эпигонского романтизма конца 30-х — начала 40-х годов, кумира, уже свергнутого Белинским, но еще не утратившего обаяния в глазах большинства своих читателей. В пародии обращает внимание тонкая имитация наигранной романтической патетики Бенедиктова, его характерных

---

[1] См. мою статью «Некрасов в стихах Нового поэта» в кн.: Бухштаб Б. Я. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966, с. 84—90.

интонаций, неологизмов, метафор. Пародия имеет в виду стихотворение Бенедиктова «Тост» и тесно связана с отзывом Белинского об этом произведении; очевидно, от этого отзыва пародист исходил в своем стихотворении.[1]

Стихотворение Некрасова «Те кудри черные... когда б отрезать их...» (I, 492—493) — тоже пародия на Бенедиктова, а именно на его стихотворение «Три искушения». Эта пародия, написанная в 1846 году, прежде приписывалась Тургеневу.[2] Она слабее «Ревности», ближе к пародируемому стихотворению Бенедиктова, выполнена более обычным способом прозаизации романтических штампов. Нелепость гиперболы Бенедиктова:

Те кудри... целый мир в них мог бы утонуть.
Когда б они с главы упали вдруг разлиты
И бурей взвеяны...—

Некрасов подчеркивает предложением заключить отрезанные кудри в перину —

И, взбив перину ту в длину и ширину,
Чрез степи жаркие, чрез влажную волну,
Чрез горы и леса, постлать ее по миру,—
Все человечество могло б на них заснуть,
В душистом их пуху блаженно утонуть

и т. д.

8

Значительным произведением Некрасова в жанре пародии является стихотворение 1845 года «Послание к другу (Из-за границы)» (I, 483) — замечательное по актуальности замысла и точности его выполнения, по едкости критики и мастерству художественной имитации.

Стихотворение Некрасова высмеивает идеологию, тематику и стиль поэзии Языкова, в те годы признанного поэта славянофильства. 1845 год был годом особенно острой борьбы между демократическим лагерем и славянофилами.

---

[1] Подробнее об этом см.: там же, с. 89—90.

[2] См.: Богдан В. Э. Белинский, Некрасов и Панаев в борьбе с Краевским.— «Некрасовский сборник». II. М.— Л., 1956, с. 418, 421. Текст пародии см.: Тургенев И. С. Сочинения. Л.— М., 1933, т. 12, с. 65—66.

В этом году Белинский написал четыре статьи, в которых последовательно и резко критиковал учение и литературную деятельность славянофилов: «Русская литература в 1844 году», «Иван Андреевич Крылов», «Петербург и Москва», «Тарантас. Путевые впечатления. Сочинение графа В. А. Соллогуба». В этих статьях Белинский обличал поклонение славянофилов прошедшему, стремление видеть народное только в отжившем, мечты реакционных фантазеров о реставрации того, что давно рухнуло. Белинский едко выявлял барский, помещичий характер славянофильских затей. Он метко бил по славянофилам, утверждая, что у них нет ничего общего с народностью, поборниками которой они себя выставляют, что под народность они подделываются, кривляясь и фальшивя.

Говоря об идеологии славянофилов в связи с их литературными произведениями, Белинский уделяет особое внимание признанным поэтам славянофилов: Языкову и, в меньшей степени, Хомякову, вскрывая в их поэзии риторику и подделку под народность. «...Как ему во что бы ни стало надо быть народным,— пишет Белинский о Языкове,— и как поэзия для него есть только маскарад, то, являясь в печати, он старается закрыть свой фрак зипуном, поглаживает свою накладную бороду и, чтоб ни в чем не отстать от народа, так и щеголяет в своих стихах и грубостию чувств и выражений. По его мнению, это значит быть *народным*! Хороша народность!» (VIII, 457)

Славянофилы в свою очередь набросились в это время на всех своих идейных противников: как на Белинского и Герцена, так и на либеральных западников Грановского и Чаадаева. Скандальную известность своим доносительским характером заслужили стихотворные памфлеты Языкова «Константину Аксакову», «К не нашим», «К Чаадаеву».

Языков, поэт некогда близкий по темам и настроениям декабристскому кругу, уже в 30-е годы тесно сближается с будущими деятелями славянофильства, а в 40-е годы становится присяжным поэтом славянофильства, занимая место среди правых славянофилов, смыкающихся с прямыми идеологами николаевской монархии Погодиным и Шевыревым.

Наскок Языкова и парировал Некрасов в своем «Послании к другу (Из-за границы)».

Это была не первая пародия Некрасова на Языко-

ва,— ей предшествовала другая. Еще летом 1844 года, то есть задолго до появления реакционных памфлетов Языкова и статьи Белинского «Русская литература в 1844 году», в которой репутации Языкова был нанесен решительный удар, Некрасов перепечатал в «Литературной газете» (№ 28, от 20 июля) стихотворение Языкова «М. П. Погодину» и тут же поместил свою пародию на него под заглавием «Послание к соседу» (I, 524). Пародия напечатана анонимно.

Эта пародия не представляет большого интереса. Это комический перепев, высмеивающий именно данное, конкретное стихотворение Языкова.

Несравненно значительнее вторая, написанная через полгода, пародия на Языкова «Послание к другу (Из-за границы)». Это стихотворение было помещено в «Литературной газете» (1845, № 5) за подписью «Н. Стукотнин».

«Послание к другу» может быть датировано достаточно точно — январем 1845 года.

6 декабря 1844 года было написано стихотворение Языкова «К не нашим».

17 декабря 1844 года Герцен записывает в дневнике:

«Языков написал какие-то ругательные стихи на Чаадаева, Грановского и Герцена! ⟨...⟩

Я не читал это произведение славянофильских наущений Хомякова и оскорбленного самолюбия поэта, некогда нравившегося, теперь выжившего из ума, отсталого ⟨...⟩. Признаюсь, мне хотелось бы прочесть для того, чтоб убедиться еще в одной черте этой котерии; я почти уверен, что тут есть невольный доносец».[1]

25 декабря (согласно датировке большинства известных списков) написан памфлет Языкова «К Чаадаеву».

30 декабря Герцен пишет в дневнике:

«Языков написал еще два стихотворения: одно против нас же, другое против Чаадаева, более оскорбительное и подлое, нежели первое...»[2]

Герцен несомненно имеет в виду послания Языкова к Чаадаеву и к Константину Аксакову (дата последнего неизвестна).

Раздобыв какие-то тексты, Герцен послал их Белинскому. 26 января 1845 года Белинский пишет Герцену:

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1954, т. 2, с. 396—397.
[2] Там же, с. 399.

«Спасибо тебе за стихи Языкова. Жаль, что ты не вполне их прислал. Пришли и пасквиль. Калайдович, доставитель этого письма 〈...〉 покажет вам пародию Некрасова на Яз〈ыкова〉. Во 1-х, распространите ее, а во 2-х, пошлите для напечатания в «Москвитянин». Теперь Некр〈асов〉 добирается до Хомякова» (XII, 250).

Из письма Белинского видно, что Герцен прислал не все полемические стихи Языкова. Что из них было известно Некрасову к моменту написания его пародии, можно определить как по ней самой, так и по написанной одновременно с ней статье Белинского «Иван Андреевич Крылов» [1]

Когда Белинский писал свой обзор «Русская литература в 1844 году», в котором был нанесен такой сокрушительный удар славе Языкова, он, скорее всего, не знал еще о памфлетах Языкова.[2] Во всяком случае, он не имел еще в руках текстов; это следует из приведенных выше цитат и подтверждается отсутствием каких бы то ни было намеков на памфлеты в обзоре.

Но в напечатанной в следующем номере «Отечественных записок» статье «Иван Андреевич Крылов» имеются очевидные намеки на один из памфлетов Языкова. Вот что пишет здесь Белинский о славянофилах — «рыцарях народности»:

«Они тщательно прячут свой фрак под смурый кафтан и, поглаживая накладную бороду, взапуски друг перед другом копируют язык гостинодворцев, лавочных сидельцев и деревенских мужиков. «О, волны балтийские! — восклицает один из них.— *Важно* и *почтенно* уважили вы меня, примчавши из *немецкой нехристи* к православным берегам пароход с моим другом!» Другой восклицает к своему приятелю (называя его, ради народного эффекта, *однокашником* и *однокорытником*): «Молодец ты, братец ты мой, дока и удалец! Бойко и почтенно пьешь ты пенную влагу за Русь и за наше молодое буйство, ясно и восторженно бурлит в тебе бурсацкая кровь разымчивою, пьяною любовью к родине; мил ты мне, дока и буян вдохновенный!» Третий идет дальше: отуманенный пенным вдохновением, он прокли-

---

[1] 2-й номер «Отеч. зап.», в котором помещена статья Белинского, и 5-й номер «Лит. газеты», в котором напечатана пародия Некрасова, разрешены цензурой в последних числах января 1845 г.

[2] Обзор помещен в январском номере «Отеч. зап.» за 1845 г., разрешенном цензурой 31 декабря 1844 г.

нает науку, изрыгает пьяные хулы на просвещение,— и все это во имя народности, не подозревая, в простоте ума и сердца своего, что это совсем не народность, а площадная простонародность, тем более возмутительная, что она накидная, притворная, следовательно, лишенная той наивности, которая красит даже и глупость и пошлость, делая их смешными» (VIII, 566).

Комментаторы статьи в собраниях сочинений Белинского основательно указывают, что здесь речь все время идет о Языкове. Особое внимание, уделяемое Языкову, видимо, маскируется перечнем будто бы нескольких «рыцарей народности». Приведем соображения В. С. Спиридонова:

«Первый „рыцарь народности" — Н. М. Языков, который в стихотворении „Песня балтийским водам" восклицал:

...Балтийские воды...
В те страшные дни роковой непогоды
Почтенно уважили вы
Елагиных: вы их на невские воды
Примчали...

И в стихотворении «Н. В. Гоголю»:

Благословляю твой возврат
Из этой нехристи немецкой
На Русь...

Из этих стихов Белинский и составил свою фразу, направленную против Н. М. Языкова.

Речь второго «рыцаря народности» в значительной своей части скомбинирована Белинским из слов, взятых из послания Пушкина «К Яз.***» («удалец», «молодое буйство» и «разымчивою, пьяною») и из послания Н. М. Языкова к К. С. Аксакову, конец которого направлен против А. И. Герцена. Приводим здесь ту часть послания, из которой заимствованы эти слова:

Ты молодец! В тебе прекрасно
Кипит, бурлит младая кровь,
В тебе возвышенно и ясно
Святая к родине любовь
Пылает. Бойко и почтенно
За Русь и наших ты стоишь;
Об ней поешь ты вдохновенно,
Об ней ты страстно говоришь.
Судьбы великой, жизни славной
. . . .
Ты ей желаешь. Мил мне ты.

Эти словесные совпадения речи с названными посланиями явно не случайны. Они дают основание думать, что и в лице второго «рыцаря народности» Белинский высмеял Н. М. Языкова.

Предполагаем, что и под третьим «рыцарем народности» Белинский подразумевал того же Н. М. Языкова. Это было ответом на стихотворение последнего «К не нашим», направленное против западников, которое он написал и пустил по рукам в декабре 1844 года».

Анализ В. С. Спиридонова представляется нам убедительным. Только в третьем случае можно и не привлекать «К не нашим»; хулы на просвещение не меньше и в послании К. С. Аксакову. Белинский явно оперирует посланием Аксакову, следов знакомства с другими памфлетами нет. То же в пародии Некрасова, в основу которой легло послание Языкова к Аксакову, и притом именно в том освещении, которое дано этому посланию в сатирической перефразировке Белинского: (см.: XIII, с. 417).[1]

В обзоре «Русская литература в 1844 году» Белинский наглядно вскрыл несоответствие между претензиями Языкова на звание патриотического поэта, глубоко постигшего дух русского народа и смысл его исторических судеб, и реальной поэтической продукцией Языкова, посвященной, в основном, воспеванию пьяного разгульного веселья. Правда, отмечает Белинский, «рассказывая в удалых стихотворениях более всего о своих попойках, г. Языков нередко рассуждал в них и о том, что пора уже ему охмелиться и приняться за дело. Это благое намерение, или, лучше, эта охота говорить в стихах об этом благом намерении, сделалась новым источником для его вдохновения, обратилась у него в истинную манию и от частого повторения превратилась в общее риторическое место. Обещания эти продолжаются до сих пор; все давно знают, что наш поэт давно уже охмелился; публика узнала даже

---

[1] К. И. Чуковский видит отклик на название «К не нашим» в стихах:

Будет *наш* и непременно
Будет пьяница лихой.
(1, 607)

Но слово «наш» есть и в послании К. С. Аксакову:

...Бойко и почтенно
За Русь и *наших* ты стоишь.

(из его же стихов), что он давно уже не может ничего пить, кроме рейнвейна и малаги; но дела до сих пор от него не видно» (VIII, 459).

В глазах Белинского все славянофильство так же несерьезно, претенциозно и бесплодно, так же неспособно произвести ничего, кроме пьяной похвальбы и пьяной хулы. Недаром, говоря дальше о «третьем рыцаре народности», он подчеркивает: «...отуманенный пенным вдохновением, он ⟨...⟩ изрыгает пьяные хулы на просвещение» (VIII, 566). В этом плане пародируют Языкова и Белинский и Некрасов. Ср.:

Языков	Белинский	Некрасов
...В тебе прекрасно Кипит, бурлит младая кровь, В тебе возвышенно и ясно Святая к родине любовь Пылает. Бойко и почтенно За Русь и наших ты стоишь; Об ней поешь ты вдохновенно, Об ней ты страстно говоришь.[1]	Ясно и восторженно бурлит в тебе бурсацкая кровь размычивою, пьяною любовью к родине. ...Бойко и почтенно пьешь ты пенную влагу за Русь и за наше молодое буйство. *(VIII, 566)*	...Бурлит прекрасно В жилах девственника В них восторженно и ясно К милой родине любовь Пышет. Бойко и почтенно За нее ты прям стоишь... С ног от штофа влаги пенной, Влаги русской — не слетишь. *(I, 483—484)*

Языковскому «возвышенно» и у Белинского, и у Некрасова соответствует «восторженно». Совпадают у Некрасова и у Белинского слова «дока», «пенная влага», которых в стихотворениях Языкова, сколько мне известно, нет. Видимо, либо Некрасов отправлялся от пародии Белинского, либо Белинский использовал, помимо стихов Языкова и Пушкина, и пародию Некрасова.

Интересны в приведенном тексте Некрасова прямые намеки. Слово «девственник» есть у Языкова в схожих контекстах:

Я знаю: это он, младый и чернобровый,
Прекрасный девственник, надменный и суровый.

«Элегия» («Ты восхитительна! Ты пышно расцветаешь...»— с. 277)

---

[1] Языков Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.— Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1964, с. 396. Ссылки на страницы в тексте — по этому изданию.

Пусть девственник ее полюбит молодой,
Цветущий здравием, и силой, и красой.

(«Пожар» — с. 304)

Но, конечно, здесь это намек на девственность К. Аксакова, которую он строго блюл из религиозно-нравственных побуждений. Мы теперь знаем об этом из мемуаров, Некрасов в 1845 году мог знать такие интимные факты, вероятно, только из рассказов Белинского.

Непосредственно к адресату послания Языкова относится и слово «прям» («За нее ты прям стоишь...»).[1] Славянофилы прославляли необычайную прямоту Константина Аксакова, отказывавшегося даже от общепринятых форм общения, если они представлялись ему неискренними. Но Некрасов каламбурно свел это свойство к основному достоинству героя своей пародии — стойкости во хмелю: герой прям и после штофа водки.

На этот раз Некрасов отнюдь не ограничился пародированием одного стихотворения Языкова; «Послание к другу» пародирует ряд стихотворений, приведенных, если можно тут так выразиться, к одному знаменателю.

Так, стихотворение Языкова «Д. В. Давыдову» начинается следующей строфой:

Жизни баловень счастливый,
Два венка ты заслужил;
Знать, Суворов справедливо
Грудь тебе перекрестил.

Не ошибся он в дитяти:
Вырос ты — и полетел,
Полон всякой благодати,
Под знамена русской рати,
Горд, и радостен, и смел.

(с. 337)

Некрасов использовал вторую половину этой строфы, заменив предчувствие Суворова исполнившимся предсказанием о славянофиле:

Мил мне ты!.. Недаром смлада
Я говаривал шутя:
«Матерь! вот твоя отрада!
Пестуй бережно дитя.

---

[1] Ср. и дальше: «Своебытно горд и прям».

Будет Руси сын почтенный,
Будет дока и герой,
Будет наш — и непременно
Будет пьяница лихой!»
Не ошибся я в дитяти,
Вырос ты удал и пьян
И летишь навстречу братий
Горд, и радостен, и пьян!

(I, 483)

Такой же перелицовке подвергнуто стихотворное послание Языкова Н. В. Гоголю. В нем Языков шутливо говорит об удовольствии глядеть на немцев, спотыкающихся на льду. Удовольствие, очевидно, доставляет сравнение русской силы и ловкости со слабостью и неуклюжестью «жидконогих» иноземцев. Обличая пошлость славянофильского хвастовства, Некрасов вместо гордости русским здоровьем подставляет гордость способностью много выпить, не поддаваясь хмелю. Русский и немец пьют ровно, а результаты совсем разные.

Приведу соответствующие места.

У Языкова:

Отрады нет. Одна отрада,
Когда перед моим окном
Площадку гладким хрусталем
Оледенит година хлада;
Отрада мне тогда глядеть,
Как немец скользкою дорогой
Идет, с подскоком, жидконогий,—
И бац да бац на гололедь!
Красноречивая картина
Для русских глаз! Люблю ее!

(с. 375)

У Некрасова:

Ровно пьем; цветущ и весел,
Горделиво я сижу...
Он... глядишь — и нос повесил!
Взором радостным слежу,
Как с подскоком жидконогий
Немец мой — сутул, поджар —
Выйдет храбро, а дорогой
Бац да бац на тротуар...
Драгоценная картина
Сердцу русскому! Она
Возвышает славянина
Силу скромную...
Вина!

(I, 485)

Некрасов использует и начало стихотворения Языкова «Девятое мая». Рассказывая о праздновании своих именин в прежние годы в Дерпте, Языков рисует картину удалого пира, в котором беспечное юное веселье венчает цветущее дарование молодого поэта:

То ли дело, как, бывало,
В Дерпте шумно, разудало
Отправлял я этот день!
Русских нас там было много,
Жили мы тогда не строго,
Собрались мы в сад под тень,
На лугу кружком сидели:
Уж мы пили, уж мы пели!
В удовольствии хмельном
Сам стихи мои читал я,
И читанье запивал я
Сокрушительным питьем;
И друзья меня ласкали:
Мне они рукоплескали,
И за здравие мое
Чаши чокалися звонко,
Чаши, налитые жженкой,—
Бесподобное житье!

(с. 349—350)

Вот что делает из этого Некрасов:

То ли дело, как, бывало,
Други, в нянином дому
Бесподобно, разудало
Заварим мы кутерьму!..
Чаши весело звенели,
Гром и треск; все кверху дном!
Уж мы пили! Уж мы пели!..
В удовольствии хмельном
Вам стихи мои читал я...
Сотый чествуя бокал,
Им читанье запивал я
И, запивши, вновь читал.
Благосклонно вы внимали...
Было чудное житье:
Други мне рукоплескали,
Пили здравие мое!

(I, 484—485)

Некрасов привносит одну деталь: бокал, которым поэт запивает чтение стихов,— сотый. Весенний пир, овеянный радостной поэзией, превращен просто в «сокрушительное» пьянство: читатель может вообразить себе, что представляло собой чтение стихов и какова могла быть их оценка перед сотым бокалом и после него.

Слова «в нянином дому» несомненно ведут к стихотворениям Языкова «К няне А. С. Пушкина» и «На смерть няни А. С. Пушкина». Вообще все стихотворение Некрасова пронизано реминисценциями различных стихотворений Языкова, в виде строчки, фразы, характерного слова. Вот для примера несколько мест из «Послания к другу»:

Полюбил ты достославно
Нас развившее питье.

(I, 483)

Это аллюзия на стихотворение Языкова «Малага»:

Сверкало золотом, кипело пеной белой
Нас развивавшее питье...

(с. 357)

У Языкова, с его стремлением к неологизмам и редким значениям, слово «развивавшее» употреблено не в обычном значении, а в смысле — «развязывавшее». Но Некрасов, как бы опираясь на свидетельство самого поэта, утверждает, что «питье» было основой умственного развития славянофилов.

Далее:

И за то, что Русь ты нашу
Любишь,— речь к тебе держу,
И стихом тебя уважу,
И приязнью награжу.

(I, 484)

Слово «уважу» Некрасов и Белинский воспринимали как особенно характерное для псевдонародного стиля. Перепечатав в «Литературной газете» стихотворение Языкова «М. П. Погодину», Некрасов подчеркивает слово «уважил» в стихе «С тех пор, как ты меня уважил», издевается над ним в своем кратком послесловии к стихотворению («Г. Погодин уважил г. Языкова, г. Языков с своей стороны уважил г. Погодина, а г. Погодин уважает вас») и включил его в свою пародию («Отменно ты меня уважил»). То же стихотворение выписал впоследствии в своем обзоре Белинский и также подчеркнул слово «уважил», а затем, как мы видели, ввел это слово в свою пародию на «рыцарей народности», перефразируя «Песню балтийским водам» Языкова.

Третий пример:

Не лукавствуя и пылко
Уважай родимый край:
Гордо мужествуй с бутылкой —
Ни на пядь не уступай.

(I, 484)

«Гордо мужествуй с бутылкой» — очевидно, аллюзия на строку из стихотворения «А. Н. Вульфу»:

И с лирой мужествовал я!

(с. 257)

Ср. также в известном стихотворении «Пловец»:

Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней.

(с. 281)

Далее:

Но увы мне, о друзья!
Не состукиваюсь чашей
Дружелюбно с вами я —
И не пьется... Дух убитый
Достохвальной грустью сжат,
И, как конь звучнокопытый,
Все мечты туда летят...

(I, 485—486)

Здесь все полно реминисценций. «Конь звучнокопытый» — из стихотворения «Д. В. Давыдову»:

И на финские граниты
Твой скакун звучнокопытый
Блеск и топот возносил.

(с. 338)

«Не состукиваюсь чашей» — из стихотворения «Пожар»:

Высоко над столом состукивались чаши.

(с. 303)

Белинский писал в своем обзоре по поводу этого стиха: «...глагол *состукивались* как-то отзывается изысканностию» (VIII, 457).

«Но увы мне» — из стихотворения «Девятое мая». Слово «достохвальный» — из стихотворения «К Вульфу, Тютчеву и Шепелеву»:

Так мы готовимся, о други,
На достохвальные заслуги
Великой родине своей!

(с. 217)

Эти три стиха взяты эпиграфом к пародии Некрасова. Языков говорит о серьезных занятиях историей как о подготовке к будущей большой деятельности,— Некрасов подготовку славянофилов к «достохвальным заслугам» перед родиной как бы сводит к одному лишь «развивающему» питью.

Некрасов полностью использовал несоответствие между строгими морально-религиозными требованиями славянофилов к поэзии и «разгульными» стихами Языкова, которые славянофилы волей-неволей вынуждены были поднять на щит как стихи единственного крупного поэта-славянофила.

В конце 1844 года, когда Языков писал свои памфлеты, он жил в Москве, но Некрасов придает своей пародии вид послания из-за границы. Приветствия друзьям из чужих краев с обещанием вскоре вернуться на родину — столь же частая тема у Языкова, как и отмеченное Белинским обещание перестать воспевать пирушки и начать большой поэтический труд.

Типичен отрывок из послания «Н. В. Гоголю»:

Но ведь томление мое
Пройдет же — и меня чужбина
Отпустит на святую Русь!
О! я, как плаватель, спасенный
От бурь и бездны треволненной,
Счастлив и радостен явлюсь
В Москву, что в пристань. Дай мне руку!
Пора мне дома отдохнуть...

(с. 375—376)

Или конец послания «А. А. Елагину»:

...Я почти готов,
Я рад сердечно, я чужбину,
Мою тоску легко покину
И прямо с майнцских берегов
В Москву. Вы ждете — еду, еду,
Скачу, лечу, и вот как раз
Я к вам, сажуся подле вас,—
И наливай сосед соседу.

(с. 372)

Соответственно кончается пародия Некрасова:

Что ж? туда!.. Я скор на дело!
Под родные небеса
Вольно, радостно и смело
Я направлю паруса,—
Мигом к вам явлюсь на сходку!
Припасайте ж старику
Переславльскую селедку
И полштофа травнику!..

(I, 486)

Здесь нет прямых текстовых совпадений. Сочиняя в духе Языкова, Некрасов особенно стремится демонстрировать псевдонародность, которую усматривал в стихах Языкова Белинский.

Вообще стиль Языкова Некрасов пародирует исходя из того понимания его, которое сформулировано в обзоре Белинского: «...реторизм есть главная основа всей поэзии г. Языкова» (VIII, 454); «Стихи г. Языкова очень слабы со стороны точности выражения» (VIII, 455); «У г. Языкова нет ни одного стихотворения, в котором не было бы хотя одного слова, некстати поставленного или изысканного и фигурного» (VIII, 457).

Некрасов сочиняет по образцу языковских сложные прилагательные («почетно-грустен»), придумывает нарочитые неологизмы («воеватель», «своебытно») и т. п. В этом отношении интереснее не те части стихотворения Некрасова, где пародируются определенные места из языковских стихотворений, а те, которые сочинены в духе Языкова. Здесь имитация языковской лексики, эпитетов, синтаксиса гуще и смелее, например:

Пью... величественно-живо
В торжествующий стакан
Одуряющее диво
Ущедренных [1] небом стран
Льется. Лакомствуя мирно,
Наслаждаюсь не спеша...
Но восторженностью пирной
Не бурлит моя душа.

(I, 484)

Мы видим, что Некрасов ответил на выступление Языкова быстро, в то время когда ему было известно только одно стихотворение из памфлетного цикла

---

[1] Ср. у Языкова: «улелеянный тобой» («Ночь» — с. 246).

Языкова (по крайней мере следов знакомства с другими памфлетами здесь нет). Пародия обнаруживает тончайшее знание Некрасовым поэзии Языкова, понимание ее слабых сторон, редкое мастерство сатирической имитации. В то же время направление этой имитации теснейшим образом связано с критическими оценками Белинского.

Заслуживает внимания, что самый псевдоним «Н. Стукотнин», которым Некрасов подписал свою пародию в «Литературной газете», идет все от той же статьи Белинского «Русская литература в 1844 году». Белинский говорит здесь о «трескучей стукотне» стихов — правда, не Языкова, а Хомякова (VIII, 471),— но эта характеристика выражает взгляд Белинского на стихи обоих поэтов.

Пародия Некрасова лишний раз показывает, как тесен был контакт между Некрасовым и Белинским, как связывалась и переплеталась литературная деятельность провозвестника революционно-демократической литературы и начинающего свой творческий путь поэта.

9

Перепевом Лермонтова является и замечательное стихотворение 1845 года «Колыбельная песня (Подражание Лермонтову)». Некрасов использует здесь опыт своих пародийных перелицовок. Но направленности против лермонтовских тем и настроений здесь уже нет; использованное Некрасовым стихотворение не принадлежит к романтическим стихотворениям поэта, вызывавшим Некрасова на отпор. «Казачья колыбельная песня» использована ради эффекта резкого комического несовпадения задушевного тона лермонтовского стихотворения с сатирическим содержанием некрасовского перепева.

«Колыбельная песня» посвящена основному герою некрасовской сатиры начального периода — чиновнику; но от всех предыдущих разработок этой темы она отличается сатирической резкостью, силой непосредственной оценки, обобщенностью объекта нападения и широтой политической идеи.

Каждая строфа «Колыбельной песни» Некрасова соответствует той же по порядку строфе «Казачьей колыбельной песни» Лермонтова. Соответствие это —

разной степени в разных строфах. Первая строфа повторяет начало лермонтовского стихотворения почти дословно. Ср.:

Лермонтов	Некрасов
Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки-баю. Тихо смотрит месяц ясный В колыбель твою. Стану сказывать я сказки, Песенку спою; Ты ж дремли, закрывши глазки, Баюшки-баю.[1]	Спи, пострел, пока безвредный, Баюшки-баю. Тускло смотрит месяц медный В колыбель твою. Стану сказывать не сказки — Правду пропою; Ты ж дремли, закрывши глазки, Баюшки-баю. (I, 99—100)

В следующих строфах совпадения не так обширны, но все же они имеются в каждой строфе (помимо сохраненного лермонтовского рефрена); частично Некрасов ведет и дальше свою тему путем повторения лермонтовского текста с подстановкой отдельных заменяющих слов:

Богатырь ты будешь с виду И казак душой. Провожать тебя я выйду — Ты махнешь рукой.	Будешь ты чиновник с виду И подлец душой, Провожать тебя я выйду — И махну рукой! (I, 100)

Фаддей Булгарин, протестуя против действий цензора А. Л. Крылова, инкриминировал ему в особенности разрешение «Колыбельной песни» Некрасова, «которую мать якобы поет при колыбели младенца:

Спи, подлец, покуда честный... и проч.

Не нарушение ли это всех священных чувств, не насмешка ли над природой и человечеством?» [2]

Негодование Булгарина по поводу оскорбления материнских чувств, конечно, поддельное: слишком ясно, что «мать» просто перенесена из лермонтовского стихотворения как один из опорных пунктов перепева; оценки, вложенные в ее уста, не могут восприниматься иначе как оценки самого автора, лишь формально приписанные «матери» в связи с перепевным характером стихотворения.

---

[1] Лермонтов М. Ю. Избр. произв. в двух томах. М.— Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1964, т. 2, с. 45.

[2] «Голос минувшего», 1913, № 4, с. 225—226.

Скованный формой перепева, Некрасов может дать лишь схематический образ чиновника. С этой формой явно несовместима сколько-нибудь конкретная психологическая разработка характера. Но таково задание стихотворения: дать образ схематический, предельно обобщенный.

В «Чиновнике» Некрасов дал бытовое изображение чиновника, физиологический очерк типа. В «Колыбельной песне» выдвинуты лишь основные, резко отрицательные, клеймящие черты: герой-чиновник — вор («Спи, покуда красть не можешь»), подхалим («Тих и кроток, как овечка... До хорошего местечка Доползешь ужом»), лицемер («Скажешь: „я благонамерен, За добро стою!“»), тупица («крепонек лбом»). Он прямо назван плутом и подлецом. Точнее, плутом назван отец героя, но отец и сын здесь один и тот же образ, поскольку речь явно идет о типе. Схематичность типа усилена тем, что судьба героя проецирована в будущее: о каком индивиде может идти речь, когда герой пока, грудной младенец? Тут могут быть даны только общие признаки типа.

Сатирическое нападение Некрасова на чиновничество усилено тем, что на этот раз речь идет уже не о коллежском асессоре или еще более мелком чине. Герой — крупный чиновник, в будущем, разумеется, когда он пройдет все ступени бюрократической лестницы («Схватишь крупный чин», «станешь барин важный»); отец, образ которого, как сказано, сливается с образом сына в единый тип,— тоже крупный чиновник, поскольку весть о том, что он «под суд попался», вызывает по всей губернии «всем отрадный клик». Суд, под который попал «плут известный», дан отнюдь не в плане традиционной карающей десницы государственной власти. Мать не беспокоит «явных тьма улик»; отец «знает роль свою» и выпутается, потому что и судьи, очевидно, «плуты известные», а круговая порука грабителей нерушима. Герою стихотворения — будущему вору — также заранее обеспечена полная безнаказанность («твой путь грядущий верен») на всем протяжении его жизни, прослеженной вплоть до «мирной, ясной» кончины.

Стихотворение направлено не против того или иного слоя чиновничества, не против той или иной бытовой разновидности его, но против всей корпора-

ции, против николаевской бюрократии вообще. Неудивителен тот переполох, который появление стихотворения вызвало в III Отделении и в цензурном ведомстве.[1]

10

Доведя сатиру на чиновника до предела обобщения и политической заостренности, Некрасов оставляет эту тему — основную тему его сатиры в начальный период (1840—1845). Сперва чиновник фигурировал в качестве комического, водевильного персонажа, потом как персонаж «физиологического очерка», описанный юмористически, но уже с сильной примесью социальной сатиры, наконец в острой и резкой сатире, вскрывающей нравственное разложение угнетавшей страну бюрократии.[2] После 1845 года чиновник почти исчезает из некрасовской сатиры. Он появляется вновь с конца 50-х годов — уже не в виде мелкого петербургского чиновника или обобщенного образа, но в конкретных зарисовках высоких столичных чиновников и даже сановников. Мы встречаемся с ними в стихотворениях и поэмах «Размышления у парадного подъезда» (очевидно, министр), «Газетная» (цензор), «Медвежья охота» (либеральный действительный статский советник), «Суд» (прокурор), «Современники» («юбиляр-администратор», первоприсутствующий в сенате, сановник из министерства финансов и др.).

В сатире же второй половины 40-х годов чиновник сменяется другими персонажами. Чиновник был непосредственным агентом, наиболее заметным орудием деспотизма; но, разоблачив чиновника, сатира Некрасова устремляется к другим виновникам насилия и зла.

Нарождающаяся «натуральная школа» начинает фиксировать внимание на контрастах роскоши и нищеты, появляются типы «бедных людей», жителей «петербургских углов», и типы беспощадных и бесстыдных эксплуататоров. Белинский говорит в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» о «натуральной школе»: «Сперва нападали на нее за ее будто бы постоянные

---

[1] См.: об этом: Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. М.— Л., 1950, т. 2, с. 38.

[2] Характерны отзывы Белинского о чиновничестве: «подлейшее в России сословие», «все глупое и подлое есть чиновническое» (XII, 229, 231).

нападки на чиновников. В ее изображениях быта этого сословия одни искренно, другие умышленно видели злонамеренные карикатуры. С некоторого времени эти обвинения замолкли. Теперь обвиняют писателей натуральной школы за то, что они любят изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков, дворников, извощиков, описывают углы, убежища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности» (X, 296).

Некрасов раньше других осуществил эти тенденции — и в «Тихоне Тростникове», где показана жизнь обитателей «петербургских углов», и в рассмотренных выше стиховых набросках о судьбе интеллигентного бедняка. Рано заинтересовал Некрасова образ ростовщика. Ростовщик — герой его рассказов 1841 года «Ростовщик» и «Капитан Кук»; но первый рассказ — в мелодраматическом жанре, второй — в комическом; реалистических черт нет ни в том, ни в другом.

В 1844 году Некрасов написал свой последний водевиль «Петербургский ростовщик» (он не писал оригинальных водевилей после 1841 года, подражательных — после 1842-го). Здесь ростовщик — гротескная фигура; в водевильных ситуациях раскрыты черты чудовищной жадности и скупости. Замечательнее всего в этом водевиле куплеты, которые ростовщик поет в начале пьесы. Они были целиком исключены театральной цензурой и напечатаны Некрасовым отдельно, под заглавием «Ростовщик», в «Литературной газете» 1845 года. Но и здесь цензура вырезала несколько строк; тогда Некрасов опубликовал стихотворение еще раз — в альманахе «Первое апреля» (1846); лишь здесь удалось напечатать стихи полностью.

Любопытно, какие именно стихи не были пропущены цензурой. Мы отмечаем их курсивом:

И я свыкся понемногу
С ролею скупца
И, ложась, молился богу,
Чтоб прибрал отца...
Добрый, нежный был родитель,
Но в урочный час
Скрылся в горнюю обитель,
Навсегда угас!
Я не вынес тяжкой раны,—
Я на труп упал
И, обшарив все карманы,
Горько зарыдал...

(I, 476)

Цензуру, как видим, смутил страшный цинизм будущего ростовщика. Юноша, обшаривающий труп своего отца,— не смешон; он страшен.

Куплеты гораздо серьезнее водевиля и рисуют не совсем тот образ. Они написаны на характерную для «натуральной школы» тему погони за наживой, ради которой человек жертвует всем, и прежде всего своим человеческим достоинством. Здесь мы еще не видим «сирот беззащитных и вдов», ограбленных бессовестным стяжателем; здесь речь идет только о полном искажении его человеческого облика. Во имя наживы развенчано и убито все лучшее в человеке:

Рано понял я, что глупость —
Слава, честь, любовь...
. . . .
Говорят, есть страсти, чувства —
Незнаком, не лгу!
Жизнь, по-моему,— искусство
Наживать деньгу.

(I, 476)

Любопытно, что образ ростовщика как бы дублирован в куплетах, которые ростовщик поет к концу водевиля. Эти куплеты также напечатаны в альманахе «Первое апреля», под заглавием «Пощечина». В них разъясняется то, что может показаться не вполне ясным в начальных куплетах ростовщика:

Чтоб нажиться — лез из кожи,
Лук да редьку ел,
Ни спины, ни рук, ни рожи,
Верьте, не жалел!

(I, 476)

Что значит: не жалел рожи, чтоб нажиться? На это отвечают куплеты о пощечине:

Был у меня бедняк знакомый
С почтенным выпуклым лицом,
Питался редькой и соломой
И слыл в народе подлецом,
Да вдруг столкнулся с богачом:
Затеял ссору с ним пустую,
Пощечину изволил съесть,
Сто тысяч взял на мировую
И вдруг попал в почет и в честь.[1]

(I, 479)

---

[1] Та же тема «торговли пощечинами» — в прозе Некрасова (см.: 6, 290; 5, 399).

Оба героя — вовсе не исконные богачи; напротив, вначале они оба бедняки; но уже тогда они — подлецы (ростовщик говорит о себе: «И семи лет от рожденья Был уж я подлец!» — I, 475), потому что рвутся к богатству, не разбирая средств.

Вторая тема обоих стихотворений — равнодушие общества к поступкам «подлецов»:

Лишь тряхни-ка я казною
Да задай обед,
Все в объятья тотчас к плуту,
Все в родню, в друзья —
Я честнейший в ту ж минуту...
Что, не так ли... а???..

(«Ростовщик» — I, 477)

Все — кто и ведал и не ведал —
К нему с почтением тотчас,
И даже там вчера обедал
Кой-кто, мне кажется, из вас.[1]

(«Пощечина» — I, 479—480)

В куплетах «Петербургского ростовщика» есть и водевильные ситуации (ростовщик отращивал волосы «И в цирюльню ежегодно Косу продавал», «пока не оплешивел»), и каламбуры («И затем лишь лезут в душу, Чтоб залезть в карман»), и водевильные ремарки («Хлопает по карману») и т. п. Тем не менее с водевильным куплетом у Некрасова произошло то же, что с другими юмористическими жанрами: с чиновничьим сказом, с фельетоном, с пародией... Резко сатирическое содержание, наполнившее привычные формы юмористических жанров, разрушило их; они становятся непригодными и оставляются Некрасовым. После «Петербургского ростовщика» Некрасов больше не писал водевилей. Перед поэтом встала задача поисков новых форм, более соответствующих содержанию его сатиры.

Яркое стихотворение о человеке, поставившем единственной целью жизни наживу, создал Некрасов в следующем, 1845 году. Герой «Современной оды», видимо, тоже ростовщик: об этом как будто свидетельствуют

---

[1] Ср. в «Новостях» тему поминального обеда с речами о «доблестях покойника»:

Считается напомнить неприличным,
Что там-то он ограбил сироту,
А вот тогда-то пойман был с поличным...

(I, 91)

червонцы, добытые «у сирот беззащитных и вдов» и хранимые в сундуке. Это тоже человек из социальных низов; родня у него «длиннобородая», мужицкая.

В «Современной оде», которую Белинский причислял к «счастливым вдохновениям таланта» (IX, 392), достигает зрелости тонкая и злая, осторожная, эзоповская ирония.

«Современная ода» написана как бы в двойном ключе.

Поначалу перед нами как будто хвалебное стихотворение, прославляющее доброту, простоту и человеческое достоинство богача, завоевавшего свое богатство честным и упорным трудом.

Постепенно из-за «оды» выплывает сатира; ее черты все явственнее проступают и в конце концов оборачиваются даже для самого простодушного читателя иронической мистификацией.

Эта постепенность особенно заметна в журнальной редакции стихотворения. Нередко бывает, что ранняя редакция прямее отражает намерение автора, которое затемняется позднейшими переделками, имеющими, конечно, свои основания, но не всегда соответствующими первоначальному замыслу. Так, по моему мнению, обстоит дело и с «Современной одой», в которой при перепечатке в сборнике 1856 года, то есть через одиннадцать лет после первой публикации, Некрасов переставил третью и четвертую строфы.

В первой редакции стихотворения более явен указанный принцип постепенного раскрытия иронического смысла. Он может еще быть неясен в первой строфе, где уверения в уважении к добродетельному герою подкрепляются энергичной божбой:

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И — беру небеса во свидетели —
Уважаю тебя глубоко...

(I, 94)

Ирония приглушена и во второй строфе, где прославляются милосердие и отзывчивость героя и моральная безупречность его путей к богатству:

Не обидишь ты даром и гадины,
Ты помочь и злодею готов,
И червонцы твои не украдены
У сирот беззащитных и вдов.

В третьей строфе (по журнальной редакции) автор как будто восхищается простотой и доступностью героя, его «христианским» отношением к «меньшому брату»:

Не гнушаешься темной породою:
«Братья нам по Христу мужички!»
И родню свою длиннобородую
Не гоняешь с порога в толчки.

Но тут уже ирония сказывается яснее. Герой не выталкивает взашей деревенскую родню, втихомолку приходящую с черного хода с поклонами и просьбами к богатому «милостивцу», но перед людьми «своего круга» старается скрыть свое низкое происхождение, уверяя, что крестьяне — «братья» ему только «по Христу». Перед нами возникает фигура елейного лицемера, крадучись прошедшего темный путь и теперь сладко поющего о «братьях по Христу». Слова о христианской любви к «малым сим» всегда были на устах у реакционных лицемеров. Недаром через несколько месяцев после выхода «Современной оды» Белинский парировал нападки Булгарина и Брандта на «натуральную школу» за преимущественное изображение «низших сословий» и писал, что подобными обвинениями реакционные критики скидывают с себя маску любви к «низшим» как «братьям во Христе». Белинский разоблачает их как отъявленных лицемеров, напоминая им, «что люди низших сословий прежде всего — люди же, а не животные, наши братья по природе и о Христе,— и презрение к ним, особенно изъявляемое печатно, очень неуместно» (IX, 217).[1]

Еще яснее ирония в следующей (по журнальной редакции) строфе, как будто прославляющей независимость и высокое личное достоинство героя:

В дружбу к сильному влезть не желаешь ты,
Чтоб успеху делишек помочь,
И без умыслу с ним оставляешь ты
С глазу на глаз красавицу дочь.

---

[1] См.: Оксман Ю. Г. Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ.— Уч. зап. Саратовского гос. ун-та, т. XXXI, 1952, с. 192. Один из доносов на Белинского инкриминирует ему «неприличное приведение учения и дел Иисуса Христа в оправдание грязных описаний натуральной школы» (Семевский В. И. Материалы по истории цензуры в России.— «Голос минувшего», 1913, № 4, с. 208).

Это «без умыслу» — уже очевидное издевательство. Не будь тут умысла, с какой же стати и упоминать о каких-то случайных обстоятельствах, в результате которых дочь героя могла оказаться с кем-то наедине? Но этот «кто-то» может помочь герою в его делах, которые здесь уже получают оценивающее название «делишек»; для «успеха делишек» добродетельный герой не жалеет и репутации своей дочери.

В пятой строфе как будто достигает апогея энтузиазм безудержного славословия:

Не спрошу я, откуда явилося,
Что теперь в сундуках твоих есть;
Знаю: с неба к тебе все свалилося
За твою добродетель и честь!

«Благочестивая» мысль о том, что за праведные труды сам господь посылает с небес людям награду,— одна из самых натверженных, банальных мыслей традиционного мировоззрения:

Кто у бога просит
Да работать любит,
Тому невидимо
Господь посылает.

(Кольцов. «Размышление поселянина») [1]

Эти мысли Некрасов пародирует. Идиома «с неба свалилось» в подобном контексте может восприниматься только как ироническое утверждение — и совсем иначе, чем в начале, звучат слова последней строфы, повторяющей первую, о редких добродетелях героя и глубоком уважении к нему автора.

И когда читатель перечитывает стихотворение, он интонирует его уже иначе, чем того требует «внешний» смысл:

Не обидишь ты даром и гадины —

(но за деньги — кого угодно),

Ты помочь и злодею готов

[1] Кольцов А. В. Полн. собр. стихотворений. Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1958, с. 101.

(в его злодействах),

И червонцы твои не украдены

(а присвоены «на законном основании»)

У сирот беззащитных и вдов
и т. д.

Здесь открываются богатейшие возможности эзоповского использования двойного смысла.

Конечно, наш анализ схематичен; уже самое заглавие «Современная ода» должно настроить внимательного читателя на ироническое понимание, но, во всяком случае, ирония дана сперва приглушенно, а затем становится все более и более очевидной, хотя формально возможность понимания в прямом смысле сохраняется до конца.

Здесь особенно развита тема лицемерия, отмеченная выше в «Чиновнике» и «Новостях». Рядом с лицемером героем становится лицемер псевдоавтор, необходимый в повествовании, ведущемся эзоповым языком. Но «Современная ода», очевидно предшествующая «Колыбельной песне»,[1] далеко не достигает силы и резкости обличения этой сатиры. Образ бесчестного богача, подлостями и преступлениями поднявшегося из низов, резче, крупнее дан в стихотворении «Секрет», начатом, по-видимому, в 1846 году и связанном по мысли с «Современной одой», что видно из подзаголовка «Опыт современной баллады».

11

1845 год — переходный год для сатиры Некрасова, как и для всей его поэзии. В сатире Некрасова этого года еще представлены почти все ее первоначальные жанры и нарождаются новые, которые в ближайшее время станут ведущими. В 1845 году еще выходит третья глава «Говоруна»; в то же время создаются такие стихотворения, как «Пьяница», которые, при сохранении куплетной инерции, уводят от тем и развлекательной

---

[1] Цензурное разрешение «Колыбельной песни» в «Петербургском сборнике» — 12 января 1846 г., цензурное разрешение «Современной оды» в «Отеч. зап.» — 28 февраля 1845 г.

манеры «Говоруна» к новым, подлинно некрасовским темам и новой поэтике. Некрасов совершенствует манеру авторского повествования в «Новостях» и систему эзопова языка в «Современной оде». Еще появляются комические перепевы вроде «Клянусь звездою полуночи...», в то же время создаются такие тонкие пародии-сатиры, как «Послание к другу»; на основе комического перепева создается сатира такой силы обобщения и социальной остроты, как «Колыбельная песня».

Переходный характер носит и стихотворение «Отрадно видеть, что находит...». Оно завершается водевильной темой с гротескной реализацией метафоры («Дрожишь... под башмаком»), с комической аллюзией на пушкинские стихи. Это придает (вместе с такими фразами, как «лопнуть можешь ты, обжора») всему стихотворению комическую окраску, характерную для ранней некрасовской сатиры. В то же время стихотворение написано в тоне медитации, авторского раздумья; оно как бы лежит на пути от фельетона типа «Новостей» к сатирической инвективе типа «Родины».

Медитативный характер подчеркнут синтаксическим строением стихотворения. Оно построено как единое сложное предложение. Начальные слова «Отрадно видеть» вводят семь придаточных предложений, отделенных друг от друга союзом «что»; эти придаточные предложения частично разрастаются в развернутые конструкции со сложной синтаксической перспективой. Некоторая громоздкость фраз и ряд переносов (enjambements) подчеркивают нарочито «прозаический» характер речи.

Но медитативный характер отнюдь не делает стихотворение бесстрастным. Как и «Колыбельная песня», «Отрадно видеть...» — стихотворение резко оценочное. Оценку получает каждый из перечисляемых в нем типов. Одна за другой следуют оценки: глупец, пошлое лицо, позорные дела, подлец, обжора, плут, медный лоб. Эти оценки звучат особенно резко, потому что исходят не от персонажа, хотя бы условного, как в «Колыбельной песне», а непосредственно от автора.

К. И. Чуковский правильно указывает, что в словаре Некрасова в 1844—1845 годах появляется слово «подлец». «Впоследствии это слово почти уходит из его словаря, но в 1845 году поэт прибегает к нему особенно

часто».[1] Но надо отметить, что только в «Отрадно видеть...» это слово дано как непосредственная авторская оценка, а не как самообличение персонажа («И семи лет от рожденья Был уж я подлец» — I, 475), констатация общего мнения («И слыл в народе подлецом» — I, 479) или пророчество («Будешь ты чиновник с виду И подлец душой» — I, 100). Оценка эта еще особенно усилена тем, что над данным подлецом поставлен другой, высший:

Что ты, подлец, меня гнетущий,
Сам лижешь руки подлецу. *(I, 99).*

Недаром эти два стиха изымались цензурой в трех публикациях и впервые появились только в издании 1863 года.

Угнетатель, лижущий руки начальнику,— эта ситуация дана и в «Чиновнике», но насколько резче она оценена в новом стихотворении, где оба ее участника прямо названы подлецами!

Объект обличения в «Отрадно видеть...» еще более обобщенный, чем в «Колыбельной песне»; здесь, по выражению В. Е. Евгеньева-Максимова, «изображены социальные верхи вообще».[2]

Здесь подлец-угнетатель, лижущий руки другому подлецу; здесь «великий человек», с презрением взирающий на окружающих, достигающий своего завид-

---

[1] Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. М., 1971, с. 100.

[2] Евгеньев-Максимов В. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. М.— Л., 1950, т. 2, с. 53. Трудно, однако, признать убедительным предположение В. Е. Евгеньева-Максимова, что под вторым подлецом (которому «лижет руки» первый) Некрасов имеет в виду Николая I. Предположение это основано на том, что «лицо, против которого направлена сатира»,— лицо высокопоставленное («великий человек») и даже историческое («чьих дел позорных повесть Пройдет лишь в поздних племенах»),— значит, лицо высокого ранга, а угнетателями высокого ранга по отношению к Некрасову могли быть такие лица, как шеф жандармов, министр народного просвещения и т. п., которые могли «лизать руки» только царю. Но это рассуждение основано на неправильной предпосылке, будто сатира направлена против какого-то одного лица; в действительности речь идет о разных типах, которые могут быть в равных рангах; ни из чего не видно, что «подлец, меня гнетущий», должен быть в ранге министра. Притом вообще сомнительно понимать слова «меня гнетущий» как автобиографические.

ного положения тонким плутовством;[1] здесь те, «чьих дел позорных повесть пройдет лишь в поздних племенах», то есть люди, имеющие власть заставить молчать современников о своих позорных поступках; здесь обжора,— а обжорство в сатире Некрасова связано с барством, с бездельем, с тупой и косной жизнью (ср. в «Чиновнике» стихи 28—40, в «Новостях» стихи 107—119 и др.).

В начале этой галереи поставлены, правда, типы как будто нейтральные в социальном отношении: глупец и пошляк,— и, может быть, это сделано не без оглядки на цензуру. Но что «отрадно видеть» поэту в глупце и пошляке? То, что глупость и пошлость окружающей жизни даже их порой вгоняют в тоску и хандру, даже в них пробуждают «чрезвычайную думу», искривляющую их обычно всем довольные физиономии. И в таких субъектах окружающая жизнь вызывает, хотя бы минутами, недовольство; как же к ней относиться людям умным и непошлым?

«Подлец» и «великий человек» — унижены (в них есть много спеси, но нет человеческого достоинства), их мучает страх разоблачения, «чуждый нас». Эти два слова многозначительны. Некрасов говорит не только от своего имени, но и от имени своих единомышленников, людей, которые с чистой совестью и без боязни могут предъявить современникам и потомству повесть своих

---

[1] Анализируя текст стихотворения 1845 г., мы не имеем права исходить из редакции 1856 г. В «Петербургском сборнике» ст. 21 читается:

Ты, тонкий плут и лоб не медный.

К. И. Чуковский пишет в комментарии: «Цензура вычеркнула строчку о важном чиновнике:

Ты, лоб, как говорится, медный.

Некрасов, печатая ее в «Петербургском сборнике», придал ей противоположный (и тем самым иронический) характер:

Ты, тонкий плут и лоб не медный».

(I, 515).

Документальных материалов, подкрепляющих утверждение о цензурном характере раннего варианта, нет, и сомнительно, чтобы для цензуры «тонкий плут» был приемлемее «медного лба». Если бы у цензуры было предположение, что речь идет о важном чиновнике, вряд ли она допустила бы и этот вариант.

дел,— людей, угнетаемых подлецами, но торжествующих свою моральную победу над ними.

1845 годом заканчивается начальный период сатирической поэзии Некрасова. 1846 годом Некрасов датировал свою поэтическую зрелость. В конце жизни он говорил А. Н. Пыпину, что в первых своих стихах «повторял тех, кого читал, но потом, с 1846 года, пошел его собственный род, не взятый ни у кого». [1] Отбирая стихотворения для итогового сборника 1856 года, Некрасов не включил в него ни одного стихотворения, написанного ранее 1845 года, из стихов же этого года отобрал лишь часть. С 1846 года уже почти нет стихотворений, которые Некрасов не признавал бы достойными включения в свои книги. [2]

В 1845 году наряду с сатирой в творчестве Некрасова появляется новая лирика во всех ее основных разновидностях. С 1840 года и до 1845 года Некрасов вообще не писал лирических стихотворений. Сатира была единственным жанром его поэтического творчества. В сатире окрепло повествовательное мастерство Некрасова, в ней впервые появился ряд тем, характерных для «натуральной школы», в ней появился новый лирический герой — бедный интеллигентный разночинец.

В становлении некрасовской сатиры большую роль сыграли юмористические жанры. В формах юмористики стали воплощаться идеи революционной демократии. Все излюбленные юмористические жанры Некрасова — сказ, фельетон, куплет, пародия — пронизаны сатирическим духом, но горечь сатиры разъела их. В дальнейшем творчестве Некрасова после 1845 года они остаются лишь как элементы более сложных форм.

Основным персонажем сатиры Некрасова 1840—1845 годов был чиновник. К середине 40-х годов устанавливаются три социальные группы, с которыми враждует поэзия Некрасова: кроме чиновника, это буржуа-«приобретатель» и помещик. Но последний тип слабо намечен в сатире Некрасова до 1846 года. С этого года

---

[1] Цит. по кн.: Некрасов Н. А. Сборник статей и материалов. Под ред. В. Е. Евгеньева-Максимова. Л., 1938, с. 375.

[2] В приложение к изданию 1864 г. и последующим Некрасов включил стихотворения «Говорун», «Чиновник», «Стишки! стишки...» и «Новости». «Говорун» и «Чиновник» — хронологически первые произведения, которые Некрасов счел достойными включения в собрание своих стихотворений, хотя бы в приложении — «Юмористические стихотворения 1842—45 годов».

класс помещиков делается основной мишенью сатиры Некрасова. Это опять-таки заставляет относиться к сатире Некрасова с 1846 года, как к новому этапу его сатирического творчества.

12

«Период 1846—1847 гг.— пора борьбы Белинского за создание широкого антикрепостнического фронта».[1] Отмежевываясь и от «фантастического космополитизма» западников, и от «фантастической народности» славянофилов, Белинский настаивает на выдвижении в первую очередь не абстрактно-теоретических вопросов, а насущных проблем русской жизни, «самых живых, современных национальных вопросов в России» (как он пишет в знаменитом письме к Гоголю), среди которых на первый план им выдвигается «уничтожение крепостного права» (X, 213). Те же стремления захватывают объединившихся вокруг Белинского писателей «натуральной школы».

Годы 1846—1847 и два первых месяца 1848 года — это время подъема антикрепостнической литературы. Напомним, что в эти годы напечатаны «Деревня» и «Антон Горемыка» Григоровича, «Сорока-воровка» Герцена, основная часть «Записок охотника» Тургенева.[2]

Соответственно и сатирическое творчество Некрасова, направленное в период 1840—1845 годов против чиновничества и отчасти против эксплуататоров городской нищеты, в 1846—1847 годы принимает четкое антикрепостническое направление.

В. И. Ленин особенно ценил в творчестве Некрасова сатирическое разоблачение помещиков. Он писал: «Еще Некрасов и Салтыков учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов...».[3] Это разоблачение крепостника-помещика возникает у Некрасова в стихах 1846 года.

---

[1] Оксман Ю. Г. Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ.— Уч. зап. Саратовского гос. ун-та, т. XXXI, 1952, с. 155.

[2] Из 22 рассказов и очерков, вошедших в первое издание «Записок охотника», 14 появилось в «Современнике» с января 1847 по февраль 1848 г., и именно эти произведения, а не те немногие, которые напечатаны в «Современнике» за последовавшие три года, создают антикрепостническую направленность книги.

[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 16, с. 43.

С 1846 года начинается расцвет лирики Некрасова, совсем было увядшей после неудачных начальных опытов. При этом и лирика и сатира обращаются с огромной силой пафоса и сарказма к теме, до того времени почти не затронутой Некрасовым: к теме крепостного права.

Еще в 1845 году Некрасов написал стихотворение «В дороге» — рассказ о крепостной крестьянке, получившей образование, которое сделало ее глубоко несчастной в той жизни, какая суждена крепостной, и привело ее к гибели. Здесь есть известная аналогия с «Сорокой-воровкой» Герцена. [1] Стихотворение вызвало восхищение Герцена, работавшего над «Сорокой-воровкой» в то время, когда стихотворение Некрасова появилось в печати.[2]

В стихах 1846 года Некрасов в разных жанрах разрабатывает тему страданий народа под гнетом господ, тему беззакония крепостного права. С необычайной силой разоблачительного пафоса звучит эта тема в «Родине». Стихотворение «В неведомой глуши, в деревне полудикой...» примыкает к характерной для 40-х годов лирике, но резко отличается от других ее образцов тем, что дает генезис настроений «лишнего человека» — в переживаниях его юности, в «грязной волне» крепостного разврата, в «жизни безобразной» среди «буйных дикарей» — помещиков.

В сатирическом стихотворении «Женщина, каких много» высмеяна романтическая девица, превратившаяся в типичную помещицу-крепостницу. В том же 1846 году создана и небольшая сатирическая поэма «Псовая охота», в которой ярко показан духовный облик рядового помещика.

Стихотворение «Огородник» начинает кольцовскую линию в творчестве Некрасова — выражение народных чувств и мыслей от лица лирического героя из народа; но при этом, в отличие от Кольцова, никогда не ставившего вопроса об отношениях крестьян и помещиков, Некрасов говорит о социальной приниженности народа и его моральном превосходстве над господами.

---

[1] См. об этом в комментарии к стихотворению (I, 604).

[2] «Петербургский сборник», в котором напечатано «В дороге», вышел в свет 18 января 1846 г., «Сорока-воровка» закончена 26 января.

Прямо не касается крепостного права стихотворение «Тройка», но вопрос о доле женщины-крестьянки тесно связан с вопросом о крепостном праве. В «Деревне» Григоровича, написанной в том же 1846 году, обе темы даны в тесной связи. Положение женщины в крестьянском быту — один из тех вопросов, на которых в эту пору фиксирует внимание Белинский. В рецензии на 3-ю книжку «Сельского чтения» (напечатанной в 10-м номере «Отечественных записок» 1845 года) он указывает на тему, еще «нетронутую» в трех выпусках этого сборника: «...отношения, в которых женский пол находится в простом быту к мужскому и наоборот. Русский человек вообще не умеет уважать женщину, а у крестьян женщина — раб, скот, нечто вроде домашнего животного. Зато посмотрите в деревнях на мужиков: сколько между ними красивых лиц, а женщины, за весьма редкими исключениями,— воплощенное безобразие и в тридцать лет уже старухи. И не диво: выполняя все тяжелые мужские работы, они еще несут тягости беременности и родов...» (IX, 305).

Как близки к этим мыслям Белинского центральные строфы «Тройки»:

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и черной и трудной
Отцветешь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.

(I, 106)

К этим произведениям 1846 года примыкают написанные в 1847—1848 годах «Нравственный человек» и «Вино».

Из стихов этих лет мы рассмотрим три стихотворения, носящих явно выраженный сатирический характер: «Женщина, каких много», «Псовая охота» и «Нравственный человек».

13

Тема жестокого помещика-самодура появляется у Некрасова в 1845 году, но она появляется в фельетоне и разрабатывается в юмористическом плане. В фельетон «Письмо к доктору Пуфу» вставлено стихотворение о свирепом помещике, который стал кротким от обедов, приготовленных по рецептам кулинарных фельетонов доктора Пуфа (В. Ф. Одоевского), печатавшихся в той же «Литературной газете», в которой помещались фельетоны Некрасова:

У нас помещик был свирепый —
Неукротимая душа!
Он раз в жену тарелкой с репой
Пустил — зачем не хороша!!!
Ко всем сварливо придирался,
Худел, страдальчески хандрил,
И в доме всяк его боялся
И ни единый не любил!
Его сердитый, злобный говор
На миг в семействе не смолкал,
Неоднократно битый повар
Свое искусство проклинал.

После того же, как повар начал готовить по рецептам доктора Пуфа, помещик

...стал и добр и весел,
Детей ласкал, жену любил,
Злой управитель нос повесил,
«Мужик судьбу благословил!»
(I, 481—482)

Вот как, за год до создания «Родины», трактует Некрасов тему помещика-деспота, который «всех собой давил»!

Такое же юмористическое отношение к помещичьей власти и помещичьему самодурству находим в стихотворении, открывающем «фарс совершенно неправдоподобный»,— «Как опасно предаваться честолюбивым снам». Мелкому петербургскому чиновнику снится сон:

Он помещиком тысячи душ
В необъятное въехал село.
(I, 488)

Обратясь к крестьянам, новый помещик «виновных» (бог весть в чем) «грозит пересечь». В своем доме он начинает соблазнять красивую крепостную девушку.

В двух местах стихотворения по две строки заменены точками: видимо, развитие этих тем даже в таком легком жанре оказалось неприемлемым для цензуры.

В водевилях и фельетонах 1844 года появляются первые юмористические абрисы типа помещика-охотника, в какой-то мере подготовляющие «Псовую охоту», в связи с которой мы их рассмотрим ниже.

Наиболее ранним подлинно сатирическим произведением Некрасова, направленным против крепостников, надо считать стихотворение «Женщина, каких много». Оно датируется 1846-м, а может быть, еще и 1845 годом. Оно тесно связано с прежней тематикой некрасовской сатиры, в которой большую роль играла борьба с романтизмом. Однако эта тема теперь повернута по-новому; стихотворение является одним из первых выступлений «натуральной школы» против крепостного права.

Неверно было бы думать, что романтизм во второй половине 40-х годов — течение уже изжитое, с которым всерьез воевать не приходится. В массовой литературе романтизм еще очень ходок, поэты-пародисты второй половины 40-х и даже первой половины 50-х годов (Новый поэт, Козьма Прутков) еще направляют свои удары преимущественно против романтической поэзии.

Для Белинского в эту пору борьба с романтизмом имела значение, далеко выходящее за пределы чисто литературной проблематики. Это была борьба за материалистическое мировоззрение, за реалистический подход к действительности. Не отказываясь от признания исторических заслуг романтизма, Белинский рассматривает его как направление, совершенно изжившее себя, как препятствие на пути реалистической мысли, реалистического искусства.

«В статьях 40-х годов,— пишет Л. Я. Гинзбург,— Белинский протестует именно против романтизма в современности, объединяя в этом понятии явления довольно разнородные, но, в конечном счете, сводимые к нескольким основным и соотнесенным между собой моментам ⟨...⟩. Для позднего Белинского и религиозно-общественные идеи славянофилов, и байронизм, и шеллингианство дворянской интеллигенции 20—30-х годов, и, наконец, мещанский романтизм 30—40-х годов — явления, расположенные, конечно, в разных этажах

культуры, но обладающие некоторой общей сущностью. Эта сущность — дуалистический «разлад с действительностью», неспособность к активному, творческому, революционному отношению к жизни 〈...〉. Для Белинского 40-х годов, как и для Герцена, корень пережиточного романтизма — мечтательная бездейственность, губительный отказ от активного отношения к жизни...» [1]. Романтическую мечтательность, отсутствие чувства действительности Белинский связывает с дворянским бездельем, с порочным воспитанием на лоне крепостного права. Вот почему Белинский в своем последнем годовом обзоре так приветствовал «Обыкновенную историю», в которой (как и в последующих романах Гончарова) романтическая мечтательность показана в прямой связи с дворянской бездеятельностью и избалованностью.

В обзоре «Русская литература в 1845 году» Белинский прямо призывал сатириков к разоблачению «романтиков жизни»: «Нельзя не подивиться, что юмор современной русской литературы до сих пор не воспользовался этими интересными типами, которых так много теперь в действительности, что ему было бы где разгуляться!» (IX, 380). [2]

И Белинский тут же приводит как бы образец подобного разоблачения:

«Он слезы лил, добросердечно
Бранил толпу
И проклинал бесчеловечно
Свою судьбу.
Являлся горестным страдальцем,
Писал стишки
И не дерзал коснуться пальцем
Ее руки.

Никакой натуралист так хорошо и полно не составлял истории какого-нибудь genus или specius животного царства, как хорошо и полно рассказана в этих восьми стихах история человеческой породы, о которой говорим мы. Недовольство судьбою, брань на толпу, вечное страдание, почти всегда кропание стишков и идеаль-

---

[1] Гинзбург Л. Я. Белинский в борьбе с романтическим идеализмом.— «Лит. наследство», М., 1948, т. 55, с. 191—193.

[2] Под «юмором» Белинский в эту пору понимает социальную сатиру. См. об этом в книге А. Лаврецкого «Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм» (М., 1941, с. 52).

ное обожание неземной девы — вот родные[1] признаки этих «романтиков жизни» (IX, 380).

Комментаторами раскрыто, что цитированные Белинским восемь стихов взяты из стихотворения Тургенева 1843 года «Человек, каких много». Сюжет этого стихотворения — превращение мечтательного романтика в завзятого помещика:

Потом женился на соседке,
Надел халат
И уподобился наседке —
Развел цыплят.[2]

Характеризуя романтическое «стремление жить мимо жизни, глубокий внутренний разлад с действительностью», Белинский далее пишет: «Человек должен сознавать жизнь, и разум должен вести человека по пути жизни — тем и отличается человек от животных бессловесных; но основою жизни должен быть инстинкт, непосредственное чувство. Без них жизнь есть пустое, холодное и, к довершению, преглупое умничанье; так же, как без мыслительности непосредственное существование есть животное состояние» (IX, 382).

Тургенев показывает в своем стихотворении легкий, можно сказать органический, переход от «преглупого умничанья» к «животному состоянию»: заоблачный романтик становится заправским помещиком. Писатель показывает связь этих состояний и компрометирует оба звена: и пустую романтическую мечтательность, и пошлую помещичью обыденность.

Превращение романтического юноши в ленивого и пошлого помещика намечено еще в XXXIX строфе 6-й главы «Евгения Онегина» — последней из трех строф, раскрывающих пути, по которым могла бы пойти жизнь Ленского. Но Ленский мог опошлиться, а герой тургеневского стихотворения пошл уже и в юности. Слова о возможности «обыкновенного удела» для Ленского идут вслед за описанием безвременной и безвинной смерти возвышенного юноши, за словами о животворном голосе поэта, которого, быть может, благословили бы народы, за предположением (не в печатном, правда, тексте), что Ленский мог «быть повешен, как

---

[1] Так во всех изданиях, но это, очевидно, опечатка — «родовые».

[2] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч., М.— Л., 1960, т. 1, с. 46.

Рылеев»;[1] все это придает совсем иной смысл, чем в стихотворении Тургенева, даже насмешливым словам о Ленском, узнавшем «жизнь на самом деле».

Характеристики, которые дает современным романтикам Некрасов, очень близки к тургеневской. Сравним, например, со стихотворением Тургенева отрывки из характеристики «юношей, которых в наше время зовут вообще романтиками», в рецензии Некрасова на три стихотворных сборника 1847 года:

Он слезы лил; добросердечно Бранил толпу — И проклинал бесчеловечно Свою судьбу.	...будучи добрыми и смирными малыми... ...они громили проклятиями толпу... Все они были большие охотники и мастера проклинать судьбу свою... (9, 165).
Потом,— с душой своей прекрасной Не совладев, Он стал любить любовью страстной Всех бледных дев.	...идеальные юноши влюбляются только в дев бледных и задумчивых... (9, 166).
Являлся горестным страдальцем,	...они полагали, что призвание их — страдать... (9, 165).
Писал стишки...	... почти все они писали... Писали они, разумеется, большею частью стихи (9, 167).
И не дерзал коснуться пальцем Ее руки.	...любовь их никогда не заходила дальше подавленных вздохов, долгих, красноречивых взглядов, много — пожатия руки (9, 166).
Потом женился на соседке, Надел халат...	...бóльшая часть идеальных юношей... оканчивают деревнею и халатом (9, 171).

В стихотворении Некрасова «Женщина, каких много» дан вариант того же сюжета: романтическая девица становится типичной помещицей-крепостницей. Стихотворение прямо связано с тургеневским; это давно установлено. Мы позволим себе высказать предположение, что оно связано и с цитированной статьей Белинского, являясь как бы ответом на призыв Белинского к поэтам-сатирикам. Заглавие стихотворения Некрасова может быть связано не только с заглавием процитированного Белинским стихотворения Тургенева, но и с заме-

---

[1] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1937, т. 6, с. 612.

чанием Белинского, что «этих интересных типов» «так много теперь в действительности». Выдвигаемые Белинским признаки типа — презрение к толпе, идеальная влюбленность, вечное и беспричинное страданье — особенно подчеркнуты в стихотворении Некрасова. [1]

Отметим, что и вариант сюжета с героиней (а не героем) в центре отчасти уже был разработан Тургеневым в поэме 1843 года «Параша». Пошлым помещичьим прозябанием с мужем (тоже бывшим романтиком печоринского типа) завершается судьба дворянской девушки, которой, казалось, было «суждено Страданий в жизни испытать немало», во взоре которой читалась «Возможность страсти горестной и знойной, Залог души, любимой божеством».

Но — боже! то ли думал я, когда,
Исполненный немого обожанья,
Ее душе я предрекал года
Святого, благодатного страданья!
. . . .
И что ж? я был обманут так невинно,
Так просто, так естественно, так чинно,
Что в истине своих желаний я
Стал сомневаться, милые друзья. [2]

Приведу еще один образец этой темы в литературе «натуральной школы». Это ранний, довольно наивный рассказ Писемского «Нина». [3] И тут романтическая барышня, казалось предназначенная судьбой для «страданья», преблагополучно выходит замуж, чтобы с полной невозмутимостью предаться банальной помещичьей жизни:

«...мне казалось, что рано или поздно на это спокойное теперь создание пахнёт суровое горе жизни и что провидение наложит на нее крест тяжелых испытаний...»

«Итак, ⟨...⟩ Нина не умерла, Нина вышла замуж; Нина хозяйничает, бранит слуг, командует мужем, по-

---

[1] Перекликается стихотворение Некрасова и с 9-й статьей цикла «Сочинения Александра Пушкина» (1845), где Белинский дает характеристику «идеальных дев» (у Некрасова: «Она слыла девицей идеальной»), среди которых многие «из идеальных дев скоро делаются самыми простыми бабами» (VII, 479).

[2] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч., М.— Л., 1960, т. 1, с. 100.

[3] Рассказ написан не позднее начала 1847 г. (Писемский А. Ф. Письма. М.— Л., 1936, с. 24).

мешана на визитах и сплетнях! А я думал, что она не для здешнего мира рождена!» [1]

Если мы сравним произведения Тургенева, Писемского и Некрасова о романтической барышне, превратившейся в банальную барыню, бросится в глаза разность трактовки темы. У Тургенева, у Писемского присутствует некоторая грусть о невоплотившемся в жизни романтическом идеале, у Некрасова этот идеал характеризуется беспощадно — только как «преглупое умничанье». [2] Резкость оценок, чаще прямых, чем иронических, очень отличает тон некрасовского стихотворения от тургеневского:

И на луну глядела неотвязно,
Болтала лихорадочно, несвязно...
. . . .
Въедалася в немецкие книжонки,
Влюблялася в прекрасные душонки... и т. д.
(I, 533)

У Некрасова до предела усилен контраст между романтической возвышенностью и низменностью помещичьего бытия. В литературе принято сопоставлять героиню некрасовского стихотворения с матерью Татьяны Лариной [3]. Но, подчеркивая сходство между этими героинями разных эпох, следовало бы указать и на существенные черты различия. Мать Татьяны не прочла даже Ричардсона («Она любила Ричардсона Не потому, чтобы прочла»); «стишков чувствительных тетрадь» — вот все ее литературное образование; культура сентиментализма отразилась на ней лишь как мода — несколькими внешними, примитивными чертами, быстрое исчезновение которых было совершенно естественно. Но героиня стихотворения Некрасова не понаслышке знает романтическую литературу; она в нее «въедается»; лихорадочные речи, романтические благословения и пророчества — для всего этого нужно было владеть специфическим стилем, фразеологией,

---

[1] Писемский А. Ф. Полн. собр. соч. Спб., 1910, т. 1, с. 267, 285.

[2] Вспомним слова Белинского о Некрасове в письме к Тургеневу 1847 г.: «...он 〈...〉 никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер» (XII, 343).

[3] См.: Бродский Н. Л. Евгений Онегин. Роман А. С. Пушкина. М., 1937, с. 188; Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. М.— Л., 1950, т. 2, с. 78—79.

литературной культурой. И эта выспренняя, утонченная женщина, [1] эта

Печальная, чувствительная Текла
Своих людей не без отрады секла.

(I, 533)

«Своих людей не без отрады секла» — это не то, что «служанок била осердясь». Тут не тумак, данный в сердцах, а садистское наслаждение истязанием людей. Чего же стоят романтическая возвышенность и чувствительность, если они не оставляют хотя бы налета гуманности? — как бы спрашивает автор.

Резкий контраст между молодыми и зрелыми годами героини подчеркнут рифмой «Текла» — «секла», в которой сопоставлены слова, как бы концентрирующие и романтический идеал и крепостническую действительность.

Такое сопоставление в рифме иностранного имени, символизирующего комплекс известных идей и настроений, с бытовым словом, разоблачающим наносность, внутреннюю чуждость героям этих «высоких» идей, становится своеобразным приемом в сатире Некрасова 40—50-х годов. Ср.:

Никто б, конечно, не узнал
В нем нового Манфреда...
Но, ах! он жизнию скучал —
Пока лишь до обеда.

(I, 155)

Правда, легче два десятка кегель
Разом сбить ей было, чем понять,
Как велик и плодотворен Гегель;
Но умел я вразумлять и ждать!

(I, 132)

Затем, что мне в трактире бьющий стекла
Купеческий сынок в пятнадцать лет
В сто тысяч раз важнее Фемистокла
И всех его торжественных побед!

(I, 496)

В стихотворении «Женщина, каких много» Некрасов показывает не только разлад между романтическим

---

[1] Ср. в цитированном выше рассказе Писемского: «Он очень удивился, когда из его Теклы, стройной, нежной и скромной Теклы, года через три образовалась толстая, звонкоголосая и бранчливая барыня» (Писемский А. Ф. Полн. собр. соч., т. 1, с. 266).

идеалом и крепостнической действительностью, но и прямую связь романтических настроений культурных помещиков с их праздной жизнью за счет труда крепостных крестьян. Стихотворение начинается описанием обстановки, создающей типы, подобные героине стихотворения:

Она росла среди перин, подушек,
Дворовых девок, мамок и старушек,
Подобострастных, битых и босых...
Ее поддерживали с уваженьем,
Ей ножки целовали с восхищеньем —
В избытке чувств почтительно-немых.

(I, 532)

В атмосфере ничем не заслуженного восхищения и немого подобострастия героиня от самовлюбленности, прихоти и безделья начинает себя считать «ребенком несравненным».

Сложилась барышня; потом созрела...
И стала на свободе жить без дела,
Невыразимо презирая свет.

(I, 523)

В первой строфе поэт говорит о битых дворовых в патриархальном доме, глава которого «в деревне прожил ровно двадцать лет»; в последней строфе сечет «не без отрады» своих людей высококультурная дама.

В тех произведениях, с которыми мы сравнивали некрасовское стихотворение, преследовалась и безжизненная наносная мечтательность, и пошлость обывательского существования, связанная с условиями помещичьей жизни, но там не было прямого протеста против крепостного права. В этом смысле стихотворение Некрасова несет печать тех новых тенденций, которые проявились в школе Белинского во второй половине 40-х годов и так характеризуются советским исследователем: «В изображении порочных сторон русской действительности центр тяжести был перенесен от внутренней анатомии самого порока к его действенным результатам и последствиям для окружающих. В «Деревне» и «Антоне Горемыке», в рассказах Тургенева и стихотворениях Некрасова, в романе «Кто виноват?» и повести «Сорока-воровка» Герцена, в «Запутанном деле» Салтыкова изображены не только пустота, духовная ограниченность, сытая, скучающая барственность, но и судьба людей, которые зависят и страдают

от них. Проявления духовной ограниченности, пошлости, моральной тупости и мелкого эгоизма во всякой среде вызывают интерес по их действию на жизнь и человеческое достоинство обиженных людей. В этом направлении менялся весь писательский кругозор».[1]

Призывая (в цитированной выше статье) сатириков «воспользоваться интересными типами» романтиков, Белинский тут же указывал на необходимость конкретного изучения различных «разрядов» и «оттенков» этого типа: «...они не столько переводятся, сколько изменяются, принимая новые формы. Поэтому они разделяются на множество оттенков, заслуживающих подробного исследования» (IX, 380).

Последовал ли Некрасов совету Белинского, придал ли он своей героине конкретные черты романтизма данной эпохи, или он характеризовал романтические причуды лишь чертами, общими для любой эпохи — для 40-х годов в той же мере, что и для 20-х? Мне представляется, что при всей лапидарности некрасовской характеристики поэту удалось показать определенный оттенок русского романтизма 30—40-х годов. Особенно это чувствуется в 3-й строфе:

Въедалася в немецкие книжонки,
Влюблялася в прекрасные душонки —
И тотчас отрекалась... навсегда...
Благословляла, плакала, вздыхала,
Пророчила, страдала... все страдала!!!
И пела так фальшиво, что беда.

(I, 533)

Обратим, прежде всего, внимание на странность словосочетания «прекрасные душонки». Сатирик может называть предметы «высокими» словами, иронически присоединяясь к враждебной оценке, может давать и собственную, прямую, непосредственную оценку, но странно звучит соединение того и другого в одном словосочетании: резко оценочное, снижающее обозначение предмета («душонки») и к нему иронически-возвышенный эпитет («прекрасные»). Другое дело, если это вовсе не эпитет, а прилагательное, составляющее вместе с существительным единое понятие. И так оно, конечно, и есть. «Прекрасная душа» (schöne Seele) в 30—40-е

[1] Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1971, с. 481.

годы в кругу поклонников немецкой философии романтического идеализма — понятие цельное и определенное; производные от него понятия «прекраснодушный» (Schöneseelig) и «прекраснодушие» (Schöneseeligkeit) выражаются вообще одним сложным словом. Некрасов, тесно общавшийся с Белинским, пережившим период романтического «прекраснодушия» и ставшим его врагом, не мог употребить в эту пору выражение «прекрасные души», игнорируя этот специфический смысл словосочетания.

Из необозримого числа случаев употребления Белинским выражения «прекрасная душа» приведем одну цитату, относящуюся к 1843 году:

«Слово «прекрасная душа» у немцев выражает собою понятие о тех слабых и поверхностных характерах, которые исполнены энтузиазма ко всему высокому и прекрасному, но которые никогда не могут понять хорошенько, в чем состоит и что такое это «высокое» и «прекрасное», от которого они всегда в таком восторге, ⟨...⟩ они лишены всякого такта действительности. Они узнают *высокое* и *прекрасное* только в книге, и то не всегда; в жизни и в действительности они никогда не узнают ни того, ни другого и от этого скоро во всем *разочаровываются* (любимое их словцо!), холодеют душою, старея тся во цвете лет, останавливаются на полудороге и оканчивают тем, что или (и это по большей части) примиряются с действительностью, какова бы она ни была, т. е. с облаков прямо падают в грязь; или делаются мистиками, мизантропами, лунатиками, сомнамбулами. Обыкновенно они смешны и жалки в том и другом случае; но в первом они бывают иногда уж и не жалки, а скорее страшны своим примирением с действительностию...» (VI, 672).

Стихотворение Некрасова и рассказывает о жалком и в то же время страшном примирении с действительностью «прекрасной души», упавшей с облаков прямо в грязь.

Моя интерпретация некрасовского выражения «прекрасные душонки» находит, как мне кажется, серьезное подтверждение и в предыдущем стихе: «Въедалася в немецкие книжонки». Романтическая девушка 20-х годов представлялась «с французской книжкою в руках»; в 20-е годы начали «британской музы небылицы тревожить сон отроковицы»; появление романтической девицы, «въедающейся» в немецкую поэзию и

философию, специфично для русского романтического идеализма 30—40-х годов.

В «Рудине», действие которого происходит в конце 30-х или начале 40-х годов, герой приобщает героиню к своему духовному миру посредством чтения немецкой романтической литературы: «Какие сладкие мгновения переживала Наталья, когда, бывало, в саду, на скамейке, в легкой, сквозной тени ясеня, Рудин начнет читать ей гетевского «Фауста», Гофмана, или «Письма» Беттины, или Новалиса, беспрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темным! Она по-немецки говорила плохо, как почти все наши барышни, но понимала хорошо, а Рудин был весь погружен в германскую поэзию, в германский романтический и философский мир и увлекал ее за собой в те заповедные страны». [1]

Как известно, прототипом Рудина является Михаил Бакунин. Книги, которые Рудин читает с Натальей, в значительной мере определили духовную атмосферу «премухинского гнезда» Бакуниных. В монументальной монографии А. А. Корнилова «Молодые годы Михаила Бакунина. Из истории русского романтизма» (М., 1915) немало говорится об увлечении Бакуниных сочинениями Новалиса, Гофмана, Жан-Поля Рихтера, дневниками Беттины фон Арним и ее перепиской с Гёте и другими произведениями немецкого романтизма.

В «Рудине» Тургенев не впервые воспроизвел эту атмосферу. Еще в 1847 году в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник» он вывел в качестве эпизодического персонажа экзальтированную романтическую девицу, прототипом которой, как давно установлено, [2] является Татьяна Бакунина. Девица «влюбилась в молодого проезжего студента, с которым тотчас же вступила в деятельную и жаркую переписку; в посланиях своих она, как водится, благословляла его на святую и прекрасную жизнь, приносила «всю себя» в жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась в описания природы, упоминала о Гёте, Шиллере, Беттине и не-

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. М.— Л., 1963, т. 6, с. 290.

[2] Бродский Н. Л. «Премухинский роман» в жизни и творчестве Тургенева.— Документы по истории литературы и общественности. Вып. 2. И. С. Тургенев. М.— Пг., 1923, с. 120. Крестова Л. В. Татьяна Бакунина и Тургенев.— Тургенев и его время. Первый сборник. М.— Пг., 1923, с. 48.

мецкой философии,— и довела, наконец, бедного юношу до мрачного отчаяния».[1]

Сатирическая характеристика Тургенева настолько близка к некрасовской, что естественно возникает предположение: не имел ли и Некрасов в виду тот же «премухинский» круг, давая как бы типовой портрет его женских представительниц? В самом деле, многочисленные романы сестер Бакуниных с «прекрасными душами» — Любови и Варвары со Станкевичем, Александры с Боткиным, Татьяны с Тургеневым — были «романами философской любви»;[2] они проходили в бесконечных романтических излияниях, в которых преобладали отмеченные Некрасовым мотивы: отречение, благословение, страдание, пророчествование. Так, Татьяна Бакунина в своих трехъязычных письмах к Тургеневу постоянно пророчит ему («...нет, Вы не погубите ни одной способности, данной Вам,— в Вас разовьется все богатство — вся красота божественной жизни — Вы будете человеком»; «о, оставьте меня в святом, в блаженном созерцании той дивной будущности, которую я смело предрекаю Вам...» и т. п.), благословляет его («Je vous benis Tonrgeneff»; «Nur segnen und danken kann ich in driesen Angenblik»), говорит об отречении («...immer und ewig entsagen ist wohl das einzige was und erlaubt ist»; «Когда мы разошлись — я унесла с собою глубокое благодатное чувство святой любви — отречения...»), о страдании («...ich senge sie — driese Leiden», «Jch braucht nicht zu wissen — was Schmerz was Entbehren heißt»), о своих слезах («...je pleur..., meine Fränken flissen).[3]

Даже специфическая роль музыки и пения в «премухинской» гармонии схвачена Некрасовым.[4]

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. М.— Л., 1963, т. 4, с. 204.

[2] Бродский Н. Л. Указ. соч. с. 114.

[3] Письма Т. А. Бакуниной к И. С. Тургеневу.— Документы по истории литературы и общественности. Вып. 2. И. С. Тургенев. М.— Пг., 1923, с. 127, 131, 137, 141, 143, 144, 145.

[4] Эту роль хорошо передают тирады вроде следующей: «О, это блаженное утро откровения, когда мы вместе прочли Эгмонта и потом сестра играла, а Софья пела, вы ходили по комнатам, а я молилась перед образом божией матери...» (из письма к М. А. Бакунину Александры Беер — приятельницы и подражательницы сестер Бакуниных.— Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. Из истории русского романтизма. М., 1915, с. 592). Разойдясь с Белинским и стремясь подорвать его авторитет в кружке, Бакунин (по словам Белинского, зафиксированным Анненковым)

Отмечу еще, что стих «Имела взгляд глубокий и печальный» перефразирует стих «И твой глубокий, грустный взгляд» из стихотворения Тургенева «Когда с тобой расстался я...», написанного и напечатанного в 1843 году и обращенного к Татьяне Бакуниной.

Конечно, превращение «девицы идеальной» в помещицу, которая «гусями занималась да скотиной», не находит себе прямой аналогии в истории семьи Бакуниных. Но надо отметить, что Варвара Бакунина, вышедшая замуж за «барина простого», помещика Дьякова, и вскоре, благодаря усилиям Михаила Александровича и сестер, разошедшаяся с добрым, но малоразвитым мужем, через несколько лет неожиданно вернулась к нему и затем уже и слышать не хотела о философии и тому подобных материях. Вскоре она родила дочь. Последнее событие произошло в 1844 году; в конце 1845-го или начале 1846 года, когда Некрасов писал свое стихотворение, дальнейшая эволюция Варвары Бакуниной могла мыслиться так, как ее изобразил сатирик.

Белинский еще в 1840 году такими чертами характеризовал (в письме к Боткину) Александру Бакунину: «...ее натура искажена до последней возможности», «сердце у нее — покорный слуга воображения», «у ней нет истинных чувств и истинных потребностей», «ей нужен не мужчина, а идеал мужчины», «она страдание предпочитает счастию», «она бросилась в пустой, болезненный идеализм» (XI, 570, 571).

В пору, о которой идет речь, Белинский с особенной яростью обрушивается на собственное прошлое и на пережитки романтизма в собственном сознании. Бичевание «премухинских» настроений чувствуется в тех сатирических образах романтиков, какие рисует Белинский. И здесь Некрасов идет рука об руку с ним.

Ближайший конфидент Белинского, близкий в эту пору и с Тургеневым, Некрасов, без сомнения, хорошо представлял себе с их слов дух семьи Бакуниных, а может быть, ему известны были по рассказам или по

«твердил»: «Взгляните на этого Кассия ⟨...⟩, никто не слыхал от него никогда никакой песни, он не запомнил ни одного мотива, не проронил сроду и случайно никакой ноты. В нем нет внутренней музыки, гармонических сочетаний мысли и души, потребности выразить мягкую, женственную часть человеческой природы» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983, с. 144).

личным впечатлениям и какие-нибудь другие женщины той же формации.

Некрасов, в первой половине 40-х годов боровшийся с низовым, эпигонским романтизмом, наносит теперь удар по его вершинным явлениям, изображая представительницу романтического идеализма 30—40-х годов. Беспощадно высмеивая эту разновидность романтического героя, Некрасов ставит знак равенства между «высоким» идеалистическим романтизмом и «вульгарным» романтизмом, показывает бессмыслие романтической отрешенности от действительности и в то же время зависимость этой отрешенности от самóй крепостнической действительности — и этим бьет непосредственно по крепостному праву.

14

Маленькая сатирическая поэма «Псовая охота» отчасти подготовлена более ранними произведениями Некрасова. Сперва он использует тему псовой охоты для юмористических фельетонов, а затем переводит ее в план социальной сатиры.

Увлечение псовой охотой, поглощающее все силы души помещика и все его доходы, выколоченные из голодных крестьян, страстная любовь к охотничьим собакам, вытесняющая из души помещика все чувства к к людям,— это традиционная тема русской антикрепостнической сатиры с XVIII века. У Некрасова эта тема сперва дана в водевильно-фельетонном обличье. В водевиль Некрасова «Петербургский ростовщик» (1844) включены куплеты помещика Ростомахова, владельца девяти тысяч душ и вдвое большего числа собачьих свор. «Весь мой дом — большая псарня»,— говорит этот герой, рассказывая о своей нежной любви к собакам:

Лучшим псам и стол особый,
А отличных так люблю,
Что рядком с своей особой
И с женой своей кормлю!

(4, 167)

Куплеты эти в переработанном виде вошли в фельетон 1844 года «Нечто о дупелях, о докторе Пуфе и о псовой охоте». Этот фельетон, как и другой фельетон того же года из цикла «Журнальные отметки», повест-

вует о псовой охоте в добродушно-юмористическом, с легкой иронией, тоне, характерном для некрасовского прозаического фельетона 40-х годов. Между тем здесь, особенно во втором фельетоне, уже даны темы «Псовой охоты»: любовь к собакам и равнодушие к людям, ироническое прославление храбрости охотников за зайцами и силы охотничьих переживаний и т. п. Местами находим совпадения почти текстуальные:

...с истинно геройской храбростью, забыв все на свете, мы скачем за ними чрез рвы, ручьи и пригорки...	Через ручьи, буераки и рвы Бешено мчится: не жаль головы!
И вот зверь, как выражаются охотники, начинает отседать... Сердца наши сжимаются от огорчения; то надежда, то отчаянье попеременно господствуют на озабоченных лицах наших...	Зверь отседает — и в смертной тоске Плачет помещик, припавши к луке.
С радостными криками подскакиваем мы к «месту победы», вырываем зайца из зубов торжествующей собаки и с любовью, с наслаждением долго его рассматриваем. Затем начинаются действия, которые на языке охотников выражаются следующими терминами: приколоть (спустить кровь из горла), отпазончить (отрезать задние лапки, которые по большей части тут же раздаются собачкам), приторочить (привязать зайца к седлу по известным правилам)... *(12, 226, 227)*	Зверя поймали — он дико кричит, Мигом отпазончил, сам торопит. *(I, 111, 112)*

Мы видим, насколько более остро, гротескно даны эпизоды охоты в стихотворном тексте. Прозаический текст местами впадает в тон прямого восхваления наслаждения и пользы псовой охоты.

Идея сатирической поэмы о псовой охоте возникла у Некрасова несомненно в связи с выходом двух сочинений, специально посвященных этому предмету. Это книга Н. Реутта под заглавием (тем же, что у Некрасова) «Псовая охота», изданная в Петербурге в 1846 году, и статья А. Венцеславского «О псовой охоте»,

напечатанная в трех номерах «Журнала коннозаводства и охоты» за 1846 год. В сатире Некрасова отразилась лишь та часть статьи Венцеславского, которая помещена в двух первых книжках журнала. Вторая книжка была выпущена в свет 12 марта 1846 года, в тот же самый день, когда вышла и «Псовая охота» Реутта; очевидно, в скором времени оба сочинения стали известны Некрасову, всегда интересовавшемуся охотой,— тем более что это были первые сочинения на русском языке, стремившиеся дать свод сведений и наставлений по части псовой охоты. На связь своей сатиры с книгой Реутта Некрасов указал сам, взяв цитату из Реутта эпиграфом к своему произведению; знакомство со статьей Венцеславского установлено К. И. Чуковским по позднейшей анонимной рецензии Некрасова на одно охотничье издание (IX, 444—450). В комментариях К. И. Чуковского к «Псовой охоте» в ряде изданий Некрасова приводится несколько цитат из Реутта и Венцеславского, но серьезному анализу соотношение поэмы Некрасова с современными ему сочинениями об охоте не подвергалось. Остановимся несколько на этом вопросе.

Книга Реутта и статья Венцеславского очень близки по тону. Оба автора — панегиристы псовой охоты как благородного дворянского развлечения, чуждого новому, практическому веку, доступного в подлинном своем виде только крупным помещикам — как по дороговизне этого развлечения, так и по чисто дворянским чертам воспитания и характера, которыми должен обладать истинный охотник. Эти черты — привычка не стеснять себя в расходах, высоко развитое чувство изящества и красоты, смелость, решительность, непреклонная воля, военные доблести, ибо оба автора настойчиво сближают охоту с войной. «Охота выражает пламенную страсть человека к торжественному стяжанию победы»,— декларирует Реутт. [1]

Прославляя охоту как «любимую страсть высшего круга русского дворянства» (I, 13), Реутт с презрением относится к бедным охотникам, не имеющим возможности «не жалеть ни денег, ни трудов и попечений на приобретение или воспитание борзых» (II, 135).

---

[1] Реутт Н. Псовая охота. Ч. I. СПб., 1846, с. 18. Далее при ссылках на эту книгу часть и страницы указываются в тексте.

С негодованием говорит он об охоте низших классов, «жадной и необузданной черни» (II, 124), для которой важна не эстетика охоты, а «масса приобретения»: «Хотя мы живем в веке коммерческом, когда всеобщее стремление направлено к массе приобретения, однако псовая охота не подчиняется этому правилу, она, как предмет увеселения, требует изящности и красоты форм; без них масса приобретения есть ничто; или, лучше сказать, стыд и поношение охотничьего достоинства» (II, 96).

Особенно распространяются оба автора об эстетическом характере охотничьей страсти; ничего прекраснее псовой охоты для них нет на свете. «Страсть эта ⟨...⟩,— пишет Венцеславский,— столько же благородна, как любовь к музыке и к живописи; это любовь к поэтическим картинам, выражающим быстроту, гибкость и ловкость ⟨...⟩, мчаться на лихом коне — картина; скач борзой собаки — другая; угонка зверя, рисующаяся гогартовской линией,— третья; гоньба стаи гончих — музыка, сладостная для слуха охотника, а это — еще далеко не все».[1]

Оба автора высоко ценят музыкальные наслаждения охотника. Венцеславский прославляет «чудные голоса», «бесподобные голоса» гончих собак, «с искусством подобранные», «чтобы восхитить сердце охотника своей гармонической, громкой и стройной музыкой».[2] Реутт говорит о «чудной мелодии», исполняемой стаей паратых гончих, сожалеет, что музыканты еще не изучили собачьей музыки: «Нет достаточных наблюдений для объяснения всех переливов, что требует высшего музыкального дарования» (II, 57). Прославляется также «музыкальное порсканье» доезжачих, музыка роговых сигналов.

Оба сочинения — в особенности книга Реутта — написаны в восторженном тоне, с большими претензиями на красоту слога.

Этот тон восторженного панегирика псовой охоте как апофеозу помещичьей эстетики, как высшему воплощению дворянских жизненных установок тонко пародирует Некрасов в своей маленькой поэме. Недаром эпиграфом к ней взят отрывок из книги Реутта, не только дающий оценку псовой охоты, с которой якобы солида-

---

[1] «Журнал коннозаводства и охоты», 1846, № 1, с. 73—74.
[2] Там же, с. 77—78.

ризируется автор, но и являющийся своего рода стилистическим камертоном.

Автор поэмы словно бы сам стоит на тех же позициях, что и Реутт. Он, видимо, заядлый псовый охотник. Он подчеркнуто (как и Реутт с Венцеславским) щеголяет специфической терминологией псовых охотников, выделяющей их в замкнутую касту. Для читателя, не принадлежащего к этой касте, автор (как и Реутт) дает примечания с объяснениями слов, причем эти объяснения выдержаны в реуттовском тоне знатока, любителя и теоретика псовой охоты. При этом объясненными словами специфическая терминология отнюдь не ограничивается. Например, к стиху «Варом-варит закипевшая стая» дается объяснение выражения «варом-варит», но не поясняется выражение «закипевшая стая», хотя и тут не индивидуальная метафора, а специфическое охотничье выражение. Объяснено, что значит «зверь отседает», но не объяснено, что значит «пес изменяет», и т. п. Это происходит отчасти, конечно, оттого, что для самого Некрасова охотничья лексика была с детства привычной, но тут есть и особое художественное задание: создать образ «псевдоавтора», охотника-помещика, солидарного с героем произведения, певца его подвигов.

Подлинное чувство поэта было сложным. «Сквозь иронию, которой насыщена поэма, ясно видна охотничья страсть самого поэта»,— пишет Н. С. Ашукин. [1] Страсть эта, как известно, не оставляла поэта с детства до старости. Правда, Некрасов любил не барскую охоту с борзыми и гончими собаками, требовавшую больших затрат и участия множества крепостных или наемных людей, а скромную охоту с ружьем и легавой собакой. Сестра поэта А. А. Буткевич пишет в своих воспоминаниях:

«Брат мой всю жизнь любил охоту с ружьем и лягавой собакой. 〈...〉 Отец брал его на свою псовую охоту, но он ее не любил. 〈...〉 в первые годы, проводя лето у отца в деревне, брат иногда ездил с ним на охоту с борзыми и гончими собаками. Брат не любил этой охоты, а отец очень любил и всегда радовался, когда ему удавалось увлечь с собой брата». [2]

---

[1] Ашукин Н. Некрасов и охота.— Охотничье сердце. Литературно-художественный альманах. М., 1927, с. 21.

[2] Из дневников и воспоминаний А. А. Буткевич.— «Лит. наследство», М., 1946, т. 49—50, с. 176.

Надо, однако, сказать, что письма Некрасова начала 40-х годов не свидетельствуют о его нелюбви к псовой охоте. Так, в 1841 году он пишет Ф. А. Кони: «Теперь последнее время порош, и я с утра до вечера на поле,— травлю и бью зайцев ⟨...⟩. Это моя страсть, в этом занятии я провел все время пребывания здесь...» (X, 30). В 1844 году Некрасов пишет сестре: «Петербург покуда мне еще не надоел, а надоест — приеду в деревню и буду опять гонять зайцев» (X, 44). Обещая приехать летом, он тут же осведомляется: «Напиши, пожалуйста, что делают наши псовые охотники» (X, 42). Упомянутые выше фельетоны 1844 года также говорят о тогдашней любви Некрасова к псовой охоте. Видимо, перелом во взглядах и отношении к жизни привел к тому, что Некрасов разлюбил псовую охоту, которая с такой откровенностью классового чувства была воспета двумя бардами дворянской забавы в 1846 году.

Прикидываясь и сам подобным бардом, Некрасов заключает 5-ю главу своей поэмы таким апофеозом:

Слава усердному гону тявкуш!

Из лесу робких зверей выбивая,
Честно служила ты, верная стая!

Слава тебе, неизменный Нахал,—
Ты словно ветер пустынный летал!

Слава тебе, резвоножка Победка!
Бойка скакала, ловила ты метко!

Слава усердным и бурным коням!
Слава выжлятнику, слава псарям!

(I, 114)

Автор выражает мысли и чувства своего героя-помещика, голос автора не сливается с голосом главного персонажа. Речь идет не об охоте вообще, а именно о данной охоте: об эпизодах описанного охотничьего дня, о его героях Нахале и Победке, восхитивших своего хозяина; но чувства героя переведены на недоступный ему язык поэзии. Подчеркнуто поэтичны и эпитеты («словно ветер пустынный летал», «бурные кони»), и субстантивация действий («слава усердному гону тявкуш»), и анафора в зачине пяти стихов, усиленная повторением в последнем стихе.

Итак, автор — поэт помещичьей охоты, своего рода Реутт в поэзии. Последняя, 6-я, глава написана совсем в стиле Реутта. Она тематически близка к эпиграфу из Реутта и к аналогичным местам его книги. Вот заключительные строки поэмы:

Благо тому, кто предастся во власть
Ратной забаве: он ведает страсть,

И до седин молодые порывы
В нем сохранятся, прекрасны и живы,

Черная дума к нему не зайдет,
В праздном покое душа не заснет.

Кто же охоты собачьей не любит,
Тот в себе душу заспит и погубит.

(I, 115)

Это перепев утверждений Реутта, вроде следующего:

«Охота в отношении к эстетике жизни человека имеет самое благотворное влияние. Сильная и благородная страсть обуздывает и устраняет склонности, которые незаметно зарождаются и возрастают, коль скоро ум не имеет отвлеченной деятельности и радостных, потрясающих душу впечатлений» (I, 23).

Но в последнем двустишии поэмы ирония проступает очень явно: утверждение, что не любящий собачьей охоты (на этот раз «собачьей», а не «псовой») погубит свою душу, утрирует мысль Реутта, делает ее комичной и раскрывает подлинную оценку автора.

Герой поэмы — помещик-охотник, как будто совсем такой, каким его рисуют панегиристы дворянской охоты. Он смел, решителен, властен, способен к самозабвенному упоению любимой страстью, которая «почти каждого охотника ведет в поэтический мир воображения, где все рисуется в величественной и неподражаемой картине» (I, 133—134). При всем том некрасовский охотник не величествен, а смешон.

Приведу целиком 3-ю главу «Псовой охоты», в которой герой показан преследующим зайца:

Ближе и лай, и порсканье, и крик —
Вылетел бойкий русак-материк!

Гикнул помещик и ринулся в поле...
То-то раздолье помещичьей воле!

Через ручьи, буераки и рвы
Бешено мчится: не жаль головы!

В бурных движеньях — величие власти,
Голос проникнут могуществом страсти,

Очи горят благородным огнем —
Чудное что-то свершилося в нем!

Здесь он не струсит, здесь не уступит,
Здесь его Крез за мильоны не купит!

Буйная удаль не знает преград,
Смерть иль победа — ни шагу назад!

Смерть иль победа! (Но где ж, как не в буре,
И развернуться славянской натуре?)

Зверь отседает — и в смертной тоске
Плачет помещик, припавши к луке.

Зверя поймали — он дико кричит,
Мигом отпазончил, сам торочит,

Гордый удачей любимой потехи,
В заячий хвост отирает доспехи

И замирает, главу преклоня
К шее покрытого пеной коня

(I, 111—112)

Как и у Реутта или Венцеславского, охота представлена в виде «ратной забавы». Но недаром Некрасов описывает охоту на зайцев (а не на волков, например). Усиленный повторением боевой лозунг «Смерть иль победа!» звучит комично, когда противник — заяц. Смешной выглядит страстность охотничьих переживаний, данная в таком гротескном усилении. А кроме того, совсем невысокое мнение о смелости и непреклонности помещика и о его презрении к корыстным расчетам создает ограничительное «здесь», подчеркнутое повторениями и ритмической паузой («Здесь он не струсит, здесь не уступит, Здесь его Крез за мильоны не купит!»).

Некрасовым разоблачается эстетика заядлого охотника-помещика и показывается примитивность и убожество его «идеального мира»:

Варом-варит закипевшая стая,
Внемлет помещик, восторженно тая,

В мощной груди занимается дух,
Дивной гармонией нежится слух!

Однопометников лай музыкальный
Душу уносит в тот мир идеальный,

Где ни уплат в опекунский совет,
Ни беспокойных исправников нет!

Хор так певуч, мелодичен и ровен,
Что твой Россини! что твой Бетховен! [1]

(I, 111)

Но, конечно, к этому разоблачению идейно-художественное задание «Псовой охоты» никак не сводится. Центральная, хотя и очень завуалированная, тема этого произведения — тема крепостного права.

Как ни мало показан помещик в своих отношениях к другим людям, но все эти люди — крепостные.

Псовая охота обычно организовывалась как коллективное развлечение нескольких помещиков, соединявших свои своры для травли зверя. Совместное переживание повышало наслаждение искусством борзых и гончих, а соревнование собачьих стай давало пищу честолюбию их владельцев. В упоминавшемся фельетоне из цикла «Журнальные отметки», в какой-то мере подготовившем «Псовую охоту», описана именно коллективная охота. Но в поэме Некрасова барин охотится один со своими псарями. Это придает более угрюмый характер описываемой охоте. И главное — замысел поэта сосредоточивается на показе отношений барина и крепостных. Барин — это «тот один, кто всех собой давил». Правда, в написанном одновременно с «Псовой охотой» стихотворении «Родина», из которого взяты цитированные слова, «всех» обозначает не только крестьян, но и членов семьи помещика. К теме крепостнического насилия там присоединяется и тема семейного деспотизма. В «Псовой охоте» помещик дан вне семьи; вероятно, у пожилого седоусого помещика есть семья, но в стихотворении нет никаких упоминаний о ней. Помещик противопоставлен только миру крепостных.

---

[1] Отвергнуты Некрасовым и утверждения о «музыкальном порскании» доезжачего, о музыкальной прелести роговых сигналов; доезжачий назван «крикуном» (стих 58) и (устами крестьянина) «горластым холуем» (стих 122), роговые сигналы — «дикими звуками нестройных рогов» (стих 142).

Об истинном отношении мужика к барину Некрасов дает понять уже в первом двустишии поэмы:

Сторож вкруг дома господского ходит,
Злобно зевает и в доску колотит.

(I, 108)

Современники Некрасова, враждебно относившиеся к его поэзии, находили в этой интродукции материал для отрицательной оценки поэта.

Тургенев 1 (13) августа 1852 года писал Фету о Некрасове: «Да ведь этому злобно зевающему барину, сидящему в грязи,— все равно...» [1]

Странный эпитет, который раздраженный Тургенев приложил к Некрасову: «злобно зевающий»,— это, я полагаю, аллюзия на слова о ночном стороже из «Псовой охоты». Тургенев не сомневается, что этот эпитет вызовет должную ассоциацию у адресата его письма. Тургенев не мог, очевидно, предполагать, что Фет знает наизусть все стихи Некрасова; надо думать, что они уже беседовали в свое время (вероятно, обсуждая сборник стихотворений Некрасова 1856 года) об этом эпитете и оказались солидарными в его оценке. Смысл намека, очевидно, таков: чего, дескать, ожидать от человека, который мог написать «злобно зевает». Видимо, по мнению Тургенева и Фета, зевок не может выразить такого чувства, как злоба, и, значит, наречие «злобно» поставлено тут «тенденциозно».

Некрасову чужды подобного рода сомнительные эстетические тонкости, но, конечно, слово «злобно» введено им для того, чтобы с первых строк поэмы показать подлинное отношение крепостного мира к барину.

Сразу после этой интродукции следует ночной пейзаж, создающий очень определенное настроение, не имеющее ничего общего с барскими восторгами, имитированными с такой тонкой иронией в других частях поэмы. Пейзаж дается в совсем иной тональности:

Мраком задернуты небо и даль,
Ветер осенний наводит печаль;

По небу тучи угрюмые гонит,
По полю листья — и жалобно стонет...

(I, 108—109)

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. М.— Л., 1961, т. 3, с. 336.

Это краткое описание предельно насыщено эмоционально впечатляющими словами (мрак, печаль, угрюмые, жалобно, стонет), которые придают стихотворению определенную эмоциональную окраску. Для псовых охот действительно обычна поздняя осень; но в стихотворении того же 1846 года «Перед дождем», где описан проезд «политического преступника» в ссылку, Некрасов был волен выбрать любое время года,— он выбрал то же время, чтобы пейзажным фоном той же эмоциональной тональности подчеркнуть драматизм положения ссыльного:

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес...

(I, 102)

Начинается охотничий день. Барин трубит в рог — и на его призыв съезжаются псари. Наряд псарей описан не «объективно»; автор прямо дает понять читателю, что этот наряд — дорогостоящая причуда барина, тяжким бременем ложащаяся на его крестьян. Реутт восторгается господами, не жалеющими средств на красоту и великолепие своих охотничьих выездов. Некрасов показывает нелепость барских выдумок («В остроконечных, неслыханных шапках»), а главное, прямо противопоставляет молодцеватый вид разряженных псарей их материальному положению и их самоощущению. Притом этот вид или эта видимость дана вторым членом сопоставления, первым членом которого является подлинное положение людей:

Хоть и худеньки у многих подошвы —
Да в сюртуках зато желтые прошвы,

Хоть с толокна животы подвело,
Да в позументах под каждым седло.

(I, 109)

Если Реутт в своих описаниях псовой охоты стремится создать впечатление общего радостного подъема всех ее участников, то Некрасов четко отделяет того, ради чьего удовольствия работает столько людей, от тех, кто участвует в охоте по обязанности.

Пейзаж не во всей поэме так мрачен, как в начале. В дальнейшем тексте есть и более светлый пейзаж. Яркая заря освещает картину прекрасной русской природы, которою трудно не залюбоваться:

Вот поднимаются медленно в гору
Чудная даль открывается взору:

Речка внизу, под горою, бежит,
Инеем зелень долины блестит,

А за долиной, слегка беловатой,
Лес, освещенный зарей полосатой.

Однако тут же делается характерная оговорка:

Но равнодушно встречают псари
Яркую ленту огнистой зари,

И пробужденной природы картиной
Не насладился из них ни единый.[1]

(I, 110)

Псарям не до природы: они голодны, не выспались, устали от ежедневных, видимо, в эту пору охот; их не увлекают барские охотничьи переживания, и даже барская милость — разрешение допить водку из господской фляжки — не повышает их настроения:

Пили псари — и угрюмо молчали,
Лошади сено из стога жевали,

И в обагренные кровью усы
Зайцев лизали голодные псы.

(I, 113)

Любопытен здесь этот ряд: люди — лошади — псы. Для помещика это — живой инвентарь его охоты. В процитированном выше апофеозе в конце 5-й главы семь строк посвящено восторженному прославлению охотничьих собак — и борзых, и гончих, с выделением особо отличившихся,— и по строке в заключение отведено лошадям и людям:

Слава усердным и бурным коням!
Слава выжлятнику, слава псарям!

(I, 114)

Не забудем, что «Псовая охота» — произведение подцензурное, предназначенное для опубликования, и что в то же время тот же круг мыслей Некрасов выражал в стихотворении, не предназначенном для печати, несравненно прямее и адекватнее:

Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов.

(I, 106)

---

[1] Ср. стих 165: «Завтра велит себя раньше будить».

Такого явного противопоставления людей псам в «Псовой охоте» нет, но есть штрихи, указывающие на отношение помещика к людям и к собакам.

Помещик с крепостными людьми не говорит. До начала охоты «молча он крутит седые усы», «молча поводит властительным взглядом»; во время охоты он «гикает», «плачет» и «дико кричит». На протяжении всего произведения он обращает к людям четыре слова: к доезжачему — «В Банники, набрось!» — и к ругающемуся мужику — «Замолчи, животина!» Зато к собакам он «держит речь», объясняя им их проступок.

Отношениями барина и псарей не исчерпывается в поэме тема помещика и крепостных. То тут, то там показана злоба («злобно зевает») и страх крестьян («Вздрогнули все — до грудного мальчишки», «Бабы из окон пугливо глядят»). Центральным эпизодом поэмы является столкновение барина с крестьянином.

Что этот эпизод — центральный, показывает характер его разработки. «Псовая охота» написана схематично, без деталей. Исключение — 4-я глава, в которой изложение подробное, с именами участников (псов), с описанием последовательных реакций помещика, пастуха и мужика. Между тем, с точки зрения формального сюжета поэмы, которым является описание охотничьего дня, 4-я глава — излишняя или, во всяком случае, побочная.

Поэма разбита на главы в соответствии с последовательностью обычного охотничьего дня. И можно было бы назвать так: глава 1-я — «Сборы на охоту»; глава 2-я — «Выезд и начало охоты»; глава 3-я — «Помещик на охоте»; глава 5-я — «Конец охоты»; глава 6-я — «Ужин помещика и отход ко сну». Но в этот схематический распорядок вторгается глава (4-я), посвященная эпизоду, не обязательному на охоте, несущественному с точки зрения охотника и интересов охоты.

Правда, случаи нападения охотничьих собак на стадо — не какие-нибудь редкостные случаи. О них упоминает и Реутт; они свидетельствуют, по его указанию, о плохом воспитании псов. Реутт говорит об «избалованных собаках, которые мечутся на стада и гоняют птиц», и советует, «когда они станут гоняться за чем не следует, а тем более давить домашних животных, тогда их наказывать на месте преступления арапником» (I, 112).

Так и поступает герой поэмы. Он велит сечь собак в воспитательных целях:

Барин велел возмутителей сечь,
Сам же держал к ним суровую речь.
Прыгали псы, огрызались и выли
И разбежались, когда их пустили.

(I, 112)

В глазах барина инцидент этим и исчерпан. Но на сцене оказываются новые участники эпизода, расценивающие происходящее вовсе не с точки зрения интересов охоты:

Ревма-ревет злополучный пастух,
За лесом [1] кто-то ругается вслух.

(I, 112)

Осторожно вводя тему барского насилия над народом, Некрасов не проясняет до конца сюжетную ситуацию. Читатель должен сам понять, что разорванный ягненок — не барский, а крестьянский. Псы ворвались в крестьянское стадо и разорвали принадлежащего крестьянину ягненка, а барин не хочет кинуть пару рублей, чтобы возместить тяжелый для крестьянской семьи ущерб. Вот отчего ругается «бойкий детина». Это, очевидно, не владелец ягненка; было бы слишком неправдоподобно, чтобы как раз в момент нападения псов на стадо рядом оказался именно тот крестьянин, который потерпел убыток; очевидно, не за свое имущество, а за мир, за обиженное крестьянство восстает он на барина. Мы не знаем, своего ли помещика крестьянин посмел так упорно ругать или это чужой крепостной (что, пожалуй, правдоподобнее в такой ситуации); для Некрасова существенно здесь воплощение народного протеста против угнетателя-помещика, и протеста неимоверно смелого, несмотря на привычки рабства: парень «валится в ноги», когда рассерженный барин подъезжает к нему, но, как только барин отъехал, вновь начинает ругать его — и, уже избитый, грозит помещику народной расправой:

«Мы-ста тебя взбутетеним дубьем
Вместе с горластым твоим холуем!»

(I, 113)

---

[1] «За лесом», как видно из контекста, отнюдь не значит: где-то далеко. Псовая охота происходила не в лесу, а в поле, на которое выгоняли зверей из маленьких лесных «островов».

Конечно, это двустишие — самое заветное с точки зрения идеи поэмы и самое криминальное с точки зрения цензуры; недаром оно впервые было напечатано лишь в издании 1869 года, через двадцать два года после первой публикации поэмы.

Поэма на первый взгляд может казаться — вернее, написана так, чтобы казаться,— безобидным, то сочувственным, то добродушно-юмористическим, описанием псовой охоты. Так воспринимали ее не только простодушные читатели, но и критики. Обозреватель «Москвитянина» наивно писал: «...картина охоты нарисована изрядно. Непонятна только мысль. Прочтя стихотворение, ни за что не догадаешься, чего хочет автор: хочет ли он посмеяться над помещиками-псарями или хочет просто нарисовать картину псовой охоты? Если предположить первое — эта мысль не достигнута нисколько; иногда как будто бы и идет дело к тому, да не доходит. Предположить второе — картина только начата; 〈...〉 иногда видишь остов предмета, а не самый предмет; нередко то, что могло бы украсить картину, как нарочно выкинуто».[1]

Почему Некрасов «выкидывал то, что могло бы украсить картину», можно понять только с точки зрения подлинной цели его произведения. Эта цель — осуждение крепостного права. Этой цели служит и презрительное, ироническое изображение барина, его привычек, его любовного отношения к скотам и скотского отношения к людям; и осторожный показ нищеты, страха и угрюмой злобы крепостных людей; наконец, изображение прямого столкновения барина и крестьянина, народного протеста, доходящего до мысли о расправе с обидчиком-барином.

15

Напечатав «Псовую охоту» во 2-м номере «Современника», только что перешедшего в его руки, Некрасов в следующем, 3-м, номере за 1847 год поместил новое, только что написанное,[2] сатирическое стихотворение «Нравственный человек».

---

[1] Гаврилов Н. Обзор журнальных поэтических произведений за 1847 год.— «Москвитянин», 1848, № 2, с. 194.

[2] Белинский в письме к Тургеневу от 19 февраля 1847 г. говорит об этом стихотворении как о «недавно написанном» (XII, 336).

Это стихотворение написано в куплетно-сказовой манере, характерной для сатирического творчества Некрасова первой половины 40-х годов,— в манере, связанной с водевильной традицией. Оно написано от лица героя стихотворения. Начальное двустишие:

Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла —
(I, 118)

замыкает каждую из четырех строф, придавая им характерный вид водевильного куплета. «Пиэска похожа на водевильные куплеты, которые поются под конец»,— писал тот же обозреватель «Москвитянина» Н. Гаврилов.[1]

«Нравственный человек» напоминает «Современную оду». В обоих стихотворениях речь идет о лицемере, оба написаны как ложные панегирики якобы добродетельному герою.

Однако новая сатира несравненно резче «Современной оды». Речь идет уже не о темных путях наживы, а о ряде убийств, тем более гнусных, что закон оставляет их без возмездия и убийца аттестует себя добродетельнейшим человеком. Каждая строфа этого стихотворения говорит о жертвах, погубленных «нравственным человеком», в том числе о самых близких ему людях — жене и дочери; а он уверяет, что никому не делает зла,— если же в результате его действий люди страдают и умирают, виноват не он, а они. Они нарушают божеский и человеческий законы и за это гибнут. Закон и мораль осуждают неверных жен, непокорных детей и слуг, неисправных должников. Те, кто преступают закон, ропщут, не примиряются с жизнью должны пенять на себя, а не на «нравственного человека», прибегшего под сень благодетельного закона и заповеданной господом богом морали.

Сатирик осуждает не только лицемерие моралиста, но и самую его мораль, преследующую все смелое и свободное, а косвенно осуждается и самый строй жизни, который отдает в рабство или зависимость негодяю людей гораздо более высокого нравственного уровня и позволяет ему тиранить и губить их. Ведь в стихотворении подчеркнуто, что власть мужа над женой, кредитора над должником, барина над крепостным,

---

[1] «Москвитянин», 1848, № 2, с. 195.

отца над дочерью поддерживается законом, судом, полицией...

Герой стихотворения как бы предвосхищает щедринского Иудушку, такого же елейного лицемера и благочестивого губителя, считающего, что он поступает правильно, «по закону», а если человек гибнет, то виноват не закон и не тот, кто прибегнул к нему, а тот, кто нарушил его.

Ср. слова некрасовского «нравственного человека»:

> Приятель в срок мне долга не представил.
> Я, намекнув по-дружески ему,
> Закону рассудить нас предоставил:
> Закон приговорил его в тюрьму,—
>
> *(I, 119)*

со словами Иудушки: «Нет, мой друг, я не граблю; это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Лошадь его в своем лугу поймал — ну и ступай, голубчик, к мировому! Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется,— и бог с ним! А скажет, что травить не дозволяется,— нечего делать! штраф пожалуйте! По закону я, голубчик, по закону!» [1]

Однако образ предшественника Иудушки несколько проигрывает в убедительности из-за инерции водевильной формы, уже не соответствующей содержанию. Изложение от первого лица не совсем гармонирует с содержанием стихотворения. Конечно, «нравственный человек» подчеркивает свою любвеобильность и незлобивость: смерть дочери сразила его «глубокою печалью», «слезами и печалью» почтил он мертвого друга; повара он, правда, «посек», но отечески и лишь после того, как убедился, что наставления и угрозы не действуют. Все же слишком уж контрастирует формула «Я никому не сделал в жизни зла» с тем злом, которое описывается в стихотворении, притом подчас описывается с явным выходом за пределы эмоций и оценок «нравственного человека»:

> Она слегла в постель и умерла,
> Истерзана позором и печалью...
> Живя согласно с строгою моралью,
> Я никому не сделал в жизни зла.
>
> *(I, 119)*

---

[1] С а л т ы к о в-Щ е д р и н М. Е. Собр. соч. в 20-ти т. М., 1972, т. 13, с. 78.

Это несоответствие, очевидно, имеет в виду Аполлон Григорьев, говоря, что «неестественно водевильна форма стихотворения «Нравственный человек», что в нем страшно мешает впечатлению эстетическому местоимение „я“».[1]

Но согласиться с А. Григорьевым до конца нельзя. Некрасов явно не настаивает на том, чтобы читатель всерьез поверил реальности такого гиперболического лицемера. «Я никому не сделал в жизни зла» — формула, выражающая не столько убеждение героя, сколько ироническую оценку автора.

Обличение лицемера связано с темами, характерными для «натуральной школы». Идея права женщины на свободу в любви и в браке одушевляет первую и последнюю строфы стихотворения. В последней строфе намечен образ девушки, душу которой нельзя купить,— дворянской девушки, полюбившей учителя, то есть человека низкого социального положения, готовой разделить его бедную долю и зачахнувшей среди богатства с нелюбимым мужем.

Борясь против устоев крепостнического общества, Белинский и Герцен в статьях середины 40-х годов часто ставят вопрос о подлинной нравственности и ее отношении к принятой обществом морали, бичуя лицемерие последней. Здесь в особенности можно назвать 7-ю и 8-ю статьи о Пушкине Белинского, «Капризы и раздумье» Герцена. В этих статьях ставится, в частности, проблема моральной оценки насильственного брака. Во 2-й главе «Капризов и раздумья» («По разным поводам»)[2] встречаем прямые аналогии с последней строфой стихотворения Некрасова.

Герцен спрашивает: «...что дал, например, мой сосед, богатый откупщик, своей жене, которая вышла за него потому, что ее нежные родители стояли перед нею на коленях, умоляя спасти их именье, их честь продажей своего тела, своим бесчестием? что дал ей муж, какого яда, от которого она из ангела красоты сделалась в два года развалиной? Отчего эти ввалившиеся щеки, отчего ее глаза, сделавшиеся огромными, блестят каким-то болезненно-жемчужным отливом? ⟨...⟩ Умри жена,— супруг воздвигнет монумент; об нем будут жалеть

---

[1] Григорьев А. Литературная критика. М., 1967, с. 492.

[2] Напечатана в «Петербургском сборнике», изданном Некрасовым в 1846 г.

больше, нежели об ней; он сам обольет слезами ее гроб и, для довершения удара, слезами откровенными,— он, подавая ей психического мышьяку, вовсе и не думал, что она умрет».[1]

Вторая строфа стихотворения «Нравственный человек» могла бы войти в прежние стихи Некрасова о ростовщиках, о людях, не знающих ни чести, ни совести, ни жалости, знающих только наживу. Но герой стихотворения — не того социального круга, что герои прежних сатир. Это — дворянин, барин, крепостник.

Наиболее социально острой является третья строфа, недаром исключенная цензурой из издания 1861 года. Это лаконичная повесть о судьбе крепостного интеллигента. Повар, жадно стремившийся к знанию, не переставший «читать и рассуждать», несмотря на барские упреки и угрозы, высечен барином. Для высоко развитого «чтением и рассуждением» человеческого достоинства крепостного это оскорбление оказалось непереносимым; повар покончил жизнь самоубийством.

О человеческом достоинстве крестьянина постоянно пишет в эту пору Белинский, между прочим и в номере «Современника», предшествующем тому, в котором помещен «Нравственный человек». Во 2-м номере журнала за 1847 год напечатана рецензия на «Повести, сказки и рассказы казака Луганского», в которой Белинский пишет: «... в необразованном мужике иногда бывает больше врожденного достоинства, нежели в образованных людях средних сословий» (X, 81). А спустя несколько месяцев, в знаменитом письме к Гоголю, Белинский в качестве одной из главных задач русской жизни называет «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе» (X, 213).

Показ пробуждения и развития этого чувства становится одной из важнейших задач «натуральной школы». В лучших ее произведениях, где изображаются крепостные крестьяне — в «Записках охотника», в «Сороке-воровке»,— они противостоят барину как люди гораздо более тонкой душевной организации, более интеллигентные, с большим человеческим достоинством, чем барин.

В первой публикации «Нравственного человека» — в «Современнике» 1847 года — конец истории крепост-

[1] Герцен А. И. Собр. соч., М., 1954, т. 2, с. 79, 80.

ного повара несколько иной; вместо «Он взял да утопился» здесь слова: «Он сделался пьянчужкой». Очевидно, это цензурный вариант, но и смягчая сюжет для цензуры, Некрасов взял типичную жизненную ситуацию. Быть может, он взял ее из устного рассказа Герцена. Вероятно, Герцен рассказывал в кругу Белинского историю крепостного повара своего дяди, впоследствии описанную во 2-й главе «Былого и дум». Талантливый, хорошо обученный крепостной повар, любитель «читать и рассуждать», не в силах был сносить положение крепостного и, после отказа барина отпустить его на волю за большой выкуп, спился, потерял работу, обнищал и погиб. Этот рассказ отличается от некрасовского тем, что повара не только не секли, но и не грозили, не оскорбляли, не мешали «читать и рассуждать». Он не смог вынести самого сознания, что он невольник.

В стихотворении следующего, 1848-го, года описано подробнее состояние крепостного — не развитого грамотея, а обыкновенного крепостного человека, высеченного по приказу барина:

Как подумаю, весь задрожу,
На душе все черней и черней,
Как теперь на людей погляжу?
Как приду к ненаглядной моей?

(I, 123)

Как же реагирует на бесчеловечное оскорбление герой стихотворения «Вино»? Реакция как будто неглубокая:

Целый штоф осушил я до дна
И в тот день не ходил со двора.

(I, 123)

Но это реакция вторичная; непосредственная намечена в предыдущих словах:

Нашептал мне нечистый в ночи
Неразумных и буйных речей,
И наутро я сумрачен встал;
Помолиться хотел, да не мог,
Ни словечка ни с кем не сказал
И пошел, не крестясь, за порог.

(I, 123)

Смысл этих строк проясняют аналогичные места во 2-й и 3-й главках стихотворения: «Наточил я на старосту нож», «Наточивши широкий топор, «Пропадай!» — сам себе я сказал». Конечно, и в 1-й главке говорится о том же. Крепостной хочет расправиться с насильником-барином. В «Нравственном человеке» смертельно оскорбленный крепостной убивает себя, в стихотворении «Вино» крепостной замышляет убить барина. Здесь впервые намечена тема крестьянской расправы со злодеем-барином. Через несколько лет она будет реализована в наиболее резком антикрепостническом стихотворении Некрасова — «Отрывки из путевых записок графа Гаранского».

Три рассмотренных выше стихотворения 1846—1847 годов очень разны и по жанрам, и по темам: стихотворение о романтической барышне, ставшей пошлой барыней; небольшая поэма об охотнике, в которой слышится то пафос завзятого любителя охоты, то ирония над этим пафосом; куплеты лицемера, чванящегося своей добродетелью. Что общего между этими произведениями? То, что их объединяет,— не бросается в глаза, это их направленность против крепостного права, против помещиков.

16

Наступила эпоха «цензурного террора».

Все царствование Николая I было реакционным, но цензурный и полицейский гнет не был равномерным во все это тридцатилетие. Современники дифференцированно воспринимали и оценивали разные периоды внутри этого тридцатилетия. Герцен пишет: «...не следует забывать, что от 1843 до 1848 была самая либеральная эпоха николаевского царствования».[1] При Николае I печатались Пушкин, Гоголь, Лермонтов и Белинский, причем деятельность трех последних писателей целиком осуществилась в рамках николаевского царствования. Конечно, всех этих писателей давила и искажала цензура, но, хотя бы в урезанном и испорченном виде, их гениальные произведения появлялись в свет. В атмосфере же последних лет николаевского царствования появ-

[1] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1954, т. 2, с. 86. Называя 1848 г. Герцен, конечно, имеет в виду лишь первые его месяцы — до начала реакции царского правительства на февральские события во Франции.

ление произведений вроде «Ревизора» или продолжение «Мертвых душ» в духе первого тома было бы просто немыслимым, а Белинский был бы, как известно, заключен в Петропавловскую крепость, если бы не умер в 1848 году.

«До 1848 года,— пишет Герцен,— русская цензура была крута, но все-таки терпима. После 1848 года там уже нельзя было печатать ничего, что мог бы сказать честный человек».[1]

Это различие в степени цензурного гнета и в общей политической атмосфере двух периодов, рубежом между которыми явился 1848 год, ярко отразилось на истории публикаций Некрасова в годы 1848—1854.

Если бы в 1855 году человека, пристально следящего за литературой по печатным органам, спросили о сатире Некрасова, он, вероятно, ответил бы, что Некрасов давно перестал писать в сатирическом роде. Такого впечатления Некрасов, очевидно, и добивался. В течение всего «мрачного семилетия» он совсем не публиковал произведений сатирических или хотя бы с сатирическим оттенком. Из таких произведений, написанных в период 1848—1854 годов и включенных в собрание стихотворений 1856 года, ни одно не появилось в печати ранее 1856 года. А в 1856 году, частью в журналах, частью сразу в собрании стихотворений, были опубликованы: «Прекрасная партия», «Филантроп», «Отрывки из путевых записок графа Гаранского», «Секрет» (отрывок из «Секрета» был, правда, напечатан в 1851 году, без имени автора, в фельетоне Нового поэта).

Некрасов напечатал в эти годы несколько юмористических стихотворений, но все без подписи. Впоследствии, в приложении к изданию своих стихотворений 1873—1874 годов, Некрасов признал своими три произведения, напечатанные в «Современнике» в 1851 и 1854 годах («Мое разочарование», «Деловой разговор», «Признания труженика»). Первое было включено в рецензию Нового поэта, второе — в его фельетон. Так как этим псевдонимом обычно пользовался И. И. Панаев, стихотворения естественно было приписать ему (одно из них действительно попало впоследствии в собрание сочинений Панаева).

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1957, т. 12, с. 78.

Можно указать еще несколько юмористических стихотворений Некрасова этого времени, печатавшихся анонимно («Мне жаль, что нет теперь поэтов...») или под псевдонимом («Перед зеркалом») или опубликованных лишь посмертно («Тургеневу», «Дружинину», «Лето»).

Вспомним, что все сатирическое творчество Некрасова, от первых опытов и до значительнейших произведений 40-х годов, продолжалось восемь лет, причем все зрелые произведения созданы за четыре года — с 1844-го по 1847-й («Чиновник», «Новости», «Послание к другу (из-за границы)», «Колыбельная песня», «Современная ода», «Отрадно видеть, что находит...», «Женщина, каких много», «Псовая охота», «Нравственный человек»). И вот за этими четырьмя годами следуют восемь лет, в течение которых Некрасов не публикует ни одного сатирического стихотворения, а несколько юмористических стихотворений достаточно невинного содержания печатает без подписи в «Смеси» или «Литературном ералаше».

Но если мы от того, что печатал Некрасов в годы «цензурного террора», обратимся к тому, что он в эти годы писал, мы прежде всего увидим, что этот период не был для него единым. На протяжении 1848—1851 годов Некрасов почти оставляет сатиру, но он и вообще почти не пишет стихов в эти годы. С 1852 года явен новый идейно-творческий подъем; поэт укрепляется в сознании своего особого пути («Муза», «Блажен незлобивый поэт...») и возвращается к сатире. Новый подъем, преодоление пессимизма и подавленности, вызванных реакцией, характерны в это время и для Герцена, нашедшего пути исхода из своей «духовной драмы», и для Тургенева, который в 1852 году пишет такие повести, как «Муму» и «Постоялый двор», и выпускает в свет «Записки охотника». Некрасов в 1852 году создает «Прекрасную партию», а в 1853-м — две сатиры особенно большого идейного значения: «Филантроп» и «Отрывки из путевых записок графа Гаранского». Эти сатиры свидетельствуют о том, что Некрасов не только не свернул с пути, по которому шел в эпоху Белинского, но что он сделал дальнейшие шаги на этом пути, вступил в новую фазу развития своего мировоззрения.

В сатирах первой половины 50-х годов Некрасов продолжает борьбу против помещичьего класса, против

дворянства. Дворянство остается основной и почти единственной мишенью его сатиры. При этом Некрасов теперь предает осмеянию гораздо более высокие слои господствующего класса, чем в 40-е годы.

Новый подъем сатиры Некрасова как бы предвещается небольшим юмористическим стихотворением 1851 года «Мое разочарование».

17

Преследование романтического идеализма не завершилось в творчестве Некрасова стихотворением «Женщина, каких много». В 1851 году Некрасов напечатал (в составе рецензии Нового поэта) стихотворение, в котором тип ученого романтика-идеалиста дан в мужском образе. Все те признаки типа, которые Белинский считал основными и которые Некрасов воплотил в образе «Женщины, каких много», присущи и герою нового стихотворения: презрение к пошлой толпе и к обыденной жизни и замена непосредственного чувства «нелепым умничаньем», «вечным страданием» от несоответствия жизни романтическому идеалу.

Стихотворение озаглавлено «Мое разочарование». В своих характеристиках романтиков Белинский подчеркивал обязательность разочарования для них — и, прежде всего, разочарования в любви, вызванного недостаточной «идеальностью» избранницы или избранника. «Не разочаровываться им невозможно,— писал Белинский,— ибо у них идеал не имеет ничего общего с действительностью и не способен к осуществлению на деле. Если этот идеал — дева, то непременно неземная, которая не ест, не пьет и не хворает, питаясь одними высокими чувствами, любовью, восторгом, вдохновением и пр. И потому в девах — они наиболее разочаровываются» (VI, 672). В характеристику «идеальных дев» Белинский включает такие черты: «Они презирают толпу и землю, питают непримиримую ненависть ко всему материальному» (VII, 478); «...они создают свой идеал брачного счастия,— и когда увидят невозможность осуществления их нелепого идеала, то вымещают на мужьях горечь своего разочарования» (VII, 479).

Такое разочарование романтика и осмеяно Некрасовым в стихотворении «Мое разочарование».[1]

Романтик влюбляется точно таким же способом, на который не раз указывал Белинский. Говоря о том, что у романтика любовь — не в сердце, а в голове, Белинский замечает: «...романтики особенно падки к головной любви. Сперва они сочиняют программу любви, потом ищут достойной себя женщины ⟨...⟩. Им любовь нужна не для счастия, не для наслаждения, а для оправдания на деле своей высокой теории любви. И они любят по тетрадке и больше всего боятся отступить хотя от одного параграфа своей программы. Главная их забота являться в любви великими и ни в чем не унизиться до сходства с обыкновенными людьми» (X, 326—337).

Герой Некрасова так рассказывает историю своей любви:

Я давно в созданье идеала
Погружен был страстною душой:
Я желал, чтоб женщина предстала
В виде мудрой Клии предо мной...
Чтоб она не в рюмки и подносы,
Не в дела презренной суеты —
Чтоб она в великие вопросы
Погружала мысли и мечты...

(I, 131)

«Идеальная дева», о которой мечтает герой, должна «говорить восторженно и страстно, вдохновенно действовать всегда»,— то есть она задумана вполне в духе «женщины, каких много». «И нашел, казалось, я такую»,— повествует идеалист. Дева признается достойной подругой и объявляется невестой, но затем разо-

---

[1] «Мое разочарование» напечатано в рецензии на кн. «Раут. Литературный сборник в пользу Александринского детского приюта». М., 1851. В этом сборнике помещен отрывок из поэмы Каролины Павловой «Кадриль». Здесь описывается разочарование девушки в любимом человеке, который отказался от брака с ней, узнав, что ее приданое не так велико, как он думал. Связь между произведением Павловой и «Моим разочарованием» настолько незначительна, что вряд ли возможно считать, что в нем «Некрасов высмеял «идеальных» героев К. Павловой» (сам Некрасов включил «Мое разочарование» в издание 1873—1874 гг. с датой «1850»). Однако стихотворение Некрасова написано тем же размером, что и поэма Павловой,— пятистопным хореем, на редкость которого в эпической поэзии специально обратил внимание читателей издатель «Раута» Н. В. Сушков (см.: I, с. 611—612).

чаровывает, обнаружив интерес к «низменному»; жених застает ее за печением пирога:

Я смотреть без ужаса не мог,
Как она рукой месила тесто,
Как потом отведала пирог.

(I, 132)

Разочарованный герой объявляет невесте о разрыве и уходит, рыдая.

Опубликованное через три года после смерти Белинского и, вероятно, написанное незадолго до опубликования, стихотворение показывает, насколько творчество Некрасова продолжает оставаться в кругу идей Белинского.

Но несомненно, в связи с иными цензурными условиями, «Мое разочарование» звучит более «безобидно», чем «Женщина, каких много». Ему придают комически-гротескный характер и сюжет, и манера повествования, и гиперболы:

(Приминал я в лето без сомненья
Десятин до двадцати травы),

и игра слов:

(Чтоб она на все бросала взгляды,
Добытые мыслию своей),

и ритмические приемы:

(Где ж она?— «Они на кухне вместе
С маменькой» — и я туда иду).

(I, 131, 132)

Повествование ведется от первого лица. Эта манера, идущая, как мы знаем, еще от ранних юмористических опытов Некрасова, изживает себя, в сущности, как только сатира Некрасова приобретает социальную остроту и идейную целеустремленность. Однако рассказ от первого лица сохраняется как прием эзопова языка, причем образ рассказчика становится условным: таков и водевильный ростовщик, и «нравственный человек», и мать в «Колыбельной песне», и граф Гаранский.

Как и «Женщина, каких много», герой «Моего разочарования» погружен в атмосферу «высокой» идеалистической философии и романтической поэзии. Предвосхищая Рудина, он постоянно читает со своей избранницей поэтов и философов. Гротескный характер

стихотворения определил список их — громадный и бестолковый список в семнадцать авторов, от Демосфена до Федора Глинки. Некоторые из них включены только чтобы создать впечатление сумбура, как ботаник Декандоль, очевидно появившийся в рифму к Жан-Полю. Все же первым в списке стоит Гегель, и основные усилия героя клонятся к истолкованию невесте, «как велик и плодотворен Гегель». В список входят Шеллинг, Жан-Поль Рихтер, Шамиссо, русский шеллингианец Галич, религиозно-мистический романтик Федор Глинка — когда-то член «Союза спасения» и «Союза благоденствия», а в эту пору постоянный сотрудник погодинского «Москвитянина».

В «Моем разочаровании» Некрасов не мог, по условиям времени, разоблачать крепостное право с такой же прямотой, как в «Женщине, каких много», но роль крепостного права в формировании «лишних людей» показана и здесь.

Герой «Моего разочарования» — один из первых образов «лишнего человека» в русской литературе 40—50-х годов. Как известно, это образ дворянина, стоящего, по образованию и интересам, намного выше окружающей его среды. Свое превосходство над средой, с которой у него нет общих интересов и воззрений, он считает причиною своего печального одиночества. Бездеятелен же он, как ему представляется, потому, что не может ни принять активного участия в той деятельности, которую осуждает, ни найти иную деятельность, которую он мог бы признать достойной того, чтобы приложить к ней свои силы и способности.

Однако этому объяснению демократическая мысль противопоставляла другое: «лишний человек» бездеятелен, прежде всего, потому, что он помещик, обеспеченный крепостным трудом; не будь этого, он принужден был бы трудиться и не был бы «лишним человеком», каковы бы ни были его воззрения.

Любопытно, что борьба взглядов на причины появления типа «лишнего человека», а вместе с тем и оценок этого типа, дана уже в первом крупном произведении, где выведен подобный герой: в «Кто виноват?» Герцена. Бельтову, который сознает себя «бесполезным человеком» и уверяет, что «мало болезней хуже сознания бесполезных сил», разночинец доктор Крупов возражает: «... вам жизнь надоела от праздности,— ничего не делать, должно быть, очень скучно; вы, как все богатые

люди, не привыкли к труду. Дай вам судьба определенное занятие да отними она у вас Белое Поле (имение Бельтова.— *Б. Б.*), вы бы стали работать, положим, для себя, из хлеба,— а польза-то вышла бы для других; так-то все на свете и делается.

— Помилуйте, Семен Иванович (отвечает Бельтов.— *Б. Б.*), неужели вы думаете, что, кроме голода, нет довольно сильного побуждения на труд? Да просто желание обнаружиться, высказаться заставит трудиться. Я из одного хлеба, напротив, не стал бы работать,— работать целую жизнь, чтоб не умереть с голоду, и не умирать с голоду, чтоб работать,— умное и полезное препровождение времени!

— Что же вы, с вашей сытостью и желанием высказаться, много наделали? — спросил совсем уже рассерженный старик.

— Тут-то и запятая. Уж, конечно, я не по охоте избрал жизнь праздную и утомительную для меня. Ученым специалистом я не родился, так, как не родился музыкантом; а остальные дороги, кажется, для меня не родились...

— То есть вы себя этим утешаете; земля вам коротка, мало места; воли-то твердой нет, настойчивости нет...» [1]

В этом споре автор как будто не становится ни на чью сторону. В этой связи существенно, что Белинский, высоко оценив роман Герцена в своем последнем обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года», не вполне согласился с автором в оценке Бельтова. Он упрекнул Герцена в том, что, представив Бельтова человеком, «жаждавшим полезной деятельности и ни в чем не находившим ее по причине ложного воспитания» (X, 321), он в конце романа показывает своего героя уже «какою-то высшею, гениальною натурою, для деятельности которой действительность не представляет достойного поприща» (X, 322). К тому же Герцен, по мнению Белинского, недостаточно показал «натуру своего героя, нисколько не практическую и, кроме воспитания, порядочно испорченную еще и богатством. Тому, кто родился богатым, надо получить от природы особенное призвание к какой бы то ни было деятельности, чтобы не праздно жить на свете и не скучать от бездействия» (X, 321). Белинский призывает, таким образом, пока-

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1955, т. 4, с. 155.

зывать «лишнего человека» не как жертву несоответствия высокого признания ничтожной действительности, а как продукт крепостнического воспитания и помещичьей обеспеченности.

У Некрасова оценка «лишнего человека» в «Моем разочаровании», как и в «Женщине, каких много», безусловно отрицательна. Высмеяно презрение «лишнего человека» к скромному труду, которому противопоставляются претенциозные, но весьма неопределенные порывы; подчеркнуто, что первопричина всех умствований героя — помещичья обеспеченность:

Вереницей чудной и беспечной
Предо мной толпился ряд идей,
И витал я в сфере бесконечной,
Презирая мелкий труд людей.
Я лежал, гнушаясь их тревогой,
Не нуждаясь, к счастию, ни в чем,
Но зато широкою дорогой
В сфере мысли шел богатырем.

(I, 131)

Это презрение к «мелкому труду» в «Моем разочаровании» предвосхищает слова Агарина из поэмы «Саша»:

Нет, я души не растрачу моей
На муравьиной работе людей.

(I, 222)

Оценивая «лишнего человека» как лежебоку, Некрасов гротескно реализует эту метафорическую квалификацию: его герой «лежит с утра до поздней ночи». Но вспомним, что через несколько лет галерея «лишних людей» увенчается героем, который уже не в сатирическом гротеске, а в реалистическом романе «лежит с утра до поздней ночи». Именно образ «лежачего героя» Обломова послужит революционно-демократической критике для окончательной дискредитации всей породы «лишних людей» — в литературе и в жизни.

18

«Прекрасная партия» (1852) продолжает в творчестве Некрасова линию «физиологического очерка», ближе всего — из прежних произведений — примыкая к «Чиновнику». Но героем взят теперь не мелкий петер-

бургский чиновник, не незаметный провинциальный помещик. «Прекрасной партией» в творчестве Некрасова открывается серия «физиологических очерков» столичного «большого света».

В стихотворении обрисован один из ярких типов тогдашнего дворянства: военный удалец, прожигатель жизни, картежник, кутила и мот; после разорения — искатель богатых невест.

Этот тип давно напрашивался под перо писателей «натуральной школы», но цензура, охранявшая благородное сословие офицеров гораздо бдительнее, чем разномастное чернильное воинство, не давала изображать офицеров «в предосудительном виде».

Более того, с 10-х до 30-х годов и в поэзии и в прозе утверждается героизация этого типа. Офицер — душа нараспашку, пьяница и кутила, всегда готовый «протереть глаза» последнему червонцу,— прославляется в стихах Дениса Давыдова, в прозе Марлинского, в произведениях их многочисленных подражателей, в особенности из пишущих офицеров. Вспомним, что уже в 1856 году — значит, за пределами николаевской эпохи — великий Толстой пишет повесть «Два гусара», в которой офицер — грубиян, драчун, картежник, скандалист, дуэлянт и бреттер — поставлен на пьедестал не только потому, что он аристократ, красавец, силач, необычайный танцор, неотразимый очарователь и неотвратимый соблазнитель, но и потому, что ему противопоставлен тип офицера нового поколения, отвратительный своей мелкой расчетливостью, беззастенчивой эксплуатацией людей и бездушной сухостью к ним. Толстой и эпиграф к повести взял из Дениса Давыдова.

Редко в николаевские годы прорывались сквозь цензуру изображения военных кутил в смешном и жалком виде. Так, в повести В. И. Даля «Павел Алексеевич Игривый» (1847) выведены двое пьянчуг-офицеров; один из них женится ради приданого на сестре другого, и оба совместно пропивают и проматывают это приданое. Несмотря на эскизное изображение персонажей и довольно невысокие художественные качества повести в целом, она привела в восторг Белинского, который в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» писал: «К замечательнейшим повестям прошлого года принадлежит «Павел Алексеевич Игривый», повесть г. Даля («Отечественные записки»). Карл Иванович Гонобобель и ротмистр Шилохвостов, как характеры,

как типы, принадлежат к самым мастерским очеркам пера автора. Впрочем, все лица в этой повести очерчены прекрасно, особенно дражайшие родители Любоньки; но молодой Гонобобель и друг его Шилохвостов — создания гениальные. Это типы довольно знакомые многим по действительности, но искусство еще в первый раз воспользовалось ими и передало их на приятное знакомство всему миру» (X, 347—348).

Комментатора Белинского В. С. Спиридонова так поразила эта оценка, что он приписал ее болезненному состоянию Белинского. «Несомненно,— пишет В. С. Спиридонов,— что в последние месяцы жизни, в связи с тяжкой болезнью, Белинский переживал моменты, когда эстетическая проницательность изменяла ему. В один из таких моментов он и мог только героев заурядной повести В. И. Даля признать „созданиями гениальными“».[1] В. С. Спиридонов не учел, насколько важна была для Белинского социально-политическая значимость сатирического показа типов, обрисованных Далем.

В «Прекрасной партии» выведен герой гораздо более высокого социального ранга, чем в повести Даля. Это — гвардейский офицер, представитель столичной знати, наследственный владелец тысячи крестьянских душ. Это тип запретный для сатиры не только в эпоху «цензурного террора», но и в предшествовавшие ей годы. Даже в либеральную эпоху нового царствования цензура не сразу решилась пропустить это произведение в том виде, как оно было написано, и в первой, журнальной, публикации вместо слов:

То был гвардейский офицер,
Воитель черноокий,—

(I, 152)

стояло:

То был усатый кавалер,
Младой и черноокий.

(«Библиотека для чтения», 1856, № 10, с. 199)

Здесь определить принадлежность героя к военному сословию можно было только по усам (в николаевскую пору офицеры, как известно, были обязаны носить усы,

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Л., 1948, т. 13, с. 376.

а штатские должны были брить усы); на принадлежность же героя к гвардии в этом варианте нет и намека.[1]

Стихотворение озаглавлено, как это обычно для «физиологического очерка», по его герою. «Прекрасной партией» герой назван и в тексте стихотворения (стих 223). В то же время стихотворение не является просто «физиологическим очерком» в стихах; оно тяготеет к жанру сатирической поэмы. Герою посвящена лишь одна из четырех главок стихотворения; правда, эта — третья по счету — главка по числу стихов превышает три остальные, взятые вместе. В стихотворении есть не только герой, но и героиня. Главному очерку предшествуют маленькие очерки (мало связанные, правда, с ним и между собою), посвященные отцу героини, ее матери, «тону» их дома (гл. 1) и самой героине (гл. 2); очерк, посвященный герою (гл. 3), прерывается большой вставкой о театре и актрисах, а собственно фабула стихотворения реализуется почти конспективно в двенадцатистрочной последней главке.

Вряд ли такую композицию можно вполне объяснить требованиями особого художественного расчета. Скорее, в ней сказалась известная недоработанность стихотворения, о которой нам оставил свидетельство сам автор. В примечании к первому посмертному изданию стихотворения Некрасова редактор его С. И. Пономарев сообщил, что Некрасов сделал на полях экземпляра предыдущего издания следующую надпись к стихотворению «Памяти Асенковой»: «Это, собственно, эпизод из пьесы «Прекрасная партия», которую писал наскоро для Дружинина, не успел отделать, и она долго валялась».[2]

В стихотворении имеется ряд сюжетных неувязок. Оно начинается характеристикой мелкого чиновника Долгова, учившегося «на медные гроши», не получившего никакого воспитания («не ведал по-французски»), нажившего пятиэтажный дом, преданного страсти к карточной игре. Все это, вплоть до пятиэтажного дома, повторяет характеристику героя сатиры

---

[1] Некрасов заготовил для цензуры и вариант без всякого намека на принадлежность героя к военным; первоначальное чтение в «Солдатенковской рукописи»:

То был развязный кавалер,
Младой и черноокий.

[2] Некрасов Н. А. Стихотворения. СПб., 1879, т. 4, с. XXXIV.

«Чиновник». Вслед за тем дается портрет жены Долгова — тоже типичный, но разительно не соответствующий портрету мужа по своим социальным определениям. Это дама из знатного рода («родство князей»), из очень богатой семьи (ее приданым был целый город), «наклонная к этикету», ведущая дом «под стать большому свету» и настолько дорожащая связями с ним, что добивается от дочери согласия выйти замуж за промотавшегося и истаскавшегося кутилу ради его положения в свете. Но как же и почему сама-то она, такая богатая, знатная и «тонкая», могла в свое время выйти за представителя безмерно более низкой и, в ее глазах, ничтожной и презренной социальной среды? Никакого объяснения этому автор не дает.

Мотивы, по которым мать добивается от Нади брака с «воителем чернооким», в печатном тексте не прояснены; они усматриваются лишь из рукописного варианта стихов 225—228:

Мамаша распевала ей:
«Другая бы гордилась —
Опять войдем в родство князей»,
И Надя покорилась.

(I, 550)

Быстрое, почти без раздумья («Недолго в деве молодой Таилося раздумье») согласие Нади на брак с лощеным пошляком [1] тоже совсем не мотивировано и странно после той характеристики, которая дана Наде во 2-й главе: умная, искренняя, жизнерадостная, любящая чтение, чуткая к красоте и искусству:

Ну, словом: глядя на нее,
Поэт сказал бы с жаром:
«Цвети, цвети, дитя мое!
Ты создана недаром!..»

(I, 152)

Ситуация, при которой такая девушка становится невестой и женой пошлого хлыща, очень характерна для тенденций «натуральной школы», постоянно разрабатывается Тургеневым, Писемским, встречается в дальнейшем и у самого Некрасова; так, в стихотворении «Дешевая покупка» (1861) муж, «грубый невежда»,

---

[1] Тут, впрочем, опять неувязка между этим быстрым согласием и тем, что жених сватался к ней «давно» и «упорно» (стихи 99—100).

В гвардии год прослуживший отечеству,

. . . .

Склонный к разгулу, к игре, к молодечеству,—

(II, 103)

топчет мечты и надежды прекрасной женщины. Но это всегда тема поруганной любви, а в «Прекрасной партии» о любви нет речи; о Наде сказано: «...в сердце береглось у ней Незанятое место». Так основные сюжетные линии стихотворения остаются не мотивированными, не проясненными.

Образ Нади недостаточно определенен не только из-за немотивированной развязки, но и потому, что она последовательно противопоставляется многократно описанным в литературе банальным натурам, прикидывающимся тонкими, чуткими, образованными, глубокими, любящими природу и искусство:

Любила музыку она
Не потому, что в моде;
Не исключительно луна
Ей нравилась в природе...

(I, 151)

Но, несмотря на недоработанность произведения, оно явилось шагом вперед в развитии некрасовской сатиры — и не только как первая сатира на представителей высокопоставленных кругов столичного дворянства. Отчетливее и демонстративнее, чем в прежних произведениях, написанных в жанре стихового очерка или фельетона, Некрасов извлекает комический эффект из контраста «высокого» и «низкого» слога, из диссонанса разных «голосов», ведущих повествование, из применения ритмико-синтаксических формул, не соответствующих эмоциональному ореолу стихотворения. Так, в русской поэзии существует формула распространенного на несколько строф сложноподчиненного предложения, каждая строфа которого (иногда и двустишие или стих) начинается наречием «когда» (или — внутри строфы — заменяющим его союзом «и»), а последняя строфа содержит короткое главное предложение с начальным или подразумеваемым «тогда».

Например, у Пушкина:

Когда, надеждой озаренный,
От рабства пробудился мир
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир,

Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал,—
Тогда, в волненьи бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел.

(«Наполеон»)

Эта формула обычна в одической поэзии, но применяется и в лирике (например, у Лермонтова, в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива...»). В «Прекрасной партии» эта формула использована дважды: в стихах 129—136 и особенно развернуто и эффектно в стихах 185—198:

Когда при тысяче огней
В великолепной зале,
Кумир девиц, гроза мужей,
Он танцовал на бале,

Когда являлся в маскарад
Во всей парадной форме,
Когда садился в первый ряд
И дико хлопал «Норме»,

Когда по Невскому скакал
С усмешкой губ румяных
И кучер бешено кричал
На пару шведок рьяных,—

Никто б, конечно, не узнал
В нем нового Манфреда...

(I, 155)

Стихотворение начинается в пародийно-приподнятом стиле:

У хладных невских берегов,
В туманном Петрограде...

(I, 149)

Не забудем, что в XIX веке название «Петроград» употреблялось только в поэзии и только в «высоком» стиле:

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.

(«Медный всадник»)

Но уже с 3-го стиха «высота» слога снижается и повествование переходит в тон стихового фельетона,

наподобие «Новостей» или «Чиновника», с той разницей, что «голосоведéние» здесь сложнее. Возьмем 2-ю строфу:

Простой и добрый семьянин,
Чиновник непродажный,
Он нажил только дом один —
Но дом пятиэтажный.

(I, 149)

Кто это говорит? С чьей точки зрения чиновник, учившийся «на медные гроши», может стать владельцем пятиэтажного дома, оставаясь «непродажным»? Тут имитируется голос такого же чиновника-обывателя, как и сам описываемый здесь «господин Долгов». Этот обыватель то ли просто лицемерит, то ли, подобно Юсову из «Доходного места», считает, что чиновник, наживший за всю служебную деятельность только один дом, проявил такую умеренность, что его можно считать добродетельным, непродажным человеком.

Тот же голос обывателя слышен в стихах:

Зато господь его взыскал
Своею благодатью.

(I, 150)

В общей тональности стихотворения такие фразы звучат, разумеется, иронически.

Но тут же слышится уже совсем иной голос:

Есть русских множество семей,
Они как будто добры,
Но им у крепостных людей
Считать не стыдно ребры.

(I, 149)

Это уже заведомо голос не обывателя, а автора-антикрепостника.

То же и в описании главного героя,— оно начинается торжественно:

То был гвардейский офицер,
Воитель черноокий.

(I, 152)

Следует панегирическая характеристика:

Был очень тонкого ума,
Воспитан превосходно...

(I, 152)

А далее совсем другая:

Расстроил тысячу крестьян,
Чтоб как-нибудь забыться.
(*I, 156*)

Такая смена голосов, осторожное внедрение подлинной авторской оценки имели цензурное значение. В рапорте П. А. Вяземского министру народного просвещения о сборнике стихотворений Некрасова 1856 года строфа «Есть русских множество семей» и т. д. отмечена в числе таких мест, которые «стоит только прочесть, чтобы убедиться, что допускать их к печати не следовало».[1] Однако такие строфы проходили цензуру в окружении «иноголосых» строф.

Объявив о своем герое, что

Являл он Байрона черты
В характере усталом,—
(*I, 155*)

Некрасов дает ряд характерных штампов вульгарного байронизма: «Но ах! он жизнию скучал», «Давно утратил радость», «Познал тщету надежды», «И рано сердце остудил». И к каждому такому штампу Некрасов подбирает комментирующее (и компрометирующее) его уточнение:

Но ах! он жизнию скучал —
Пока лишь до обеда.

Он в ресторации Дюссо
Давно утратил радость!

С киём и картами в руках
Познал тщету надежды!

И рано сердце остудил
У Кессених в танцклассе!
(*I, 155, 156*)

Герой стихотворения «Чиновник» кратко характеризовался, между прочим, своими театральными вкусами. Еженедельный посетитель Александринского театра, он

Любил пальбу, кровавые сюжеты,
Где при конце карается порок...

---

[1] «Некрасовский сборник», II. М.— Л., 1956, с. 453.

И, слушая скоромные куплеты,
Толкал жену легонько под бочок.

(I, 84—85)

В характеристике героя «Прекрасной партии» его театральные увлечения занимают более значительное место; но замечательно, что пристрастия «воспитанного превосходно» гвардейского офицера ничем не отличаются от пристрастий убогого чиновника «породы семинарской». Гвардеец также

...всему предпочитал
Театр Александринский.

(I, 153)

Обоим героям одинаково милы оба основных жанра тогдашней Александринки — и мелодрама, и водевиль:

И были по сердцу ему
И Кукольник, и Кони.

(I, 153)

И там, и здесь (здесь особенно смело) мелодрама и водевиль как бы объединены в одно какое-то сумбурное представление:

Когда главою помавал,
Как некий древний магик,
И диким зверем завывал
Широкоплечий трагик,

И вдруг влетела, как зефир,
Воздушная Сюзета —
Тогда он забывал весь мир,
Вникая в смысл куплета.

(I, 153)

Замечательна краткая характеристика манеры игры «широкоплечего трагика»; как уже указывалось в литературе, Некрасов имел в виду В. А. Каратыгина.

Марлинский, Кукольник, Каратыгин — вот литературные и театральные любимцы героя. Это имена одного круга. Недаром Белинский говорил: «Г-н Каратыгин — Марлинский сценического искусства» (I, 187). Тургенев в «Воспоминаниях о Белинском» (1869) отнес Каратыгина, вместе с Марлинским, Кукольником, Бенедиктовым, к «ложновеличавой школе» николаевской эпохи,— школе, основой которой было убеждение, «что художеству, что поэзии предстоит быть достойными про-

возвестниками» «величия и силы» российской монархии. «Одновременно с распространением этого убеждения и, быть может, вызванная им, явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском».[1]

«Ложновеличавая школа» — порождение 30-х годов, но и в первой половине 50-х, в застойной атмосфере «лихого семилетия», сохранились те же вкусы: вульгарный романтизм, еще в 30-е годы осмеянный и опозоренный передовой литературой и критикой, потерявший кредит в кругу людей подлинно образованных, сохранял все свое обаяние в придворном кругу, в офицерских казармах лейб-гвардейских полков и в бесчисленных петербургских канцеляриях. Эстетические идеалы вульгарного романтизма оставались нормами официозной эстетики, и это делает понятным то, на первый взгляд странное, явление, что прогрессивная сатира первой половины 50-х годов продолжает упорную борьбу против вульгарного романтизма, казалось бы исчерпавшего себя уже в конце 30-х годов.

В «Прекрасной партии» имена Дюма и Фудра́, Рубини и Беллини, Кукольника и Кони, Марлинского и Каратыгина создают фон, на котором герой показан как представитель определенного социально-культурного слоя. Эти имена компрометируют вкусы героя и сами компрометируются типичным своим поклонником.

19

Видимо, такие произведения, как «Прекрасная партия» или «Филантроп», писались с надеждой на опубликование, хотя оно и откладывалось Некрасовым до лучших времен; «Отрывки из путевых записок графа Гаранского» Некрасов даже в середине 1855 года не включил в составляемый сборник своих стихотворений; в тетради, переданной Некрасовым издателю К. Т. Солдатенкову, это стихотворение имеется, но с указанием: «Не для печати». Лишь в 1856 году, выпуская затянувшийся изданием сборник, Некрасов решился включить в него

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. М.— Л., 1967, т. 14, с. 37—38.

«Отрывки из путевых записок графа Гаранского». Написанное в период жесточайшей реакции, это стихотворение является верным свидетельством того, что Некрасов внутренно не поддался реакции, остался верен идейным установкам Белинского и в трудное время создал произведение более резкое и смелое, чем его сатирические стихотворения, написанные при жизни Белинского, в 40-е годы.

По методу сатирического обличения, по способу ведения повествования «Отрывки из путевых записок графа Гаранского» связаны с такими более ранними произведениями, как «Современная ода», «Нравственный человек». Правда, водевильного тут уже ничего нет, но в основе — все тот же комический «ложный сказ». Вспомним, что в упомянутых стихотворениях повествование ведется от лица героя или «ложного автора»; в том и в другом случае это человек, настолько не понимающий смысла того, о чем он рассказывает, что уже нельзя поверить в возможность такого осознания фактов; читатель воспринимает рассказчика скорее как персонификацию авторской иронии, как нарочито созданную маску псевдоавтора, представляющего себе и оценивающего все навыворот, прямо противоположно подлинному смыслу событий и отношений. Таков и граф Гаранский — наблюдатель, комично не понимающий ничего из того, что он наблюдает.

Можно себе представить владельца крестьянских душ, который, заехав в свое имение, всерьез поверил крикам собранных перед ним мужиков, что они «довольны всем», который воображает, что поставленный им немец-управляющий — «отец и покровитель» для крестьян. Можно себе представить барина, который, проведя всю жизнь за границей, недоумевает, отчего русская сатира не выполняет своего назначения обличать «любителей кнута, поборников тиранства». Но невозможно себе представить помещика, который вообразил бы, что крестьяне, в том числе дети и беременные женщины, работают «чуть не по суткам целым» (I, 161) из жадности, из корысти, а управляющие бьют их нагайками, чтобы внушать им, «что изнурительно излишество в работе». Однако и тут — не просто вывороченная наизнанку иронизирующим автором действительность, здесь есть элемент пародии на сентиментальное изображение отношений господ и крестьян, стандартное для казенных произведений «из сельской жизни». Вспомним

хотя бы прославленного реакционной печатью «крестьянского поэта» Слепушкина:

Тогда и добрый господин по нивам проезжает
И каждого дельца труды сам лично замечает.
«Пора работу окончать; домой ступайте, други,
Вкусите по трудам покой, семейную отраду!» —
Так молвил с лаской господин крестьянам на работе.

(«Пашня») [1]

Когда он проезжал любимыми полями,
Казался краше всех, как розан меж цветами.
Приветно говорил, шутил и всех ласкал,
И взглядом радость он во все сердца вливал.

(«Потеря доброго господина») [2]

Псевдоавтор в «Отрывках» обрисован гораздо более конкретно, чем в «Нравственном человеке» (не говоря уж о «Современной оде»). У него есть фамилия, титул, характерные черты социального типа.

Это русский барин-космополит, постоянно живущий за границей, детски наивный и невежественный во всем, что касается России. С высокомерной смелостью, которую придают ему титул, богатство и сознание своего европейского превосходства над аборигенами его родины, он, пробыв три месяца в России, пишет многотомное сочинение (на французском языке, разумеется), в котором повествует о том, что он наблюдал «в окно своей кареты», и предлагает меры к «развитию моральных сил русского народа и естественных богатств этого государства»,— как значится на титульном листе его книги. В этой книге граф снисходительно отзывается о русском народе и русской природе, оговаривая, что все это не идет в сравнение с Францией, перед которой он благоговеет. Так в творчество Некрасова входит тип дворянина-космополита, проедающего за границей свои помещичьи доходы и относящегося к своей родине в лучшем случае снисходительно.

Некрасов придал своему стихотворению характер отрывка из переводного сочинения настолько искусно, что даже весьма компетентный редактор первого посмертного издания его сочинений С. И. Пономарев не был вполне уверен, что это мистификация. В своем комментарии он пишет: «Несмотря на примечание автора,

---

[1] Слепушкин Ф. Досуги сельского жителя. Ч. I. Спб., 1828, с. 49

[2] Там же, с. 108.

едва ли можно сомневаться в том, что это — оригинальная пьеса, а не перевод».[1] На неуверенность Пономарева в этом вопросе обратил внимание Н. Г. Чернышевский и для полного убеждения рассказал о том, что заглавие сочинения графа Гаранского Некрасов написал по-русски; по его просьбе Чернышевский перевел заглавие на французский язык, а Тургенев внес поправки в перевод.[2]

Неуверенности Пономарева могла способствовать, помимо французского заглавия, некоторая имитация переводного стиля, особенно в начале «Отрывков»: «Русский край оригинальности имеет отпечаток», «Пространства широко раскинутых степей лугами здесь зовут» (как бы перевод фразы, в которой французскими литерами передано русское слово «луга» и объяснено по-французски это специфическое понятие) и т. п.

По сравнению с прежними сатирами Некрасова в «Отрывках из путевых записок графа Гаранского» ново то, что здесь дан уже не образ одного помещика, хотя бы и типичный,— перед нами развернута широкая (хотя и схематическая) картина крепостничества с целым рядом самых ужасных, самых вопиющих помещичьих гнусностей и преступлений.

Разумеется, эта картина совершенно не соответствует представлениям самого графа Гаранского и вызывает его недоверие. Граф Гаранский приводит свой разговор с ямщиком, дополняя его рассказами других крестьян; оскорбленный ими и стремясь усумниться если не в правде, то в типичности рассказанных ему фактов [3], граф Гаранский указывает все же, что подобные рассказы можно услышать от каждого мужика о каждом помещике. В этой части Некрасов заставил зазвучать голос самого народа, сурово обвиняющего своих «лиходеев».

---

[1] Некрасов Н. А. Стихотворения. Спб., 1879, т. 4, с. XXXVI.

[2] См.: Заметки при просмотре «Примечаний» (к стихотворениям Некрасова), помещенных в IV томе «Посмертного издания» его стихотворений. Спб., 1879.— Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1939, т. 1, с. 750.

[3] Прямой полемикой звучат такие слова графа Гаранского о помещиках: «...глядят прилично на предметы. И вряд ли мужиков трактуют как свиней» (I, 97). Ср. в записке А. П. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России» — одном из значительнейших антикрепостнических документов николаевской эпохи: «...большая часть, в полном смысле слова, почитает своих мужиков за животных...».

Отметим, что всей этой части не было в первой публикации сатиры — в издании 1856 года, где отсутствует треть стихотворения (39 стихов из 121), да еще в семи стихах сделаны купюры и изменения. В условиях того времени эта часть была настолько нецензурной, что, быть может, Некрасов даже и не представлял ее в цензуру, отделив четырьмя строками точек стих 83 от стиха 46.

Вот что заставляет нас сделать такое предположение: в «Солдатенковской тетради» стихотворение озаглавлено «Из путевых заметок по России русского барина, долго жившего за границей», в издании же 1856 года оно появилось под заглавием «Отрывки из путевых записок графа Гаранского», сохраняемым и поныне. Между тем это заглавие не соответствует каноническому тексту произведения: ведь это текст связный, без пропусков, его можно назвать «отрывком», но никак не «отрывками»; другое дело — текст прижизненных и вообще дореволюционных изданий: даже в наиболее полных из них купюра в середине стихотворения делит его на два отрывка; в издании же 1856 года оно производит впечатление именно нескольких отрывков. То, что Некрасов сам озаглавил стихотворение применительно к искаженному, а не к полному его тексту, не доказывает ли, что он сам сделал в нем большую купюру, давая его в печать? Отмечу, что в «Солдатенковской тетради» стихи 47—82 отчеркнуты слева карандашом.

После цензурной грозы, разразившейся вслед за выходом издания 1856 года, отчасти из-за публикации данного стихотворения, Некрасов не решился (или не смог) перепечатать его ни во 2-м, ни в 3-м издании (1861 и 1863). В последующих изданиях он печатал стихотворение лишь в приложении, в отделе «Юмористические стихотворения». Однако текст «Отрывков» понемногу восполнялся. Измененные и пропущенные тексты были восстановлены; постепенно появлялись и эпизоды центральной части. В 4-е издание (1864) удалось включить рассказ о барине «с тяжелым кулаком», который «как хватит — год хворай». В 6-м, последнем прижизненном, издании (1873) появился и анекдот о четырех сестрах-барышнях, ежегодно рожающих незаконных детей, прокорм и воспитание которых ложатся на крепостных крестьян. Появились здесь и стихи, лапидарно заключающие народные рассказы про дворян:

Ну, словом, все одно: тот с дворней выезжал
Разбойничать, тот затравил мальчишку...

(I, 162)

Так, кусок за куском, отвоевывал Некрасов у цензуры подлинный текст своего стихотворения, но до конца не восстановил его. Ни в прижизненных, ни в посмертных дореволюционных изданиях нет девяти стихов — «о славной расправе» крестьян с барином, «лакомым» до их жен. Эти девять стихов впервые появились в печати лишь в 1927 году. Царская цензура понимала, какой эпизод в стихотворении является наиболее идеологически веским и политически опасным, и, постепенно пропустив сквозь свои теснины все остальное, не пропустила рассказа об убийстве помещика крестьянами.

Эскизные портреты помещиков, возникающие в беглых крестьянских рассказах и репликах, разнообразны по манере изображения. Гротескно изображение распутных девиц-помещиц, ежегодно рожающих по ребенку; смешно, что их четыре и все четыре грешат так исправно и единодушно, что за восемь лет «тридцать три души прибавилось в именье» (один раз, очевидно, родилась двойня). Мужикам от этого не только «горе» (содержать ребят), но и «смех»: их госпожи вызывают у них презрение. Некрасов стремится не только к моральной компрометации дворян-помещиков, но и к показу того, что «благоговения» перед господами в народе нет, что дворяне могут быть смешны и жалки в глазах своих крестьян.

Мельком, как об обычных делах, рассказывается: «...тот с дворней выезжал Разбойничать, тот затравил мальчишку». В реальности упоминаемых Некрасовым явлений убеждают свидетельства ряда русских писателей, предельно далеких от революционной идеологии.

«Он (помещик Куролесов.— *Б. Б.*) выбрал себе из дворовых и даже из крестьян десятка полтора головорезов, достойных исполнителей его воли, и образовал из них шайку разбойников» (С. Т. Аксаков. «Семейная хроника»).[1]

«Он (помещик Плодомасов.—*Б. Б.*) ⟨...⟩ завел соколиные и псовые охоты с крепостными псарями, сокольничими, стремяными и доезжачими, которые все вместе составляли одну разбойничью ватагу ⟨...⟩; он ездил

---

[1] Аксаков С. Т. Собр. соч. М., 1955, т. 1, с. 121.

с своими охотниками, как настоящий разбойничий атаман» (Н. С. Лесков. «Старые годы в селе Плодомасове»).[1]

Был он — надменный богач,
Жил — азиатским пашой;
Сам и судья и палач,
Ночью езжал на разбой;

И в душегубстве не раз
Был по суду обвинен...
Правда, в то время у нас
Знатному что был закон!

(А. Н. Майков. «Бабушка и внучек») [2]

«...Дворовый мальчик, маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то, играя, камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей ⟨...⟩ «Ату его!» — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!..» [3]

Центральный эпизод, как уже было сказано,— убийство помещика его крепостными. Убийство жестокое: помещик изрублен в куски; но жестокость крестьян не осуждается поэтом. Он целиком на стороне крестьян против их врага: лишь доведенный до отчаяния, может он совершить такой поступок. О другом барине, который «как хватит — год хворай», ямщик, собеседник графа Гаранского, говорит:

...маненичко ретив,
А добрая душа, не тяготит оброком,
Почасту с мужиком и ласков и правдив,
А то скулу свернет, вестимо ненароком!

(I, 162)

Даже по поводу убийства насильника над крепостными женщинами говорится, что народ «сначала потерпел — не всяко лыко в строчку,— а после и того...» (I, 162). Есть пределы,— хочет сказать Некрасов,— за которыми долготерпение народа иссякает.

Вопроса о расправах крестьян с помещиками никто не мог поднимать в ту пору в русской печати. Но существовала зарубежная печать, в которой с каждым годом

---

[1] Лесков Н. С. Собр. соч. М., 1957, т. 3, с. 194—195.
[2] Майков А. Н. Избр. произв. Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1977, с. 314.
[3] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1976, т. 14, с. 221.

сильнее звучал голос Герцена. Все, что Герцен печатал за границей, становилось известным его русским друзьям,— становилось известным в кругу Некрасова и, без сомнения, ему самому. А Герцен в те годы постоянно говорил о расправах крестьян со своими помещиками, видя в этих расправах залог будущей крестьянской революции, неизбежной, по его мнению, если крестьяне не будут освобождены указом правительства или если дворянство добровольно не откажется от власти над «душами» и собственностью крестьян.

Об убийствах помещиков крестьянами Герцен в начале 50-х годов говорит в таких работах, как «О развитии революционных идей в России» (1850), «Русский народ и социализм» (1851), «Русское крепостничество» (1852), «Юрьев день! Юрьев день!» (1853), «Крещеная собственность» (1853). Говорит он, в частности, и об убийствах помещиков за их насилия над крепостными женщинами:

«Половина из помещиков, убиваемых своими крепостными (по статистическим данным, их число простирается от шестидесяти до семидесяти в год), погибает вследствие своих эротических подвигов. Процессы по таким поводам редки; крестьянин знает, что суды не уважат его жалоб; но у него есть топор; он им владеет мастерски и знает это тоже» («Русский народ и социализм»).[1]

Некрасов избирает именно этот типичный вариант — убийство топором,— рассказывая о народной расправе над насильником-барином.

Тема убийства барина появляется в «Отрывках из путевых записок графа Гаранского» впервые. Ранее она возникала лишь как намерение («Вино»), не как свершение. В дальнейшем творчестве Некрасова она встретится не раз, и Некрасов неизменно будет приветствовать народную расправу над помещиком и его приспешниками.

20

Стремясь установить путь развития некрасовской сатиры, исследователь лишен возможности выстроить произведения в единый хронологический ряд и четко показать ее эволюцию. Этому мешает уже то, что Некра-

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1956, т. 7, с. 328.

сов писал свои сатирические стихотворения, прежде всего, в зависимости от цензурных возможностей. Часть стихотворений писалась не для печати, часть — в надежде напечатать их (может быть, с купюрами и переделками), если наступят «лучшие времена». Но были и произведения (очень немногие), которые писались для немедленного опубликования. Такими в эпоху «цензурного террора» могли быть лишь стихотворения, в которых сатира пряталась в обличие юмора. Это были произведения, выполненные в гротескной манере, обычно в форме комического сказа, многообразно используемой в сатире Некрасова,— в частности, когда надо было имитировать «добродушный», безыдейный комизм. К таким гротескным сказовым юморескам принадлежит рассмотренное выше «Мое разочарование», к ним же относится большое юмористическое стихотворение «Признания труженика» или (в другой редакции) «Труженик (Признания новейшего Фальстафа)». Оно было помещено в «Литературном ералаше» — юмористическом прибавлении к «Современнику», появлявшемся в 1854 году при большей части книжек журнала. «Литературный ералаш» заполнялся в основном творениями Козьмы Пруткова и, вероятно, создан был с целью опубликовать его сочинения. «Труженик» был специально написан для «Литературного ералаша» и в его тоне. 16 октября 1854 года Некрасов писал Тургеневу об этом произведении: «...голова моя занята шутовским сочинением, которое мне хочется написать для „Ералаша"» (X, 209). Стихотворение опубликовано в ноябрьской книжке «Современника» того же года, без подписи. В 1857 году Некрасов вновь напечатал его в сборнике «Для легкого чтения», снова без подписи; лишь в оглавлении было указано: «Стихотворение Н.....». Признал его своим Некрасов только в 1874 году, напечатав сильно сокращенный вариант в приложении к собранию своих стихотворений.

«Труженик» — рассказ обжоры о его радостях и печалях. Жизнь героя складывается из гомерических обедов в дворянском клубе и многочасовых предобеденных прогулок, совершаемых вовсе не с целью борьбы с непомерной толщиной, а, напротив, с целью нагулять аппетит, который помог бы сокрушить умопомрачительный обед.

Все в этом рассказе гротескно, безмерно преувеличено; прежде всего подробно описанный обед «труже-

ника», меню которого на данный день составляют «ветчина, копченые сиги, балыки, икорка и селедки», стерляжья уха с кулебякой и «десятком малых пирожков», солонина, ростбиф «весь в гарнире», полдюжины карасей в сметане, телячья почка, девятнадцать жареных дроздов, форма крема, чашка кофе и коньяк.

Раблезианское описание обжорства как одной из животных страстей, препятствующих развитию мысли, сознания, характерно для просветительской сатиры вообще, в том числе и для революционно-демократической сатиры.[1] Безмерное жранье, соединенное с полным бездельем, на всем протяжении своего сатирического творчества бичует Салтыков-Щедрин, постоянно прибегая при этом к гиперболе, к гротеску. Вот, например, описание типичного для провинциального дворянина завтрака: «В восемь часов пробуждение и затем, до девяти, чай с булками, маслом и вчерашним жарким; нередко, однако ж не каждодневно,— умывание. От девяти до одиннадцати домашние исправительные наказания, прогулка по комнатам, посвистывание, хлопанье себя по бедрам и так называемая еда пóходя, с прикладываньем к графинчику. В одиннадцать часов настоящий завтрак с водкой, причем съедается какое-нибудь мелкое животное или большая птица. От двенадцати до трех визиты или, лучше сказать, непрерывное закусывание в разных домах. В три — обед с водкой и наливкой, а у чиновников и с французским вином; причем съедается несколько больших и малых животных и в соразмерности рыб и птиц. В четыре часа — осовение, продолжающееся до шести и прерываемое употреблением впросонках квасу. В шесть — тоска, излечиваемая рюмкой водки. От семи до осьми чай с булками и давешним жарким. В восемь — игра в карты, а так как, в той же комнате, на особом столе, всегда находится приготовленная закуска, то пользование и ею. В одиннадцать — ужин и затем сон».[2]

Щедринские обжоры — не просто обжоры: это фанатики культа еды, которой посвящены все их помыслы,

[1] Добролюбов цитирует начало и конец «Труженика» в статье «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью», говоря об уродливых нарушениях «естественного гармонического развития всего организма и правильного совершения всех его отправлений» (Собр. соч. М.— Л., 1962, т. 2, с. 430).

[2] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. М., 1969, т. 7, с. 385—386.

вожделения и старания. «В П. вас сразу ошибает запах еды, и вы делаетесь невольно поборником какой-то особенной религии, которую можно назвать религией еды. Но когда корнет Шилохвостов расскажет вам, что он налима, предназначенного для ухи, предварительно сечет, дабы печень его от огорчения увеличилась, что он индейке, предназначенной для жаркого, предварительно зашивает проход, дабы возбудить в ней нестерпимую жажду, которая тут же и удовлетворяется цельным молоком, и когда он и этого страдальца налима и эту страдалицу индейку подает вам за обедом — клянусь, вы не выдержите и скажете: „Мамон, я твой! я твой — навсегда!»[1]

И герой Некрасова — служитель культа еды, в которой он видит единственную цель, смысл и счастье жизни:

Ах, поверьте! счастие не в том,
Чтоб блистать чинами и умом,—
Наше счастье бродит меж холмами
В бурой шкуре, с дюжими рогами!..

(I, 556)

Еда поглощает всю его душевную жизнь; и, когда он не ест, он мечтает о еде:

То и знай справляюсь я с часами,
Услаждаясь вкусными мечтами
О хороших яствах и о том,
Что дадут сегодня за столом.

(I, 555)

«Общечеловеческий» характер моральных оценок не мешал революционным просветителям направлять огонь своей сатиры против определенных классов общества. И у Щедрина, и у Некрасова обжора — это богатый дворянин, пристрастившийся к еде от безделья, невежества, внутренней пустоты. Стихотворение Некрасова написано в ту пору, когда создавался «Обломов». Для героя этого романа также характерны не только любовь к еде, но и культ еды. Идеал его жизни, отстоявшийся в многолетних грезах,— это, прежде всего, идеал лакомки. Рисуя перед Штольцем картину жизни, о которой он мечтает, Обломов более всего смакует наслаждение едой. Гастрономические радости в обло-

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. М., 1971, т. 11, с. 503—504.

мовской утопии — на первом плане. «Какой чай! Какое покойное кресло! Сажусь около стола; на нем сухари, сливки, свежее масло ⟨...⟩ Потом можно зайти в оранжерею ⟨...⟩, посмотреть персики, виноград ⟨...⟩, сказать, что подать к столу, потом воротиться, слегка позавтракать и ждать гостей ⟨...⟩. А тут ⟨...⟩ то прислали ананас в подарок, или у самого в парнике созрел чудовищный арбуз ⟨...⟩. А на кухне в это время так и кипит ⟨...⟩. До обеда приятно заглянуть в кухню, открыть кастрюлю, понюхать, посмотреть, как сверкают пирожки, сбивают сливки ⟨...⟩. После обеда мокка, гаванна на террасе ⟨...⟩. Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в березовую рощу, а не то как в поле, на скошенную траву, разостлали бы между стогами ковры и так блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса... Пора домой. В доме уж засветились огни; на кухне стучат в пятеро ножей: сковорода грибов, котлеты, ягоды...» [1]

Ничем не занятый, ничего не делающий герой «Признаний труженика» гордится своей «безвредностью» и уверяет в своей кротости, дважды повторяя:

...Я кроткий человек,
Я собаки в жизни не посек!

(I, 553)

Но безвредность тунеядца отрицается тем самым сравнением, которым он стремится подкрепить ее:

Я горжуся тем, что я безвреден...
Так хранит непроходимый бор
Никому не вредный мухомор
В глубине своей...

(I, 553)

Мухомор, на который никто не набредает, никому поэтому не опасен; но все же это ядовитый гриб. Кротость же «доброго барина» не освобождает его от боязни погибнуть от рук своих крепостных. Этот запретнейший мотив антикрепостнической литературы Некрасов вводит осторожным, но недвусмысленным намеком:

Адски глуп и копотлив Протас:
Одевает часто целый час,

---

[1] Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1953, т. 4, с. 184—186.

Да зато повязывать мне шею
Допускать его я не робею:
Предан мне...

(I, 554)

Без последних двух слов можно было бы думать, что мучимый удушьем апоплексический толстяк боится доверить свою шею недостаточно ловкому камердинеру; но нет, он боится недостаточно преданного «человека». Этот намек в особенности присоединяет как будто невинное стихотворение о добром обжоре к циклу антидворянских сатир Некрасова.

«Труженик» замечателен еще тем, что в нем впервые появляется тема Английского клуба, впоследствии столь видная в сатирическом творчестве Некрасова.

В 1854 году Некрасов стал членом Английского клуба. Здесь он получил полную возможность наблюдать представителей столичной аристократии и высшей бюрократии.[1] Очевидно, «лакировочным» было бы утверждение, что Некрасов добился приема в члены клуба не для того, чтобы играть там в карты и участвовать в знаменитых клубных обедах, а с заранее обдуманным намерением изучить своих соклубников на предмет обличения и бичевания. И все же мы вправе отметить, что «клубная» тема появляется в сатире Некрасова удивительно скоро, через несколько месяцев после того, как он впервые переступил порог клуба. Летом 1854 года он пишет, совместно с Тургеневым и Дружининым, стихотворное «Послание к Лонгинову», состоящее, главным образом, из характеристик членов петербургского Английского клуба. Адресат послания М. Н. Лонгинов, переселившийся в мае 1854 года из Петербурга в Москву, изображен в «газетной комнате» московского Английского клуба «с разбухшим животом», «в кругу обжорливых и вялых стариков», поджидавших «вечерней трапезы уныло» (I, 426). А в октябре того же года Некрасов создает «Труженика».

---

[1] Попасть в члены «Санкт-Петербургского английского собрания» было настолько трудно, что министры князь Чернышев и граф Клейнмихель так и умерли, не добившись этой чести. Правда, в 1853 г. число членов клуба было увеличено с 350 до 400, и это, видимо, и дало возможность в 1853—1854 гг. проникнуть в клуб и Некрасову, и ряду его друзей и знакомых (И. И. Панаев, В. А. и Н. А. Милютины, З. Н. Мухортов, Д. А. Оболенский, Н. А. Краснокутский и др.). Но и в 50-х гг. насчитывалось около тысячи кандидатов в члены клуба, которые в порядке «старшинства» занимали открывавшиеся вакансии.

Разрешим, кстати, вопрос о том, петербургский или московский клуб имеется в виду в стихотворении. Дело в том, что в первой публикации (1854) действие происходит в Москве, во второй (1857) — в Петербурге; в окончательной редакции (1874) те строки, по которым можно судить о месте действия, убраны. К. И. Чуковский называет первопечатную редакцию «первой», «первоначальной», а редакцию, напечатанную в 1857 году, «второй», «переделанной» (I, 610).

Вопрос этот, конечно, не имеет большого значения, но все же установить последовательность редакций любого из стихотворений Некрасова — дело нелишнее; установление того, что Некрасов первоначально писал о Петербурге, а затем, по побочным соображениям, перенес действие в Москву, подтверждает непосредственную связь стихотворения с клубными впечатлениями Некрасова. Для доказательства нашей мысли проанализируем незначительные разночтения публикаций 1854-го и 1857 годов.

Стих 2 в публикации «Современника» (1854, № 11) читается:

В час, как по Кузнецкому гуляю...

В публикации 1857 года:

В час, когда по Невскому гуляю...
(I, 552)

Первое чтение крайне неблагозвучно. «Как» в нем поставлено вместо естественного «когда». «Кузнецкий» не является бытовым сокращением названия «Кузнецкий мост» (как «Невский» — названия «Невский проспект»). Кузнецкий мост был улицей модных лавок, но не традиционным местом прогулок, как Невский; москвичи гуляли по широким бульварам, а не по этой узкой улице. Все указывает на то, что в публикации 1854 года перед нами не текст, свободно вылившийся из-под пера поэта, а нарочитая пригонка. Такое же впечатление оставляет и второе разночтение, связанное с изменением места действия.

В публикации 1854 года стихи 235—238 читаются:

Но я слаб — заметить вы могли,—
На чугунке устриц привезли,

И рассудок был обезоружен,
Сокрушил я надлежащий ужин.

В публикации 1857 года:

Но я слаб, я человек... увы!
Привезли белугу из Москвы,

И рассудок был обезоружен,
Сокрушил я самый плотный ужин.

(I, 559)

Конечно, для «самого плотного ужина» гораздо больше подходит колоссальная рыба белуга, чем устрицы. Правда, в публикации 1854 года вместо «самый плотный» стоит невыразительное «надлежащий», но соотносительное слово «сокрушил» осталось.

В публикации 1857 года имеются следующие строки, отсутствующие в публикации 1854 года:

Не люблю тартюфов и ханжей,
Презираю снобов и хлыщей.

(Неспособный к внешнему эффекту),
Не брожу по Невскому проспекту

При коварном свете фонарей
(По причине тучности моей).

Предаваясь благородной лени,
Не пишу снотворных сочинений.

(I, 553)

Маловероятно, чтобы эти строки Некрасов, подготовляя новую публикацию стихотворения через три года после первой, вписал в стихотворение, и без того достаточно «болтливое», впоследствии сурово сокращенное. Гораздо вероятнее, что он **исключил** эти стихи, перенося действие из Петербурга в Москву и не найдя в данном случае замены для Невского проспекта; два последних стиха сняты, в этом случае, по требованию размера (чередование двустиший с мужскими и женскими клаузулами).

Наш анализ приводит к заключению, что **первоначальной** является редакция, напечатанная в 1857 году, в 1854-м же Некрасов напечатал **обработку** только что написанного стихотворения, сделанную в целях замены Петербурга Москвой. Вероятно, в ту пору Некрасов не

хотел в произведении, напечатанном в его журнале (хотя и без его подписи), смеяться над обществом, в которое он недавно был введен, чтобы не дать его влиятельным членам основания для обиды.

А. М. Гаркави также думает, что первоначальной редакцией «Труженика» является вторая по времени опубликования, но эту мысль он не аргументирует и вряд ли основательно подозревает здесь цензурные соображения. «Полагаем,— пишет он,— что Некрасов писал именно о Петербурге и именно о петербургском Английском клубе, но в 1854 году из цензурных соображений заменил Невский проспект Кузнецким мостом, Петербург — Москвой» [1].

К. И. Чуковский категорически отвергает свидетельство П. А. Ефремова, который «почему-то утверждал, что в образе «труженика» Некрасов вывел П. В. Анненкова.[2] Это неверно,— пишет К. И. Чуковский.— Анненков не был так чудовищно толст и вообще нисколько не соответствовал лицу, изображенному в «шутовском сочинении» Некрасова» (1, 586).

Аргументация К. И. Чуковского представляется мне неубедительной. Никакой прототип, конечно, не мог быть «так чудовищно толст», как изображенный в сатире «труженик»; манера сатирического гротеска вообще исключает возможность полного бытового соответствия его персонажей реальным лицам; но это вовсе не значит, что у этих персонажей не может быть прототипов. Даже в таких произведениях, в которых гротеск граничит с прямой фантастикой, возможно использование прототипов. Трудно себе представить, чтобы герои «Старой помпадурши» или градоначальник с фаршированной головой писались с каких-то реальных лиц; между тем из собственных указаний Салтыкова или бесспорных свидетельств мемуаристов мы знаем, что такими лицами были в первом случае рязанский губернатор Стремоухов, во втором — тульский губернатор Шидловский, хотя, конечно, узнать этих прототипов в сатирических образах Щедрина было бы невозможно. Так же невозможно, за отсутствием свидетельств, подтверждающих указание Ефремова, установить, был или не был

---

[1] Гаркави А. М. Разыскания о Н. А. Некрасове.— Уч. зап. Калинингр. гос. пед. ин-та. Вып. 9, 1961, с. 44.

[2] См.: Доклады и отчеты Русского библиологического общества, Пб., 1908, т. I, с. 13.

Анненков прототипом некрасовского героя. Но любопытно, что в «Послании к Лонгинову» упоминается (в связи с Английским клубом) живот Анненкова, которым тот «весело виляет» (I, 517), а в написанном через год с небольшим — тоже коллективном — стихотворении об Анненкове прямо говорится:

Что только к собственному брюху
Он уважение питал,—

и

Хоть налегает он сугубо
На кухню Английского клуба...[1]

(1, 519)

«Сугубо» — очевидно, в сравнении с другими членами клуба, среди которых было немало знаменитых обжор.[2] «Весьма полным и охотником покушать» рисуют Анненкова мемуары,[3] толстяком изображают карикатуры.[4]

Тургенев постоянно обращается к Анненкову со словами: «толстый друг мой», «толстый человек», «милый толстяк», «Идеалист с широким пузом, Ростбифа неуклонный жрец», «милый мой гиппопотамчик».[5] Последнее выражение уже прямо перекликается со стихом из «Труженика»:

«Полюбуйтесь сим гиппопотамом!»

(1, 555)

---

[1] Вариант:

Уничтожает он сугубо
Все блюда Английского клуба

(1, 508)

[2] М. Н. Лонгинов, вспоминая об этой поре, пишет: «...между членами было множество гастрономов. Было несколько собственно так называемых «едоков» весьма замечательных» (М. Л. Воспоминания.— В кн.: Столетие С.-Петербургского Английского собрания. 1770—1870. СПб., 1870, с. 29). А В. А. Инсарский о самом Лонгинове той поры пишет: «В то время он имел вид барабана и по внешности, и по внутреннему содержанию. Толстый, шарообразный...» (Инсарский В. А. Записки. Ч. 2. Спб., 1898, с. 292).

[3] Фет А. Мои воспоминания. Ч. 1. М., 1890, с. 39.

[4] См. «проэкт фигуры Анненкова» в письме Тургенева к Дружинину от 10 октября 1858 г. Воспроизведен в изд.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. М.— Л., 1961, т. 3, с. 241.

[5] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. М.— Л., 1961, Письма, т. 2, с. 116; т. 3, с. 74, 88, 72, 110.

Тургенев подтрунивает над Анненковым как заведомым лакомкой. В письмах к Анненкову и об Анненкове постоянно упоминается и «кухня Английского клуба».[1] Например, Тургенев пишет Анненкову: «Но, крепкий дуб! берегитесь опасного, долбящего дятла, прозываемого кондрашкой! А живет этот дятел на кухне Английского клуба».[2] Ср. опять-таки в «Труженике»:

Да грозит чудовище Кондрашка...
(I, 554)

«Так его Кондрат таки прихлопнул?»
— «Я дивлюсь, как он давно не лопнул...»
(I, 558)

В дружеском кругу «Современника» образ Анненкова вызывает, можно сказать, обязательную ассоциацию с животом и с обедами Английского клуба. Тургенев в письме к нему сравнивает известное «обязательное соглашение» сотрудников «Современника» со «здоровым ветром, пущенным крепким и усердным животом после могущественного обеда в Английском клубе».[3] «Наш добрый здоров,— пишет Некрасов Тургеневу,— но вот чудо! Из-за обеда в клубе он ныне постоянно высказывает после третьего блюда, желудок ему изменил»[4] (10, 375).

Если Ефремов прав и Некрасов, сочиняя «Труженика», думал об Анненкове, это значит, что для Некрасова «Труженик» был шагом на неосознанном пока

---

[1] Там же, т. 2, с. 172, 175; т. 3, с. 74,

[2] Там же, т. 3, с. 109.

[3] Там же, т. 3, с. 73.

[4] Ср. аргументы А. М. Гаркави, который так же, как и я, склонен доверять указанию П. А. Ефремова. Однако не все его аргументы кажутся мне приемлемыми. Так, А. М. Гаркави пишет: «В тексте, который был помещен в сборнике «Для легкого чтения», содержалось и указание на прикосновенность «труженика» к литературным занятиям:

Предаваясь благородной лени,
Не пишу снотворных сочинений.

В этих стихах, видимо, содержался намек на бездарные, «снотворные» произведения, которые Анненков написал в конце 1840-х годов — повести „Кирюша“ и „Она погибнет“» (Гаркави А. М. Разыскания о Н. А. Некрасове.— Уч. зап. Калинингр. гос. пед. ин-та. Вып. 9, 1961, с. 44). Полагаю, что цитированные стихи прямо и недвусмысленно говорят как раз о непричастности «труженика» к литературным занятиям.

пути к разрыву со своим окружением, с либералами типа Анненкова, Боткина, Дружинина, ударившимися в эти годы в гедонизм, органическими элементами которого были и гурманство, и эстетство, и эротика.

Как известно, тема Английского клуба стала особенно значимой в сатирическом творчестве Некрасова 60-х годов, когда была задумана большая поэма об Английском клубе, осуществленная лишь частично в «Газетной» (1865) и «Недавнем времени» (1871). Теме клубного обжорства здесь отдана немалая дань, да и вне этих сатир тема гомерического обжорства ассоциируется в стихах Некрасова с клубом, например:

Генерал Федор Карлыч фон Штубе,
Десятипудовой генерал,
Скушал четверть телятины в клубе,
Крикнул «пас!» — и со стула не встал!

(II, 179)

В этой связи интересна та переработка «Труженика», которую Некрасов произвел для издания 1874 года. Он превратил это стихотворение в отрывок, выдвинув в нем клубную тему, которая в ранней редакции являлась лишь фоном гастрономических похождений героя. Некрасов совсем отбросил вторую часть стихотворения (стихи 137—266), содержащую описание обеда; первую же часть, посвященную в основном предобеденной прогулке героя, сильно сократил, оставив 88 строк из 136. В этой редакции стихотворение кончается апофеозом клуба, перенесенным из первой редакции без всяких изменений. Все это особенно выдвигает в новой редакции тему клуба и тем самым вводит стихотворение в цикл клубных сатир.

Мы видели, что в течение десятилетия, с 1846 по 1855 год, Некрасов преследовал своей сатирой «первое сословие империи», чередуя сатирический показ рядовых помещиков с обличением различных типов высокопоставленных и высокообразованных дворян.

Обличение буржуазии почти совсем оставлено: на эту тему за все указанные годы Некрасов написал лишь одно стихотворение — «Секрет», которое вряд ли можно причислить к значительным творческим удачам поэта: написалось оно не сразу, менялся его замысел, и на стихотворении лежит печать некоторой нестройности.

Подзаголовок стихотворения — «Опыт современной баллады» — заставляет вспомнить стихотворение 1845

года «Современная ода». Речь здесь и там идет об одном типе: о человеке из «податного сословия», пробравшемся темными путями к богатству. Но теперь речь идет не об одном из низовых богачей, ничего не жалеющих для того, чтобы «в дружбу к сильному влезть»; герой «Секрета» сам «сделался важной персоною», влиятельным лицом, миллионером, кавалером высокого ордена, потомственным дворянином (по этому ордену). И о темных и преступных путях наживы повествуется гораздо более резко, чем в «Современной оде», правда лишь в окончательном тексте «Секрета».

Стихотворение напечатано Некрасовым с датой «1846», и возможно, что к этому году относятся три строфы, опубликованные под заглавием «Великий человек» в 1851 году в «Заметках и размышлениях Нового поэта»:

Огни зажигались вечерние,
Выл ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил.

В руках была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,
На плечах шубенка овчинная,
В кармане пятнадцать грошей.

Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
Да сорок лет минуло времени —
В кармане моем миллион!

(1, 152—153)

Эти три строфы как бы перефразируют (что нередко бывало у Некрасова в 40—50-е годы) прозаический текст его нравоописательного фельетона 1844 года «Черты из характеристики петербургского народонаселения»:

«...в Петербурге (и вообще в России) несравненно более, чем где бы то ни было, купцов-капиталистов, возникающих нежданно-негаданно из людей беднейшего и, большею частию, низкого класса. Как это делается, объяснять не будем, но только такие явления у нас очень нередки. Без сведений, без образованности, часто даже без познания начальной грамоты и счисления, приходит иной русский мужичок, в лаптях, с котомкою за плечьми, заключающею в себе несколько рубах да три медные гривны, оставшиеся от дорожных расходов, в «Питер»

попытать счастия. В течение многих лет исправляет он самые тяжелые, черные работы, бегает на посылках у первого встречного, за все берется, везде услуживает, замечает, соображает, смекает, и — глядишь — через двадцать—тридцать лет делается первостатейным купцом, заводит фабрики, ворочает мильонами, поит и кормит тех, перед которыми во время óно сжимался в ничто, и запанибрата рассуждает с ними о том, как двадцать лет назад босиком бегал по морозцу и ел черствый сухарь... Конечно, такие явления бывают и в других землях, но в России они возможнее, потому и повторяются, как мы уже сказали, довольно часто. «Почему возможнее?» — спросите вы. „Потому,— говорит т. Башуцкий,— что русские одарены чрезвычайными способностями: им даны вполне сообразительность и расчетливость, которые необходимы торговцу; они постоянны в действиях, упорны в достижении предназначенной цели и богаты уменьем жить малым и пользоваться счастливым стечением обстоятельств“» (V, 481).

В тексте фельетона нет никаких признаков осуждения миллионера; напротив, Некрасов как будто солидаризируется с благонамеренной книгой А. П. Башуцкого «Панорама Петербурга» (1834—1835), согласно которой бедняки становятся миллионерами только благодаря собственным талантам, настойчивости, самоограничению и другим добродетелям.[1] В тексте стихотворного отрывка о причинах превращения бедняка в миллионера ничего не говорится.

Следующий этап творческой истории «Секрета» зафиксирован в рукописи 1855 года. Здесь три ранее созданные строфы продолжены тремя строфами, в которых герой описывает свое высокое общественное положение, а затем — в последней строфе — объявляет «детуш-

---

[1] Аналогично в тексте романа «Три страны света» (1848): «Бывают же примеры и у нас, что человек, не имевший гроша, через десять—двадцать лет ворочает сотнями тысяч; а отчего? он отказывает себе во всем, отказывается от всего ⟨...⟩. «Счастье!» — говорим мы, когда такой человек наконец воротится к нам с миллионом. А многие без дальних справок просто пожалуют его в плуты... Не все наживаются плутнями, и решительно никто не наживался без долгого, упорного, самоотверженного труда ⟨...⟩, все они без образования, даже часто без сведений, необходимых в том деле, которому они посвятили себя. Врожденный ум, инстинкт — скорее: железная настойчивость, постепенно приобретаемый опыт, русская сметливость да русское авось — вот единственные их руководители» (7, 31—32).

кам», что смерть его близка и сейчас он откроет им свой «великий секрет». Последняя строфа превращает, таким образом, сказовый монолог героя в предсмертную исповедь, что мало соответствует эпической, неторопливой манере начальных строф его рассказа.

Затем (под цифрой II) дается — уже иным размером (дактилические нечетные рифмы заменяются женскими) — краткая развязка: старик не успел рассказать своего секрета, упав бездыханным; «Но, видно, секрет был угадан»: дети на глазах умирающего отца подбирают ключи к его шкатулке и начинают драться из-за наследства.

Далее пишется вступительная главка, содержащая в основном яркое описание барского дома с гербами и львами, купленного купцом и занятого бойнями и лабазом. В конце этой главки вводится тема умирающего хозяина дома и его предсмертной исповеди.

Всеми почитаемый миллионер, «друг сирот», пример нравственной жизни, оказывается вором и негодяем:

Квартиру я нанял у дворника,
Дрова к постояльцам таскал;
Подбился я к дочери шорника
И с нею отца обокрал;

Потом и ее, бестолковую,
За нужное счел обокрасть
И в практику бросился новую —
Запрегся в питейную часть.

(I, 193—194)

Эти две строфы сатирически заостряют стихотворение, проясняют его социальный смысл, но написаны они схематично и небрежно. Бедняк, пришедший в город с пятнадцатью грошами в кармане, мог нанять не «квартиру», а разве угол; и, если он носил дрова жильцам, значит, он не нанял у дворника помещение, а сам нанялся к нему в помощники. Выражения «за нужное счел обокрасть», «запрегся в питейную часть» (то есть стал откупщиком) своей игривостью не соответствуют тону предсмертной исповеди. Интересно, что Некрасов, введя эти строки, забыл изменить стих 57: «Но, видно, секрет был угадан» (I, 154), хотя в этой редакции секрет уже не нужно угадывать: он рассказан.

Как бы то ни было, крупнейший богач, столп обще-

ства заклеймен Некрасовым в этой сатире как лицемерный и грязный преступник. «Секрет» предвещает галерею преступных капиталистов в последней сатире Некрасова «Современники».

В ближайшие за рассматриваемой эпохой годы сатира Некрасова отчасти продолжит линию антидворянских и антилиберальных произведений («Забытая деревня», «Княгиня», «Рыцарь на час», «Медвежья охота» и др.) и в особенности использует темы и методы сатирических очерков петербургского быта, описания небольших сцен уличной и публичной жизни столицы.

Линию городских сценок, маленьких уличных происшествий начинает в сатирической поэзии Некрасова стихотворение «Вор» (из цикла «На улице»), впервые напечатанное в собрании стихотворений 1856 года, но предположительно датируемое значительно более ранним временем (1850). Происшествие в стихотворении описано незамысловатое: молодой человек стащил с лотка калач, его поймали и отправили в участок. Сходное событие первоначально описано в прозе. В романе «Три страны света» читаем: «...в ту минуту хозяину воза, у которого он стоял, с соседних возов крикнуло несколько голосов: «Гляди! вон, гляди — утащил!» Граблин вздрогнул и побледнел. Мужик бросился и вмиг вцепился в похитителя с криком «отдай!». Граблин всматривался в наружность пойманного, оторопевшего от страха и стыда и трепетавшего в дюжих руках мужика. Он был очень молод.

— Отдай, говорю! — кричал мужик, тряся за грудь пойманного, а между тем приискивал кого-то глазами, озираясь на обступившую толпу, в которой раздавалось: — Мазурик! мазурик!

— Что тут такое? — раздалось из-за толпы; и в предчувствии скорой развязки толпа радостно раздвинулась, дав дорогу полицейскому солдату.

Улика действительно оказалась налицо, и вора связали. Его бледное лицо, дрожащие губы и вырвавшийся тяжелый вздох окончательно успокоили толпу, что порок будет наказан» (7, 784).

В стихах примерно та же ситуация, но еще яснее показано, что причина кражи — мучительный голод, что бесчеловечно карать измученного, обнищавшего человека за такую кражу. Если в прозаической сцене украдено что-то с воза, на котором были гуси, тетерки, говя-

дина, то в стихотворной — и ценность украденного ничтожна.[1]

В «Трех странах света» эпизод описан не в сатирическом тоне, только в конце его слышится ирония по адресу толпы, радующейся, что «порок будет наказан». В «Воре» сатирически описан и торговец, поднимающий «вой и плач» из-за калача, и городовой, действующий так обстоятельно и «торжественно», словно совершилось ужасное преступление, но объектом сатиры, как и в ряде других стихотворений Некрасова 40—50-х годов (например, в «Современной оде», в «Отрывках из путевых записок графа Гаранского»), являются не только те, о ком ведется повествование, но и сам рассказчик, ведущий это повествование. Происшествие описано от лица состоятельного барина, который накануне стал его случайным свидетелем.

Исследованию повествовательной структуры стихотворения «Вор» посвящена главка в интересной статье Б. О. Кормана «Многоголосье в лирике Н. А. Некрасова».[2] Исследователь тонко почувствовал, что в средней части стихотворения словно бы слышится голос самого автора. Нам уже приходилось отмечать в сатирических стихотворениях Некрасова, написанных от лица «повествователя», известную условность его облика. Но Б. О. Корман формулирует свое наблюдение иначе: он разбивает стихотворение на части, написанные от лица повествователя и от лица подлинного автора, утверждая, что стихотворение только «начинается и заканчивается как рассказ «барина», в средней же части повествование как бы перенимает у него подлинный автор: «Так увидеть бедняка может лишь его брат, друг, тот, кто сам знал голод и отчаяние нищеты, тот, кого вид окруженного толпой, затравленного, разутого и раздетого горемыки пронизает невыносимой болью». Между тем «барин-рассказчик», по мнению Б. О. Кормана, относится к увиденному лишь с «барственной брезгли-

[1] Любопытно, что и мотив похищения калача у Некрасова сперва появляется в прозе — в «юмористическом» фельетоне 1845 г. «Записки Пружинина»: «Дешева, да зато скучновата жизнь в провинции!.. Пожил два-три дня — глядь, уж все лица знакомые: городничий идет к судье водки выпить, калашник бьет мальчишку за то, что тот у него с прилавка калач стащил, а мужичина стоит со стаканом горячего сбитня и ухмыляется» (5, 532).

[2] Уч. зап. Борисоглебского гос. пед. ин-та. Вып. 4, 1958, с. 99—126. Ниже цитируется гл. VII этой работы (с. 117—119).

востью»: «Происходящее — низкий жанр, подлая проза, достойная снисходительной усмешки».

«Итак, в стихотворении происходит смена точек зрения, смена субъекта, изменение субъективной сферы: брезгливо-высокомерный голос барина, спешащего на пир, сменяется взволнованным голосом автора — поэта-гуманиста, потрясенного видом затравленного бедняка; а затем — вновь — слышен голос барина, для которого все, что произошло, хоть и занятное происшествие, но — нечего долго задерживаться:

Я крикнул кучеру: „Пошел своей дорогой!"»

Б. О. Корман предвидит возражение, состоящее в том, что при такой «смене субъектных планов» стихотворение «рассыпается на самостоятельные части, соответствующие каждой из самостоятельных точек зрения». Исследователь утверждает, что стихотворение тем не менее едино, так как единство его создается: 1) «единством события» (то есть тем, что повествователь и автор видят одно и то же, говорят об одном и том же событии); 2) «единой субъективной измеренностью времени» (весь рассказ о событии принадлежит «барину-рассказчику», а описание «вора» — «автору-гуманисту», но это описание приурочено к тому моменту, «когда барин-рассказчик остановил глаза на воре»); 3) «нерезкостью переходов от одной субъектной сферы к другой. Места соприкосновения сфер образовали пограничные полосы, которые играют разными красками в зависимости от того, в связи с какой — четко определенной субъектно — частью мы их будем рассматривать. Ирония, звучащая в стихах:

Торгаш, у коего украден был калач,
Вздрогнув и побледнев, вдруг поднял вой и плач,—

как уже указывалось выше, выражает брезгливо-пренебрежительное отношение «барина» к прозе жизни. Но ирония может быть воспринята как выражение сочувствия автора герою, которого преследует «торгаш» и травит толпа.

Ироническое:

По пунктам отобрал допрос отменно строгий...—

может восприниматься и как окончание отрывка, соответствующего точке зрения автора-гуманиста (насмешка над возмутительной процедурой допроса), и как начало отрывка, соответствующего точке зрения барина, которого забавляет эффект от перевода низкого события в высокий план».

Эти аргументы представляются мне неубедительными. В двух первых речь идет о единстве сюжета, но не о единстве лирического «я», при сломе которого ломается и единство стихотворения. Третий же представляет собой, в сущности, отступление от собственных положений исследователя: оказывается, что «четко определены субъектно» как повествование барина лишь два начальных и три конечных стиха, где подлежащим служит местоимение «я» и речь идет лишь об обстоятельствах, при которых барин увидел происшествие; в рассказе же о самом событии безусловно принадлежат «автору-гуманисту» лишь четыре стиха:

Закушенный калач дрожал в его руке;
Он был без сапогов, в дырявом сюртуке;
Лицо являло след недавнего недуга,
Стыда, отчаянья, моленья и испуга...—

(I, 129)

а остальные семь стихов (3—6 и 11—13) попадают в «пограничные полосы» и могут восприниматься и как голос автора, и как голос рассказчика. Что же это за разграничение субъектных сфер? Не правильнее ли сказать, что в стихотворении слышен голос автора, но слышен сквозь голос повествователя, а не вместо него, не сменяя его?

Наблюдения Б. О. Кормана ведут, я полагаю, лишь к следующему выводу: Некрасов влагает в уста рассказчика такое описание «вора», которое говорит о чувствах поэта и должно возбудить в читателе горячую эмоцию сочувствия к терзаемому бедняку. Но это описание (в только что цитированных четырех стихах) дано без всякого эмоционального комментария и поэтому вполне может принадлежать барину-повествователю.

Представляется в связи с этим, что и образ этого барина охарактеризован Б. О. Корманом не вполне правильно. Эпитет «безобразная», примененный рассказчиком к увиденной сцене, Б. О. Корман толкует как «оскорбляющий эстетическое чувство». «Происходящее,— продолжает он,— низкий жанр, подлая проза,

достойная снисходительной усмешки». Однако будь это так, повествователь не сказал бы, что этой безобразной сценой он был «поражен».

Б. О. Корман настойчиво повторяет: «...момент, когда барин-рассказчик остановил глаза на воре, на мгновение задержал взор на нем»; «Барин-рассказчик глядел на вора мгновение». Это соответствует идее о том, что происшествие вызвало у барина лишь брезгливую усмешку, но не соответствует тексту стихотворения.

В конце стихотворения барин приказывает кучеру: «Пошел своей дорогой». Значит, кучер останавливался, без сомнения, также по приказу барина (по собственному желанию кучер не смел это сделать, как бы ему ни хотелось поглазеть на происшествие) и явно надолго: ведь барин видел переполох, поимку вора, приход городового, вызов подпаска, «отменно строгий» — значит, достаточно длительный — допрос, медленный («торжественный») увод арестованного в полицейский участок; все это никак не могло совершиться в мгновение, у барина было вполне достаточно времени для наблюдений. И он многое заметил. Он увидел, что похититель калача — человек совершенно обнищавший («без сапогов, в дырявом сюртуке»), страшно изголодавшийся (схваченный калач он тут же пытался съесть), доведенный до такого состояния, вероятно, болезнью («лицо являло след недавнего недуга»); человек не из «простого сословия» (не в армяке, не в кафтане, а в сюртуке, хоть и дырявом), с выразительным лицом, на котором отражается отчаянье и мучительный стыд.

Рассказчик, видимо, наблюдателен и не лишен знания людей и жизни. Он понял, что перед ним не «вор», а человек, доведенный тяжелыми обстоятельствами до ужасной нужды. Он «богу поспешил молебствие принесть за то, что у него наследственное есть»,— другими словами, он ясно понимает, что, не будь он обеспечен «наследственным», его могла бы ждать такая же судьба. Барин, видимо, либерален. Он не радуется, подобно толпе в «Трех странах света», «что порок будет наказан», не говорит, что «поделом вору и мука»; он говорит не без сочувствия о «воре», с презрением о «торгаше», с иронией о городовом. Он настолько «поражен» «безобразной» сценой, что надолго останавливает свою карету, несмотря на то что спешит на пир, да еще «званый» (на «званый» обед, ужин и т. п. приличие требовало аккуратного прихода в назначенное время). Впечатление

от сцены сохраняется и на следующий день (иначе зачем бы стал он о ней рассказывать?). Однако тон легкой иронии, в котором выдержано повествование, показывает, что «поражен» рассказчик весьма неглубоко. Сознание «безобразия» у него чисто интеллектуальное. Практически он реагирует на происшествие тем, что приказывает кучеру ехать «своей дорогой». Может быть, этот барин тоже «грозный деятель в теории, беспощадный радикал», который «на улице истории с полицейским избегал» (II, 277), а потому не вступился за несчастного человека и ничем ему не помог. Кардинальные свойства «лишних людей» — разрыв мысли и дела, отсутствие реакций на непосредственные факты жизни — демонстрируются и тут. Таким образом, и «Вор» примыкает к тем художественным этюдам о «лишнем человеке» — либерале, которые так характерны для сатиры Некрасова этого периода.

В дальнейшем в сатире Некрасова особенное развитие получают произведения, основанные именно на впечатлениях петербургской жизни. Сюда относятся «Убогая и нарядная», «Папаша», «Дешевая покупка», «Суд», сатирический цикл, в который входят стихотворения «О погоде», «Газетная», «Балет», «Недавнее время». Анализ рукописей (а частью и собственные указания Некрасова в первых публикациях) показал с совершенной несомненностью, что все это — части незавершенного целого, задуманного как единый сатирический цикл. «Это был грандиозный замысел широкого диапазона,— пишет Т. Д. Фролова,— от изображения уличных впечатлений (1-я и 2-я части «О погоде») до описания столичных аристократических клубов (клубные сатиры), театров («Балет»). Возможно, замысел этого цикла был еще шире. Во всяком случае, незаконченная пьеса «Как убить вечер», как и отрывки из «Медвежьей охоты» тематически близко примыкают к циклу и как бы продолжают сатирическую линию разоблачения социальных верхов».[1] По предположению же М. В. Теплинского, и «Современники» связаны с этим циклом: «Мы можем ⟨...⟩,— указывает он,— говорить о единстве замысла Некрасова, который, очевидно, задумал «Современников» как окончание этого цикла».[2]

---

[1] Фролова Т. Д. Незавершенный сатирический цикл Н. А. Некрасова.— «Некрасовский сборник», I, М.— Л., 1951, с. 172.

[2] Теплинский М. В. Указ. статья, с. 304.

В 60—70-е годы лирические стихотворения о крестьянах и от их имени приводят Некрасова к крестьянским поэмам, а стихи о демократическом герое — к поэмам о друзьях народа — революционерах. Сатира Некрасова приобретает тот же размах.

Притом в новую эпоху сатира Некрасова не заключается только в рамки особого жанра: она сочетается с лирикой и эпосом, пример чему мы уже видели в «Саше», а дальше то же найдем в «Размышлениях у парадного подъезда», «Железной дороге», «Медвежьей охоте», в эпопее «Кому на Руси жить хорошо», где целые части («Последыш») носят преимущественно сатирический характер.

Углубление революционно-демократической идеологии, приход к более четкому мировоззрению, связанный с опытом новой эпохи, с влиянием Чернышевского и Добролюбова, делают сатиру Некрасова более значительной социально и политически.

Б. Я. БУХШТАБ-НЕКРАСОВЕД

Известный исследователь русской литературы XIX века Борис Яковлевич Бухштаб (1904—1985) занимался творчеством Некрасова свыше полувека. Первые его две статьи о Некрасове были опубликованы в 1933 году, а незадолго до кончины Б. Я. Бухштаб подготовил к изданию предлагаемый читателю сборник. Почти вся сознательная жизнь литературоведа прошла под знаком Некрасова: много лет он изучал архивные материалы, связанные с наследием классика, внимательно штудировал журналы и газеты, открывая новые тексты Некрасова и неизвестные ранее отзывы о нем, участвовал в выпуске в свет собраний сочинений революционного демократа и создал около трех десятков оригинальных статей, посвященных Некрасову. В трехтомной докторской диссертации Б. Я. Бухштаба «Русская поэзия 1840—1850-х годов» (ЛГУ, 1962) обширный второй том — весь некрасовский.

Уже в самых первых статьях ученого о Некрасове проявились характерные черты его литературоведческого метода. Прежде всего это опора на достоверные, документальные материалы: на архивные источники, прижизненные издания, письма, воспоминания, не вызывающие сомнения (а если сомнения, то факты проверяются, как в работе следователя, дублированием сведений, перекрестным сопоставлением и т. д.). А затем следует анализ и выводы, которые не были заранее уготованы и к которым подверстывались бы факты, наоборот, выводы естественно вытекают из совокупности собранных материалов.

В статье о «муравьевской оде» (1933) Б. Я. Бухштаб доказал несостоятельность приписывания Некрасову текста стихотворения «Бокал заздравный поднимая...», которое с 1885 года, с первой публикации в «Русском архиве», считалось той самой злополучной одой, которую поэт прочитал на обеде в петербургском Английском клубе 16 апреля 1866 года. Основательно изучив мемуарную литературу о М. Н. Муравьеве, Б. Я. Бухштаб обнаружил, что стихи принадлежат видному чиновнику, начальнику канцелярии Муравьева И. А. Никотину, давно им опубликованы, что автор печатно протестовал против приписывания его стихотворения великому поэту, но все это было забыто, вернее, неизвестно нашим некрасоведам, и стихотворение Никотина перепечатывалось, хотя и в разделе «Dubia» («сомнительное»), в собраниях сочинений Некрасова до 1933 года...

Б. Я. Бухштаб и впоследствии немало откроет новых фактов, новых источников (см., например, статью «Чужие строки в стихах Некрасова»). Но отношение к этим источникам всегда будет творческим. Так, в статье о стихотворении «Катерина» литературовед подробно объясняет полемическую связь этого текста с давней рецензией славянофила Т. И. Филиппова, призывавшего крестьянскую женщину к патриархальному долготерпению. А в статье о «Филантропе» Б. Я. Бухштаб, наоборот, покажет, что традиционное представление о князе В. Ф. Одоевском как прототипе главного персонажа слишком прямолинейное; Некрасов как бы «размыл», стушевал черты одного человека и создал обобщенный тип либерального филантропа.

А в самой первой статье Б. Я. Бухштаба о великом поэте — «Правительственные заботы о похоронах Некрасова» (1933) — проявилось еще одно качество исследователя: умение с легким юмором, а иногда и с сарказмом писать о явлениях, заслуживающих такого к себе отношения. Ведь согласитесь, уже заглавие настораживает читателя: что это еще за заботы царского правительства о человеке, к которому власти могли относиться лишь враждебно?! И в самом деле, содержание статьи не оставляет сомнения, что заглавие несет в себе явную иронию. В статье рассказывается о тревогах петербургского полицейского начальства, которое уже летом 1877 года, за несколько месяцев до реальной смерти Некрасова, было обеспокоено обилием сочувственных адресов, посылаемых больному, и возможными демонстрациями протеста при похоронах.

Однако статья содержит и еще один, более глубинный иронический пласт. Публикуемые материалы показывают враждебность различных правительственных кругов и отдельных чиновников друг к другу, злорадство и зависть. Градоначальник Петербурга Ф. Ф. Трепов, обязанный следить за Некрасовым, с радостью сообщает губернатору И. В. Лутковскому о переезде Некрасова на дачу в Новую Деревню: это уже было за чертой города, и там следить должен был губернатор; но Лутковский не менее ликующе возвращает надзор Трепову,— оказывается, Некрасов поселился на берегу Большой Невки, а это место принадлежит Петербургу... С другой стороны, рассказывается о восторге шефа жандармов Н. В. Мезенцова, когда он узнал, что у Трепова (а полиция — конкурент жандармерии, т. е. III Отделения) никудышные шпики: полицейский агент смог украсть в клубе художников адрес Некрасову, покрытый подписями собравшихся, но был обнаружен и избит... Б. Я. Бухштаб повествует все это бесстрастным тоном летописца, но тем заметнее ирония автора.

Главной же методологической чертой Бухштаба-некрасоведа следует считать историзм. Он, как всегда, многогранен и всепроникающ. Историзм — и в постоянном учете «фона», куда включаются и буквально исторические события, и литературный процесс, и журналистика, и более конкретные, важные для данного случая, факты. В статье о «филантропе», например, подробно раскрыты деятельность двух министерств (внутренних дел и государственных имуществ) в 40-х — начале 50-х годов прошлого столетия, организация и работа Русского географического общества и «Общества посещения бедных», и все это необходимо для уяснения главной темы — подоплеки и принципов типизации в некрасовском стихотворении «Филантроп».

Историзм заключается и в системном подходе к изучаемому явлению. Добролюбов в свое время издевался над «специалистами», которые при наличии пяти фактов, из коих три явно опровергают намеченную концепцию, один — сомнительный и лишь один — на пользу автору, постараются о трех враждебных фактах умолчать, сомнительный

истолковать в свою пользу и особо подналечь на благоприятный. Историзм всегда противостоит подобным операциям, так как он предполагает выведение концепции из всей совокупности объектов, рассмотренных в системной взаимосвязи между собой. Анализ эпопеи «Кому на Руси жить хорошо» проводится Б. Я. Бухштабом (с учетом исторической ситуации в России 60—70-х годов и в связи с «просветительскими» произведениями той поры, особенно с романом Чернышевского «Что делать?») в свете целостного мировосприятия Некрасова, которое, однако, не было застывшим, а менялось вместе с движением жизни, и поэтому истолкование исследователем эволюции замысла поэта (сперва — показать невозможность счастия отдельных общественных групп при обездоленности других, а затем — найти счастье в труде за освобождение народа) выглядит убедительным, доказательным.

Кстати сказать, изучение эволюции тоже теснейшим образом связано с историзмом метода: история непрерывно движется, меняя социально-политические и экономические условия, меняя концепции и духовные доминанты, меняя идеи и жанры художественных произведений. В статьях о сатирической поэзии Некрасова отдельных периодов Б. Я. Бухштаб очень хорошо показывает изменения в методе поэта. Например, оказывается, что наиболее интенсивно сатирическая деятельность Некрасова развивалась в 1844—1847 годах (относительно «тихие» годы николаевского царствования), затем, в первые годы «мрачного семилетия» и цензурного террора, поэт совершенно прекращает создавать сатирические произведения, но с 1852 года снова, хотя и гомеопатическими дозами, возникает некрасовская сатира (1852 год — «Прекрасная партия», 1853 год — «Филантроп» и «Отрывки из путевых записок графа Гаранского»). Менялись и «маски» сатирических персонажей — в начале 40-х годов господствовал тип болтливого недалекого чиновника, а к середине десятилетия он заменяется интеллигентным горемыкой и т. д.

Историзм дает ученому четкое представление о периодах и датах: не только о датах создания произведений (почему именно такие черты и идеи в них проявились), но и о времени, которое изображается в произведении. В статье о «Саше» Б. Я. Бухштаб справедливо оспаривает попытки почтенного некрасоведа А. М. Гаркави найти в поэме особенности, характерные для более поздней поры размежевания либералов и революционных демократов (период революционной ситуации 1858—1861 годов) и исторично доказывает, что колебания Агарина, его отказ от прогрессивных деклараций скорее связан с рубежом 1848 года, ибо многие нестойкие либералы при начале «мрачного семилетия» отшатнулись от своего былого критицизма.

А попутно ненавязчиво истолковывается сущность некрасовского метода на разных стадиях творческого пути поэта: от сложной переплетенности (сосуществования) романтического и натуралистического изображения в юные годы к вершинам реалистического метода.

Деликатность и осторожность при анализе метода художника, может быть, особенно ярко проявились в статье «Пародия Некрасова на Фета». Б. Я. Бухштаб подробно вскрывает сущность подхода чуткого пародиста к своему объекту: лишь тщательное изучение всего творчества Фета позволяет Некрасову акцентировать и преувеличивать действительно характерные особенности и крайности поэтического метода,— хороший урок многим современным пародистам, которым недосуг (или невдомек?) изучать специфику творческого метода жертвы, поэтому берется вырванная из контекста строка и глумливо обрамляется собственными виршами.

Статьи Б. Я. Бухштаба о Некрасове вообще во многом необычайно актуальны для наших дней. Автор как будто сам понимал, что ряд проблем будет значителен не только для момента публикации. Особенно это относится к статье «Эзопов язык у Некрасова», написанной, может показаться, на узко специальную тему, но недаром Б. Я. Бухштаб начинает ее с рассуждения о «неправильных методологических приемах»: речь идет о чрезмерном расширении субъективных интерпретаций классического наследия с опорой на эзопов язык. Автор убедительно доказывает, что даже такие замечательные некрасоведы, как К. И. Чуковский и В. Е. Евгеньев-Максимов, не избежали в некоторых случаях произвольных истолкований и рассматривали отдельные произведения Некрасова как своего рода «шифровку», которую читатель должен понимать в другом — чаще всего в прямо противоположном написанному (напечатанному) — смысле. А подобные анализы не только разрушают глубокую реалистическую основу художественного метода поэта, превращая стихотворения и поэмы в символические тексты, но и небезукоризненны этически: они значительно расширяют круг тем и идей, якобы запретных с точки зрения правительственных кругов и цензуры, и делают Некрасова ловким, хитрым версификатором, который готов сочинять угодливо-«либеральные» произведения ради «зашифрованного» совсем или проявленного в одной-двух строках искреннего мнения.

Беда в том, что литературоведческий субъективизм живуч. М. Б. Храпченко в статье «Метаморфозы критического субъективизма» («Новый мир», 1985, № 11) привел немало различных примеров этой болезни. Можно бы продолжить эти примеры из той области, которую осветил Б. Я. Бухштаб, из области «эзопова» языка.

Ф. Я. Прийма уже неоднократно истолковывал сложные, требующие тщательного исторического анализа высказывания Белинского 1847—1848 годов относительно возможных шагов правительства по пути отмены крепостничества только как «эзоповы». А так как большинство этих высказываний содержится в частных и бесцензурных (посланных с оказией) письмах Белинского к П. В. Анненкову, то суждения «неистового Виссариона» объявляются неискренними, а адресат, один из ближайших друзей Белинского, делается чужим, чуть ли не враждебным [1] ему (непонятно только, зачем чужому человеку Белинский стал бы писать громадные страстные письма, содержание которых совершенно противоположно его истинным воззрениям?!). А так как аналогичные высказывания встречаются и в печатных статьях критика, то Ф. Я. Прийма делает следующий шаг (между прочим, в статье о Некрасове — «Поэзия любви и гнева»): «...тактика реверансов властям предержащим широко применялась прогрессивной журналистикой, ее культивировал даже неистовый Белинский» [2]. Более чудовищного поклепа на прогрессивную журналистику и на честнейшего, благороднейшего Белинского трудно себе вообразить...

Единственным «утешением» нам, литературоведам и критикам, остается то, что историки общественной мысли тоже нередко весьма своеобразно применяют истолкование эзоповых приемов для доказательства своих концепций. Например, П. Г. Рындзюнский и В. М. Жуков в статье «Община и трудовая артель в системе взглядов Н. Г. Чер-

---

[1] См., например следующие труды: Прийма Ф. Я. Шевченко и русская литература XIX века. М.— Л., 1961, с. 97—98; «Большая дорога» Белинского и перепутья его исследователей.— «Русская литература», 1974, № 1, с. 74—93.

[2] «Русская литература», 1971, № 4, с. 14.

нышевского» всячески пытаются доказать, что Чернышевский всегда отрицательно относился к общине. А как быть с прямыми утверждениями революционного демократа о современной общине как возможной зародышевой ячейке грядущего социалистического строя? А так: Чернышевский якобы, опасаясь цензуры (хотя непонятно, почему критика общины была бы опасной для начальства?!), стремился «высказать явно неверное суждение с целью обратить внимание читателя».[1] Но ведь этим способом можно любое высказывание истолковать в угоду исследователю: если нужно, берется прямой смысл, а если он не угоден, то берется противоположный!

Совсем уже анекдотический пример применения субъективистской интерпретации текста под предлогом эзопова языка преподносит нам В. М. Корочкин в статье «Об оценке Н. Г. Чернышевским «Капитала» К. Маркса»: Чернышевский в письмах к жене и к сыновьям 1876 и 1878 годов несколько раз советует детям изучать труды Ньютона и Лапласа — это вполне естественно: отец хочет видеть сыновей хорошими математиками; но не тут-то было — оказывается, он «использовал конспиративный прием подстановки фамилий», на самом-то деле он имел в виду Маркса и Энгельса, а под книгой Лапласа «Небесная механика» он подразумевал известный труд Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» [2]. Непонятно главное: как же сыновья могли догадаться, что именно отец подразумевает?! Можно ли более позорно дискредитировать ответственную, серьезную тему?!

Статья Б. Я. Бухштаба является хорошим методологическим противоядием и предостережением против таких измышлений.

С настоящими учеными, допускающими отдельные преувеличения в своих трудах, Б. Я. Бухштаб спорил уважительно и спокойно. Но когда ему приходилось иметь дело с откровенными извращениями творчества Некрасова, замалчиванием сложностей и противоречий его трудного пути и, наоборот, с подтягиванием Некрасова (чуть ли не с юных лет) до социально-политического уровня Чернышевского и Добролюбова, то тут критик был беспощаден и статьи его превращались в иронические фельетоны. Таков цикл из двух статей Б. Я. Бухштаба в «Литературной газете»: «Литературоведческая чудасия» (1961, 9 декабря) и «Еще об «улучшении» Некрасова» (1962, 20 января). Первая посвящена книге В. А. Архипова «Поэзия труда и борьбы. Очерки творчества Н. А. Некрасова» (Ярославль, 1961), вторая — книге А. И. Дубинской «Н. А. Некрасов» (М., 1954).

Можно ли сказать, что Б. Я. Бухштаб окончательно решил все проблемы и осветил все темы творчества Некрасова, интересовавшие его на жизненном пути литературоведа? Нет, конечно. Слишком сложно и глубоко наследие классика, чтобы исследователь смог поставить все точки над i, даже если он трудился полвека. Например, и после скрупулезнейшего анализа некрасовского «Филантропа», проведенного Б. Я. Бухштабом, все же остается загадкой: если поэт и предполагал сатирически изобразить вообще либеральную филантропию, то почему в образе вельможи сохранено так много реальных (и уникальных, присущих ему одному) черт В. Ф. Одоевского? В чем глубинный смысл высмеивания признаков, прилагаемых к бывшему соратнику по «Отечественным запискам» времен Белинского, вполне почтенному и уважаемому литератору и человеку? Этого мы до сих пор не знаем.

---

[1] Сб.: Н. Г. Чернышевский и современность, М., 1980, с. 368.
[2] «Вопросы истории», 1980, № 3, с. 182, 184.

Но зато сколько загадок Б. Я. Бухштаб разрешил, сколько открыл нового! Читателю предлагается лишь часть из обширного некрасоведческого наследия ученого, впрочем самая ценная и актуальная. А список не вошедших в книгу работ о Некрасове приводится в конце. Для того чтобы читатель более свободно ориентировался во всем комплексе разносторонней деятельности Б. Я. Бухштаба как писателя, критика и литературоведа, рекомендуем обращаться к справочнику, выпущенному Ленинградской организацией Добровольного общества любителей книги РСФСР и секцией книги и графики Ленинградского Дома ученых им. М. Горького: «Борис Яковлевич Бухштаб (к 80-летию со дня рождения и 60-летию научной и литературной деятельности). Библиографический указатель» (Л., 1984; составитель — М. Д. Эльзон, отв. редактор — академик Д. С. Лихачев).

Б. Ф. Егоров

СПИСОК РАБОТ Б. Я. БУХШТАБА О НЕКРАСОВЕ

1. Правительственные заботы о похоронах Некрасова.— «Каторга и ссылка», 1933, № 2, с. 145—149.
2. О «муравьевской оде» Некрасова.— «Каторга и ссылка», 1933, № 12, с. 138—145.
3. Некрасов-фельетонист.— В кн.: Литературное наследство, т. 53—54, М., 1949, с. 47—55.
4. Первые печатные отзывы о стихотворениях Некрасова.— В кн.: Литературное наследство, т. 53—54, М., 1949, с. 81—84. Совместно с А. Аникиной.
5. Некрасов в борьбе со славянофильством. К истории стихотворения Некрасова «Послание к другу (Из-за границы)».— Доклады и сообщения Филологического института Ленинградского государственного университета, вып. 3, Л., 1951, с. 55—69.
6. К биографии Н. А. Некрасова.— В кн.: Некрасовский сборник. I. М.— Л., 1951, с. 194—197.
7. Указатель литературы о Некрасове. Рец. на кн.: Л. М. Добровольский и В. М. Лавров. Библиография литературы о Н. А. Некрасове. 1917—1952. М.— Л., 1953.— «Советская библиография», 1953, вып. 2(35), с. 109—112.
8. Начальный период сатирической поэзии Некрасова. 1840—1845.— В кн.: «Некрасовский сборник». II. М.— Л., 1956, с. 102—150.
9. Некрасов в стихах «Нового поэта».— В кн.: «Некрасовский сборник». II. М.— Л., 1956, с. 434—444.
10. Фельетоны Н. А. Некрасова в газете «Русский инвалид». Библиографическое разыскание.— Труды Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской. Л., 1959, т. 5, с. 319—341.
11. Сатира Н. А. Некрасова в 1846—1847 годах.— В кн.: Некрасовский сборник. III. М.— Л., 1960, с. 9—35.
12. Заметки о текстах стихотворений Некрасова.— В кн.: Издание классической литературы. Из опыта «Библиотеки поэта». М., 1963, с. 235—266.
13. Некрасов-лирик. Рец. на кн.: Б. Корман. Лирика Н. А. Некрасова. Воронеж, 1964.— «Вопросы литературы», 1965, № 8, с. 216—218.
14. Сатирическая поэзия Некрасова в годы «цензурного террора».— В кн.: Некрасовский сборник. IV. Л., 1967, с. 57—74.
15. К истории стихотворения Н. А. Некрасова «Признания труженика».— В кн.: О Некрасове. Статьи и материалы. Вып. III. Ярославль, 1971, с. 190—203.

Статьи №№ 2, 6, 9, 10 вошли в книгу: Б. Я. Бухштаб. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Яковлевич Бухштаб

Н. А. НЕКРАСОВ

ЛО изд-ва «Советский писатель», 1989 г. 352 стр.
План выпуска 1988 г. № 465

Редактор *Л. А. Николаева*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *Е. Ф. Шараева*
Корректоры *Ф. С. Флейтман* и *Е. Я. Лапинь*

ИБ № 6567

Сдано в набор 12.05.88. Подписано к печати 20.12.88. М24215. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,58. Уч.-изд. л. 18,16. Тираж 19500 экз. Заказ № 1585. Цена 1 р. 60 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

В 1989 ГОДУ ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

Ал. Чепуров. Игнатий Дворецкий. Драматург и его дело.

Эта книга о жизни и творчестве известного советского драматурга И. Дворецкого (1919—1987), пьесы которого, особенно «Человек со стороны» и «Колыма», всегда вызывали и вызывают широкий общественный резонанс у нас и за рубежом. Автор прослеживает творческий путь писателя, историческую логику эволюции его тем, тесно связанных с острыми социальными проблемами нашей жизни, показывает своеобразие творческой индивидуальности, позицию драматурга, сформировавшуюся на непростом жизненном пути.

Рассматривая пьесы Дворецкого, Ал. Чепуров знакомит с их творческой историей и театральными постановками, особо останавливается на его деятельности как организатора и руководителя Мастерской молодого драматурга, из которой вышли многие из тех, кто создал «новую волну» в драматургии.
